

Грэм Грин

Почетный консул

Все слито воедино: добро и зло, великодушие и правосудие, религия и политика... Томас Харди

Посвящается с любовью Виктории Окампо, в память о счастливых неделях, которые я провел в Сан-Исидро и Мар-дель-Плата

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Доктор Эдуардо Пларр стоял в маленьком порту на берегу Параны, среди подъездных путей и желтых кранов, глядя на перистую линию дыма, которая стелилась над Чако. Она тянулась между багровыми отсветами заката, как полоса на государственном флаге. В этот час доктор Пларр был здесь в одиночестве, если не считать матроса, охранявшего здание порта. В такой вечер таинственное сочетание меркнувшего света и запаха какого-то незнакомого растения в одних пробуждает воспоминания детства и надежды на будущее, а в других – ощущение уже почти забытой утраты.

Рельсы, краны, здание порта – их доктор Пларр раньше всего увидел на своей новой родине. Годы тут ничего не изменили, разве что добавили полосу дыма, которая теперь тянулась вдоль горизонта по ту сторону Параны. А более двадцати лет назад, когда они с матерью приехали сюда из Парагвая на ходившем раз в неделю пароходе, завод, откуда шел дым, еще не был построен. Он вспоминал, как отец стоял на набережной в Асунсьоне, возле короткого трапа этого небольшого речного парохода, высокий, седой, со впалой грудью; он с наигранным оптимизмом утверждал, что скоро к ним приедет. Через месяц, а может быть, через три – надежда скрипела у него в горле, как ржавая пружина.

Четырнадцатилетнему мальчику показалось не то чтобы странным, а чуть-чуть чужеземным, что отец как-то почтительно поцеловал жену в лоб, будто это была его мать, а не сожительница. В те дни доктор Пларр считал себя таким же испанцем, как и его мать, хотя отец у него был родом англичанин. И не только по паспорту, он и по праву принадлежал к легендарному острову снегов и туманов, родине Диккенса и Конан Дойла, правда, у него вряд ли сохранились отчетливые воспоминания о стране, покинутой им в десять лет. Осталась книжка с картинками, подаренная ему перед самым отплытием родителями, – «Панорама Лондона», и Генри Пларр часто ее перелистывал, показывая своему маленькому Эдуардо серые фотографии Букингемского дворца, Тауэра и Оксфорд-стрит, забитой каретами, экипажами и дамами, подбирающими длинные подола юбок. Отец, как позднее понял доктор

Пларр, был эмигрантом, а эта часть света полна эмигрантов – итальянцев, чехов, поляков, валлийцев и англичан. Когда доктор Пларр еще мальчиком прочел роман Диккенса, он читал его как иностранец, воспринимая все, что там написано, словно это сегодняшней день, подобно тому как русские до сих пор думают, будто судебный пристав и гробовщик по-прежнему занимаются своим ремеслом в том мире, где Оливер Твист, попросивший добавки, сидит взаперти в лондонском подвале.

В четырнадцать лет он еще не мог сообразить, что заставило отца остаться на набережной старой столицы у реки. Ему понадобилось прожить немало лет в Буэнос-Айресе, прежде чем он понял, до чего непроста эмигрантская жизнь, сколько она требует документов и походов в присутственные места. Простота по праву принадлежала местным уроженцам, тем, кто принимал здешние условия жизни, какими причудливыми бы они ни были, как должное. Испанский язык – романский по происхождению, а римляне были народ простой. *Machismo* – культ мужской силы и гордости – испанский синоним *virtus* [доблести (лат.)]. В этом понятии мало общего с английской храбростью или умением не падать духом в любых обстоятельствах. Быть может, отец, будучи иностранцем, пытался вообразить себя *macho*, когда решил остаться один на один со все возрастающими опасностями по ту сторону парагвайской границы, но в порту он выражал лишь решимость не падать духом.

Маленький Пларр проезжал с матерью этот речной порт по дороге в большую шумную столицу республики на юге, почти в такой же вечерний час (их отплытие задержалось из-за политической демонстрации), и что-то в этом пейзаже – старые дома в колониальном стиле, осыпавшаяся штукатурка на улице за набережной, парочка, сидевшая на скамейке в обнимку, залитая луной статуя обнаженной женщины и бюст адмирала со скромной ирландской фамилией, электрические фонари, похожие на спелые фрукты над ларьком с прохладительными напитками, – так крепко запало в душу молодого Пларра как символ желанного покоя, что в конце концов, почувствовав непреодолимую потребность сбежать от небоскребов, уличных заторов, полицейских сирен, воя санитарных машин и героических статуй освободителей на конях, он решил переехать в этот маленький северный город, что не составляло труда для дипломированного врача из Буэнос-Айреса. Ни один из его столичных друзей или знакомых, с которыми он встречался в кафе, не мог понять, что его к этому побудило; его убеждали, что на севере жаркий, сырой, нездоровый климат, а в самом городе никогда ничего не происходит, даже актов насилия.

– Может быть, климат такой нездоровый, что у меня будет побольше практики, – отвечал он с улыбкой, такой же ничего не выражавшей или притворной, как оптимизм его отца.

За годы долгой разлуки они получили в Буэнос-Айресе только одно письмо от отца. Конверт был адресован обоим: *Senora e hijo* [сеньоре и сыну (исп.)]. Письмо пришло не по почте. В один прекрасный вечер, года через четыре после приезда, они нашли его под дверью, вернувшись из кино, где в третий раз смотрели «Унесенных ветром». Мать никогда не пропускала случая посмотреть эту картину. Может быть, потому, что старый фильм, старые звезды хоть на несколько часов превращали гражданскую войну во что-то неопасное, спокойное. Кларк Гейбл и Вивьен Ли мчались сквозь годы, несмотря на все пули.

На конверте, очень мятом и грязном, значилось: «Из рук в руки», но чьи были эти руки, они так и не узнали. Письмо было написано не на их старой писчей бумаге с элегантно отпечатанным готическим шрифтом названием их *estancia*, а на линованном листке из дешевой тетради. Письмо, как и голос на набережной, было полно несбыточных надежд. «Обстоятельства, – писал отец, – должны вскоре измениться к лучшему». Но даты на письме не было, и поэтому надежды, вероятно, рухнули задолго до получения ими этого письма. Больше вестей от отца до них не доходило, даже слуха об его аресте или смерти. Письмо отец закончил с истинно испанской церемонностью: «Меня весьма утешает то, что два самых дорогих для меня существа находятся в безопасности. Ваш любящий супруг и отец Генри Пларр».

Доктор Пларр не отдавал себе отчета в том, насколько повлияло на его возвращение в этот маленький речной порт то, что теперь он будет жить почти на границе страны, где он родился и где похоронен его отец, в тюрьме или на клочке земли – где именно, он, наверное, так никогда и не узнает. Тут ему надо лишь проехать несколько километров на северо-восток и поглядеть через излучину реки... Стоит лишь сесть в лодку, как это делают контрабандисты... Иногда он чувствовал себя дозорным, который ждет сигнала. Правда, у него была и более насущная причина. Как-то раз он признался одной из своих любовниц: «Я уехал из Буэнос-Айреса, чтобы быть подальше от матери». Она и правда, потеряв свою красоту, стала сварливой, вечно оплакивала утрату *estancia* и доживала свой век в огромном, разбросанном, путаном городе с его *fantastica arquitectura* [причудливой архитектурой (исп.)] небоскребов, нелепо торчащих из узеньких улочек и до двадцатого этажа обвешанных рекламами пепси-колы.

Доктор Пларр повернулся спиной к порту и продолжал вечернюю прогулку по берегу реки. Небо потемнело, и он уже не различал полосу дыма и очертания противоположного берега. Фонари парома, соединявшего город с Чако, были похожи на светящийся карандаш, карандаш этот медленно вычерчивал волнистую диагональ, преодолевая быстрое течение реки к югу. Три звезды висели в небе, словно бусины разорванных четок, – крест упал куда-то в другое место. Доктор Пларр, который сам не зная почему каждые десять лет возобновлял свой английский паспорт, вдруг почувствовал желание пообщаться с кем-нибудь, кто не был испанцем.

Насколько ему было известно, в городе жили только еще два англичанина: старый учитель, который называл себя доктором наук, хоть никогда и не заглядывал ни в один университет, и Чарли Фортнум – почетный консул. С того утра несколько месяцев назад, когда доктор Пларр сошелся с женой Чарли Фортнума, он чувствовал себя неловко в обществе консула; может быть, его тяготило чувство вины; может быть, раздражало благодушие Чарли Фортнума, который, казалось, так смиренно полагался на верность своей супруги. Он рассказывал скорее с гордостью, чем с беспокойством, о недомогании жены в начале беременности, будто это делало честь его мужским качествам, и у доктора Пларра вертелся на языке вопрос: «А кто же, по-вашему, отец?»

Оставался доктор Хэмфрис... Но было еще рано идти к старику в отель «Боливар», где он живет, сейчас его там не застанешь.

Доктор Пларр сел под одним из белых шаров, освещавших набережную, и вынул из кармана книгу. С этого места он мог присматривать за своей машиной, стоявшей у ларька кока-колы. Книга, которую он взял с собой, была написана одним из его пациентов – Хорхе Хулио Сааведрой. У Сааведры тоже было звание доктора, но на этот раз невымышленное – двадцать лет назад ему присудили почетное звание в столице. Роман, его первый и самый известный, назывался «Сердце-молчальник» и – написанный в тяжеловесном меланхолическом стиле – был преисполнен духа *machismo*.

Доктор Пларр с трудом мог прочесть больше нескольких страниц кряду. Эти благородные, скрытные персонажи латиноамериканской литературы казались ему чересчур примитивными и чересчур героическими, чтобы иметь подлинных прототипов. Руссо и Шатобриан оказали гораздо большее влияние на Южную Америку, чем Фрейд; в Бразилии был даже город, названный в честь Бенжамена Констана. Он прочел: «Хулио Морено часами просиживал молча в те дни, когда ветер безостановочно дул с моря и просаливал несколько гектаров принадлежавшей ему бедной земли, высушивая редкую растительность, едва пережившую прошлый ветер; он сидел подперев голову руками и закрыв глаза, словно хотел спрятаться в темные закоулки своего нутра, куда жена не допускалась. Он никогда не жаловался. А она подолгу простаивала возле него, держа бутылку из тыквы с матэ в левой руке; когда Хулио Морено открывал глаза, он, не говоря ни слова, брал у нее бутылку. И лишь резкие складки вокруг сурового, неукротимого рта чуть смягчались – так он выражал ей благодарность».

Доктору Пларру, которого отец воспитывал на книгах Диккенса и Конан Доила, трудно было читать романы доктора Хорхе Хулио Сааведры, однако он считал, что это входит в его врачебные обязанности. Через несколько дней ему предстоит традиционный обед с доктором Сааведрой в отеле "Националы), и он должен будет как-то отозваться о книге, которую доктор Сааведра так тепло надписал: «Моему другу и советчику доктору Эдуардо Пларру эта моя первая книга, в доказательство того, что я не всегда был политическим романистом, и чтобы открыть, как это можно сделать только близкому другу, каковы были первые плоды моего вдохновения». По правде говоря, сам доктор Сааведра был далеко не молчальником, но, как подозревал доктор Пларр, он считал себя Морено манче [несостоявшимся (франц.)]. Быть может, он не зря дал Морено одно из своих имен...

Доктор Пларр никогда не замечал, чтобы кто-нибудь еще в этом городе читал книги вообще. Когда он обедал в гостях, он там видел книги, спрятанные под стекло, чтобы уберечь их от сырости. Но ни разу не видел, чтобы кто-нибудь читал у реки или хотя бы в одном из городских скверов, разве что иногда проглядывал местную газету «Эль литораль». На скамейках сидели влюбленные, усталые женщины с сумками для продуктов, бродяги, но не читатели. Бродяга, как правило, важно занимал целую скамейку. Ни у кого не было охоты сидеть с ним рядом, поэтому, в отличие от остального человечества, он мог растянуться во весь рост.

Привычку к чтению на открытом воздухе доктор Пларр, вероятно, заимствовал у отца – тот всегда брал с собой книгу, отправляясь работать на ферму, и на пропахшей апельсинами покинутой родине доктор Пларр прочел всего Диккенса, кроме «Рождественских рассказов». Люди, видевшие, как он сидит на скамейке с открытой книгой, смотрели на него с живым любопытством. Они, наверное, считали, что таков уж обычай у этих иностранных докторов. И в нем сквозило не столько что-то не очень мужественное, сколько явно чужеземное. Здесь мужчины предпочитали беседовать, стоя на углу, сидя за чашкой кофе или высунувшись из окна. И, беседуя, они все время трогали друг друга руками, либо чтобы подчеркнуть свою мысль, либо просто из дружелюбия. На людях доктор Пларр не дотрагивался ни до кого, только до своей книги. Это, как и его английский паспорт, было признаком того, что он навсегда останется чужаком и никогда здесь не приживется.

Он снова принялся читать: «Сама она работала в нерушимом молчании, приемля тяжкий труд, как и непогоду, как закон природы».

В столице у доктора Сааведры был период, когда он пользовался успехом и у публики, и у критики. Когда он почувствовал, что им пренебрегают рецензенты и – что еще обиднее – хозяйки салонов и газетные репортеры, он переехал на север, где его прадед был губернатором, а ему самому оказывали почтение как знаменитому столичному романисту, хотя тут уж наверняка мало кто читал его книги. Но, как ни странно, воображаемая география его романов оставалась неизменной. Где бы он ни жил, свое вымышленное место действия он еще в молодости выбрал раз и навсегда, проведя отпуск в одном приморском городке на крайнем юге, возле Трелью. В жизни он никогда не встречал такого Морено, но однажды в баре маленького отеля увидел человека, который молча сидел, меланхолично глядя на свою выпивку, и тут же вообразил себе очень ясно своего будущего героя.

Доктор Пларр все это узнал еще в столице, от старого друга и ревнивого врага писателя; знание прошлого Сааведры ему пригодилось, когда он начал лечить своего пациента от приступов болтливой депрессии. Во всех его книгах снова и снова возникало одно и то же действующее лицо, биография его несколько менялась, но волевое тоскливое молчание сопровождало его всегда. Друг и враг, сопровождавший Сааведру в том знаменательном путешествии на юг, в сердцах воскликнул: «А вы знаете, кто был тот человек? Он был валлиец, валлиец. Где это слыхано: валлиец с machismo?! В тех краях уйма валлийцев. Да и был он просто пьян. Напивался каждую неделю, когда приезжал в город».

Паром двинулся к невидимому болотистому берегу, заросшему кустарником, а позже тот же паром вернулся назад. Доктору Пларру было трудно вникать в молчаливую душу Хулио Морено. Жена Морено в конце концов его бросила, променяв на батрака с его плантации, который был молод, красив и разговорчив, но в городе у моря, где ее любовник не мог получить работы, ей жилось плохо. Скоро он стал напиваться в барах, без умолку болтать в постели, и ее обуяла тоска по долгому молчанию и сухой, просоленной земле. Тогда она вернулась к Морено, который, не говоря ни слова, предложил ей место за столом, на котором стояла приготовленная им скудная еда, а потом молча сел в свое кресло, подперев голову рукой, а она встала рядом, держа бутылку с матэ. В книге после этого оставалось еще страниц сто, хотя доктору Пларру казалось, что история на этом могла и закончиться. Однако machismo Хулио Морено еще не нашел своего полного выражения, и, когда он скупыми словами высказал жене свое намерение посетить город Трелью, доктор уже заранее знал, что там произойдет. Хулио Морено встретит в городском баре батрака, и между ними завяжется драка на ножах, где победителем, конечно, будет более молодой. Разве жена не видела в глазах Морено, когда он уезжал, «выражение выбившегося из сил пловца, которого неумовимо влечет темное течение неотвратимой судьбы»?

Нельзя сказать, что доктор Сааведра писал плохо. В его стиле был свой тяжеловесный ритм, и барабанный бой судьбы звучал довольно внятно, но доктора Пларра часто подмывало сказать своему меланхолическому пациенту: «Жизнь совсем не такая. В жизни нет ни благородства, ни достоинства. Даже в латиноамериканской жизни. Не бывает ничего неотвратимого. В жизни полно неожиданностей. Она абсурдна. И потому, что она абсурдна, всегда есть надежда. Что ж, когда-нибудь мы даже можем открыть средство от рака или от насморка». Он перевернул последнюю страницу. Ну да, конечно, Хулио Морено истекал кровью среди разбитого кафеля на полу бара в Трелью, а его жена (как она туда так быстро добралась?) стояла возле него, хотя на этот раз и не держала бутылки с матэ. «Только резкие складки вокруг сурового неукротимого рта разгладились еще прежде, чем закрылись от безмерной тяжести жизни его глаза, и она поняла, что он рад ее присутствию».

Доктор Пларр с раздражением захлопнул книгу. Южный Крест лежал на своей поперечине в этой усыпанной звездами ночи. Глухой черный горизонт не просвечивался ни городскими огнями, ни телевизионными мачтами, ни освещенными окнами. Если он пойдет домой, грозит ли ему еще телефонный звонок?

Когда он вышел от своей последней пациентки – жены министра финансов, страдавшей легкой лихорадкой, – он решил не возвращаться домой до утра. Ему хотелось быть подальше от телефона, пока не станет слишком поздно для звонка не по врачебной надобности. В этот день и час его могли побеспокоить только по одной причине. Он знал, что Чарли Фортнум обедает у губернатора – тот нуждался в переводчике для своего почетного гостя – американского посла. А Клара, которая уже преодолела свою боязнь телефона, вполне могла позвонить ему и позвать к себе, пользуясь отсутствием мужа, но ему вовсе не хотелось ее видеть именно в этот вторник. Беспокойство парализовало его влечение к ней. Он знал, что Чарли мог неожиданно вернуться, – ведь обед рано или поздно должны были отменить, хотя о причине этого он не имел права знать заранее.

Доктор Пларр решил, что лучше ему быть где-нибудь подальше до полуночи. К этому времени прием у губернатора наверняка кончится и Чарли Фортнум отправится домой. Я не из тех, из кого так и брызжет machismo, уныло подумал доктор Пларр, хотя ему трудно было вообразить, чтобы Чарли Фортнум кинулся на него с ножом. Он встал со скамьи. Было уже достаточно поздно для визита к преподавателю английского языка.

Он не нашел доктора Хэмфриса, как ожидал, в отеле «Боливар». У Хэмфриса там был маленький номер с душем на первом этаже: окно выходило на внутренний дворик с пыльной пальмой и фонтаном без воды. Дверь он оставлял незапертой, что, как видно, говорило о его вере в устойчивость существования. Доктор Пларр вспомнил, как по ночам в Парагвае его

отец запирали даже внутренние двери в доме: в спальнях, уборных, пустых комнатах для гостей – не от воров, а от полиции, от военных и правительственных убийц, хотя их вряд ли надолго задержали бы замки.

В комнате доктора Хэмфриса едва помещались кровать, туалетный стол, два стула, таз и душ. Между ними приходилось пробираться, как в набитом пассажирами вагоне подземки. Доктор Плэрр заметил, что доктор Хэмфрис приклеил к стене новую картинку из испанского издания журнала «Лайф» – фотографию королевы верхом на лошади во время церемонии выноса знамени. Выбор этот вовсе не обязательно выражал тоску по родине или патриотизм: на штукатурке то и дело выступали сырые пятна, и доктор Хэмфрис прикрывал их первой попавшейся картинкой. Однако этот выбор все же свидетельствовал о некоторых его склонностях: ему было приятнее, просыпаясь, видеть лицо королевы, а не мистера Никсона (лицо мистера Никсона, несомненно, мелькало в том же номере «Лайфа»). В комнатке было прохладно, но прохладу пронизывала сырость. У душа за пластиковой занавеской стерлась прокладка, и вода капала на кафель. Узкая кровать была скорее прикрыта, чем застелена; мягкая простыня казалась наскоро накинутой на чей-то труп, а москитная сетка свернулась наверху, как серое дождевое облако. Доктору Плэрру было жалко самозванного доктора филологии: любому человеку по своей воле – если кто-либо вообще в себе волен – вряд ли захотелось бы ожидать своего конца в такой обстановке. Отцу моему, подумал он с тревогой, сейчас примерно столько же лет, сколько Хэмфрису, а он, быть может, доживает свой век в еще худшей обстановке.

За раму зеркала была сунута записка: «Пошел в Итальянский клуб». Хэмфрис, вероятно, ждал ученика и поэтому оставил дверь незапертой. Итальянский клуб помещался напротив, в когда-то пышном здании колониального стиля. Там стоял чей-то бюст, вероятно, Кавура или Мадзини, но камень был выщерблен и надпись стерлась; его установили между домом, чьи высокие окна были увиты каменными гирляндами, и улицей. Прежде в городе жило много итальянцев, но теперь от клуба осталось только название, бюст и внушительный фасад с датой XIX века римскими цифрами. Внутри было расставлено несколько столиков, где можно было недорого поесть, не платя членского взноса, а в городе проживал лишь один итальянец, одинокий официант, уроженец Неаполя. Повар был венгром и готовил только гуляш – блюдо, в котором легко было скрыть качество продуктов, что было мудро, потому что говядина лучше отправлялась по реке в столицу, за восемьсот с лишним километров отсюда.

Доктор Хэмфрис сидел за столиком у открытого окна, заправив салфетку за потертый воротник. Какая бы ни стояла жара, он всегда носил костюм с жилетом и галстуком, словно писатель викторианской эпохи, живущий во Флоренции. На носу у него сидели очки в стальной оправе, видно, выписанные много лет назад, потому что он низко склонился над гуляшом, чтобы лучше разглядеть, что ест. Седые волосы кое-где по-молодому желтели от никотина, а на салфетке были пятна почти такого же цвета от гуляша.

– Добрый вечер, доктор Хэмфрис, – сказал Плэрр.

– Значит, вы нашли мою записку?

– Да я все равно заглянул бы сюда. Откуда вы знали, что я к вам приду?

– Этого я не знал, доктор Плэрр. Но полагал, что кто-нибудь вдруг да заглянет...

– Я хотел предложить вам пообедать в «Национале», – сказал доктор Плэрр. Он поискал глазами официанта, не предвкушая от обеда никакого удовольствия. Они были тут единственными посетителями.

– Очень мило с вашей стороны, – сказал доктор Хэмфрис. – С удовольствием приму ваше приглашение на другой день, если вы будете любезны его перенести. Гуляш здесь не так уж плох, правда, он надоедает, но зато сытный.

Старик был очень худ. Он производил впечатление прилежного едока, который тщетно надеется наполнить ненасытную утробу.

За неимением лучшего доктор Пларр тоже заказал гуляш. Доктор Хэмфрис сказал:

– Вот не ждал, что вас увижу. Я-то думал, что губернатор вас пригласит... Ему сегодня на обеде нужен человек, говорящий по-английски.

Доктор Пларр понял, почему в зеркальную раму воткнута записка. На приеме у губернатора в последнюю минуту могла произойти накладка. Так уже однажды было, и тогда туда вызвали доктора Хэмфриса... В конце концов в городе было всего три англичанина. Он сказал:

– Губернатор пригласил Чарли Фортнума.

– Ну да, естественно, – сказал доктор Хэмфрис, – нашего почетного консула. – Он подчеркнул эпитет «почетный» со злобой и уничижением. – Обед-то ведь дипломатический. А жена почетного консула, наверное, не смогла присутствовать по причине нездоровья?

– Американский посол не женат. Это не официальный обед – холостяцкая пирушка.

– Что ж, вполне подходящий случай, чтобы пригласить миссис Фортнум развлекать гостей. Она, верно, привыкла к холостяцким пирушкам. Да, но почему бы губернатору не пригласить вас или меня?

– Будьте объективны, доктор. Ни вы, ни я не занимаем официального положения.

– Но мы же гораздо лучше осведомлены об иезуитских развалинах, чем Чарли Фортнум. Если верить «Эль литораль», посол приехал осматривать развалины, а не чайные плантации или посеы матэ, хотя это мало похоже на истину. Американские послы обычно люди деловые.

– Новый посол хочет произвести впечатление, – сказал доктор Пларр. – Как знаток искусства и истории. Он не может позволить себе прослыть купчиком, который хочет перебить у кого-то сделку. Желает показать, что у него научный, а не коммерческий интерес к нашей провинции. Секретарь по финансовым вопросам тоже не приглашен, хотя он немного говорит по-английски. Не то заподозрили бы, что речь пойдет о какой-то сделке.

– А сам посол неужели не говорит по-испански хотя бы настолько, чтобы произнести вежливый тост и несколько банальностей?

– По слухам, он делает большие успехи.

– Как вы всегда все знаете, Пларр. Я-то свои сведения получаю только из «Эль литораль». Он ведь завтра едет осматривать руины, а?

– Нет, он ездил туда сегодня. А ночью летит назад в Буэнос-Айрес.

– Значит, газета ошиблась?

– В официальной программе были неточности. Думаю, что губернатор хотел избежать каких-либо неприятностей.

– Неприятности у нас? Ну, знаете! За двадцать лет я не видел здесь ни одной неприятности. Они случаются только в Кордове. А гуляш ведь не так уж плох, а? – спросил он с надеждой.

– Эдал и похуже, – сказал доктор Пларр, даже не пытаясь вспомнить, когда это было.

– Вижу, вы читали одну из книг Сааведры. Как она вам понравилась?

- Очень талантливо, – сказал доктор Пларр. Он, как и губернатор, избегал неприятностей, а в тоне старика почувствовал злобу, живучую и неугомонную, – всякая сдержанность давно была им утрачена от долголетнего пренебрежения окружающих.
- Вы правда в состоянии читать эту белиберду? И верите в их machismo?
- Пока я читаю, мне удастся справиться с моим скепсисом, – осторожно выразился Пларр.
- Ох уж эти аргентинцы, все они верят, что их деды скакали с гаучо в прериях. У Сааведры столько же machismo, сколько у Чарли Фортнума. Это правда, что у Чарли будет ребенок?
- Да.
- А кто счастливый папаша?
- Почему им не может быть Чарли?
- Старик и пьяница? Вы же ее врач, Пларр. Ну, откройте хоть капельку правды. Я не прошу, чтобы всю.
- А почему вы так добиваетесь правды?
- В противовес общему мнению правда почти всегда бывает забавной. Люди стараются выдумывать только трагедии. Если бы вы знали, из чего сварганили этот гуляш, вы бы хохотали до упаду.
- А вы знаете?
- Нет. Все кругом сговариваются, чтобы скрыть от меня правду. Даже вы мне лжете.
- Я?
- Лжете относительно романа Сааведры и ребенка Чарли Фортнума. Дай ему бог, чтобы это была девочка.
- Почему?
- Гораздо труднее по сходству определить отца. – Доктор Хэмфрис стал вытирать куском хлеба тарелку. – Скажите, доктор, почему я всегда хочу есть? Я ем невкусно, но съедаю огромное количество того, что зовется питательной пищей.
- Если вы действительно хотите знать правду, я должен вас осмотреть, сделать рентген...
- Ой нет. Я хочу знать правду только о других. Смешными бывают только другие.
- Тогда зачем вы спрашиваете?
- Вступление к разговору, – сказал старик, – и чтобы скрыть смущение от того, что я беру последний кусок хлеба.
- Они что, экономят на нас хлеб? – Доктор Пларр крикнул через вереницу пустых столиков: – Официант, принесите еще хлеба!

Единственный здешний итальянец, шаркая, подошел к ним. Он принес хлебницу с тремя ломтиками хлеба и наблюдал с глубочайшей тревогой, как число их свелось к одному. Можно было подумать, что он – молодой член мафии, нарушивший приказ главаря.

- Вы заметили, какой он сделал знак? – спросил доктор Хэмфрис.

– Нет.

– Выставил два пальца. Против дурного глаза. Он думает, что у меня дурной глаз.

– Почему?

– Я как-то непочтительно выразился об их мадонне.

– Не сыграть ли нам, когда вы кончите, в шахматы? – спросил доктор Пларр.

Ему надо было как-то скоротать время подальше от своей квартиры и телефона возле кровати.

– Я уже кончил.

Они вернулись в чересчур обжитую комнату в отеле «Боливар». Управляющий читал в патио «Эль литораль», расстегнув ширинку для прохлады. Он сказал:

– Доктор, вас спрашивали по телефону.

– Меня? – взволнованно спросил Хэмфрис. – Кто? Что вы ему сказали?

– Нет, профессор, спрашивали доктора Пларра. Женщина. Она думала, что доктор, может быть, у вас.

– Если она снова позвонит, не говорите, что я здесь, – сказал Пларр.

– Неужели вам не любопытно знать, кто это? – спросил Хэмфрис.

– Я догадываюсь, кто это может быть.

– Не пациентка, а?

– Пациентка. Но ничего срочного. Ничего опасного.

Доктор Пларр получил мат меньше чем за двадцать ходов и стал нетерпеливо расставлять фигуры снова.

– Что бы вы ни говорили, но вас что-то беспокоит, – сказал старик.

– Этот чертов душ. Кап-кап-кап. Почему вы не скажете, чтобы его починили?

– А что в нем плохого? Успокаивает. Усыпляет, как колыбельная.

Доктор Хэмфрис начал партию пешкой от короля.

– Е-два – Е-четыре, – сказал он. – Даже великий Капабланка иногда начинал с такого простого хода. А у Чарли Фортнума новый «кадиллак», – добавил он.

– Да.

– Сколько лет вашему доморощенному «фиату»?

– Четыре или пять.

– Выгодно быть консулом, а? Имеешь разрешение каждые два года ввозить новую машину. У него наверняка есть генерал в столице, который ждет не дождется ее купить.

– Вероятно. Ваш ход.

– Если он сделает консулом и свою жену, они смогут ввозить по машине каждый год. А это целое состояние. В консульской службе есть половые ограничения?

– Я их правил не знаю.

– Как вы думаете, сколько он заплатил за свой пост?

– Это сплетни, Хэмфрис. Ничего он не заплатил. Наше министерство иностранных дел такими вещами не занимается. Какие-то очень важные лица пожелали осмотреть руины. Испанского они не знали. Чарли Фортнум устроил им хороший прием. Все очень просто. И удачно для него. С урожаями матэ дела у него шли неважно, и возможность покупать по «кадиллаку» через год сильно поправила его положение.

– Да, можно сказать, что он и женился на деньги от «кадиллака». Но меня удивляет, что за эту свою женщину ему пришлось заплатить целым «кадиллаком». Право же, хватило бы и малолитражки.

– Я несправедлив, – сказал Пларр. – Дело не только в том, что он обхаживал королевских особ. В нашей провинции тогда было много англичан, вы это знаете лучше меня. И один среди них попал на границе в беду, когда через нее перешли партизаны, а у Фортнума были связи. Он избавил посла от больших неприятностей. Ему, конечно, все же повезло, не все послы такие благодарные люди.

– Поэтому, если мы попадем в переplet, нам остается надеяться на Чарли Фортнума. Шах.

Доктору Пларру пришлось отдать ферзя в обмен на слона. Он сказал:

– Бывают люди и похуже Чарли Фортнума.

– Вы уже попали в переplet, но Чарли Фортнум вас не спасет.

Доктор Пларр быстро поднял глаза от доски, но старик имел в виду только партию в шахматы.

– Снова шах, – сказал Хэмфрис. – И мат. – Он добавил: – Этот душ течет уже полгода. Вы не всегда так легко мне проигрываете, как сегодня.

– Вы стали лучше играть.

2

Доктор Пларр отказался от третьей партии и поехал домой. Он жил на верхнем этаже желтого многоквартирного дома, выходившего на Парану. Этот дом был бельмом на глазу у старого колониального города, однако желтый цвет с годами все больше линял, да, впрочем, доктор и не мог позволить себе собственного дома, пока жива была мать. Просто не поверишь, сколько женщина может истратить в столице на пирожные.

Когда доктор Пларр закрывал ставни, реку пересекал последний паром, а когда лег в постель, то услышал шум самолета, медленно делавшего в небе круг. Шел он очень низко, словно лишь несколько минут назад оторвался от земли. Это явно не был реактивный самолет, пролетавший над городом по пути в Буэнос-Айрес или Асунсьон, да и час был чересчур

поздний для дальнего пассажирского рейса. Пларр подумал, уж не самолет ли это американского посла, хотя и не ожидал его услышать. Он погасил свет и лежал в темноте, раздумывая о том, как легко могла сорваться вся их затея, пока шум самолета не стих, удаляясь на юг. Ему очень хотелось поднять трубку и набрать номер Чарли Фортнума, но он не мог придумать повода для звонка в такой поздний час. Нельзя же спросить, понравились ли послу руины? Хорошо ли прошел обед? Надеюсь, что у губернатора вам подали хорошие бифштексы? Он не имел обыкновения болтать с Чарли Фортнумом в такое время – Чарли слишком любил свою жену.

Пларр снова включил свет – лучше почитать, чем вот так мучиться неведением; он заранее знал, чем кончится книга доктора Сааведры, и она оказалась отличным сновидением. Движения по набережной уже почти не было, раз только с ревом пронеслась полицейская машина, но доктор Пларр скоро заснул, так и не погасив света.

Разбудил его телефонный звонок. Часы показывали ровно два часа ночи. Он знал, что ему вряд ли в это время позвонит кто-нибудь из пациентов.

– Слушаю, – сказал он. – Кто говорит?

Голос, которого он не узнал, ответил с большой осторожностью:

– Спектакль прошел удачно.

– Кто вы? Зачем вы это мне говорите? Какой спектакль? Какое мне до этого дело?

В голосе его от страха звучало раздражение.

– Нас беспокоит один из исполнителей. Он заболел.

– Не понимаю, о чем вы говорите.

– Мы опасаемся, что роль была ему не под силу.

Они никогда еще не звонили ему так открыто и в такой подозрительный час. У него не было оснований опасаться, что телефон прослушивается, но они не имели права рисковать. За беженцами с севера в пограничном районе еще со времен партизанских боев велось – хоть и не слишком пристальное – наблюдение, отчасти для их же собственной безопасности: бывали случаи, когда людей насильно утаскивали через Парану домой в Парагвай, чтобы там их убить. Как, например, врача-эмигранта в Посадасе... С тех пор как ему сообщили план спектакля, этот случай – хотя бы потому, что там тоже был замешан его коллега врач, – не выходил у него из головы. Телефонный звонок к нему на квартиру мог быть оправдан лишь крайней необходимостью. Смерть одного из участников спектакля – по тем правилам, какие они сами для себя установили, – была в порядке вещей и ничего не оправдывала.

– Не понимаю, о чем вы говорите. Вы ошиблись номером, – сказал он.

Он положил трубку и лег, глядя на телефон, словно это была черная ядовитая гадина, которая непременно ужалит снова. Две минуты спустя так и случилось, и ему пришлось взять трубку – это ведь мог быть самый обыкновенный пациент.

– Слушаю, кто говорит?

Тот же голос произнес:

– Вам надо приехать. Он при смерти.

Доктор Пларр, сдаваясь, спросил:

– Чего вы от меня хотите?

– Выйдите на улицу. Мы вас подберем ровно через пять минут. Если нас не будет, выйдите еще раз через десять минут. После этого выходите через каждые пять минут.

– Сколько на ваших часах?

– Шесть минут третьего.

Доктор надел рубашку и брюки; потом положил в портфель то, что могло ему понадобиться (скорее всего, речь шла о пулевом ранении), и тихо спустился по лестнице в одних носках. Он знал, что шум лифта проникает сквозь тонкие стены каждой квартиры. В десять минут третьего он уже стоял возле дома, в двенадцать минут третьего он ждал на улице, а в восемнадцать минут опять вошел в дом. Страх приводил его в бешенство. Его свобода, а может быть, и жизнь находились в руках безнадежных растяп. Он знал только двух членов группы, они учились с ним в Асунсьоне, а те, с кем ты провел детство, кажется, так и не становятся взрослыми. У него было не больше веры в их деловую сноровку, чем тогда, когда они были студентами; организация, в которую они когда-то входили в Парагвае – «Ювентуд фебрериста» – мало чего добилась, разве что погубила большинство своих членов в ходе плохо задуманной и дурно проведенной партизанской акции.

Однако именно эта любительщина и вовлекла его в то сообщество. В планы их он не верил и слушал их только по дружбе. Когда он спрашивал, что они будут делать в тех или иных обстоятельствах, жестокость ответов казалась ему своего рода актерством (они все трое играли небольшие роли в школьной постановке «Макбета» – прозаический перевод не делал события пьесы более достоверными).

А теперь, стоя в темном вестибюле и напряженно вглядываясь в светящийся циферблат часов, он понимал, что никогда ни на йоту не верил, что они перейдут к действиям. Даже тогда, когда дал им точные сведения о том, где будет находиться американский посол (подробности он узнал у Чарли Фортнума за стаканом виски), и снабдил их снотворным, он ни на минуту не сомневался, что ничего не произойдет. И только когда, проснувшись утром, услышал голос Леона: «Спектакль идет удачно», ему подумалось, что эти любители все же могут быть опасными. Кто же теперь умирал – Леон Ривас? Или Акуино?

Было двадцать две минуты третьего, когда он вышел на улицу в третий раз. За угол дома завернула машина и остановилась, но мотора не выключили. Ему махнули рукой.

Насколько он мог разглядеть при свете щитка, человек за рулем был ему незнаком, но его спутника он узнал и в темноте по жидкой бородке. Акуино отрастил эту бородку в полицейской камере и там же начал писать стихи, там же, в камере, он приобрел неудержимое пристрастие к чипа – непропеченным лепешкам из маниоки, – к ним можно пристраститься только с голодухи.

– Что случилось, Акуино?

– Машина не заводилась. Засорился карбюратор. Верно, Диего? А кроме того, там был полицейский патруль.

– Я спрашиваю, кто умирает?

– Надеемся, что никто.

– А Леон?

– В порядке.

– Зачем же ты позвонил? Ведь обещал меня не впутывать. И Леон обещал.

Он бы ни за что не согласился им помогать, если бы не Леон Ривас. Это по Леону он скучал почти так же, как по отцу, когда уплыл с матерью на речном пароходе. Леон был тем, чьему слову, как ему казалось, он всегда мог верить, хотя потом он как будто нарушил свое слово, когда по дошедшим до Пларра слухам стал священником, а не бесстрашным abogado [адвокатом (исп.)], который защищает бедных и невинных, как Перри Мейсон [герой серии детективных повестей американского писателя Э.С.Гарднера]. В школьные годы у Леона было громадное собрание Перри Мейсонов, топорно переведенных языком классической испанской прозы. Он давал их читать только избранным друзьям, да и то нехотя и не больше чем по одной книжке за раз. Секретарша Перри Мейсона Делла была первой женщиной, пробудившей у Пларра вождение.

– Отец Ривас сказал, чтобы мы вас привезли, – объяснил человек, которого звали Диего.

Пларр заметил, что он продолжает называть Леона отцом, хотя тот вторично нарушил обет, покинув церковь и вступив в брак, правда, этот невыполненный обет мало занимал Пларра, который никогда не ходил к мессе, разве что сопровождая мать во время редких наездов в столицу. Теперь выходит, что после ряда неудач Леон пытается вернуться вспять, к первоначальному обету помогать бедноте, который он, правда, и не собирался нарушить. Он еще кончит abogado. Они свернули в Тукуман, а оттуда в Сан-Мартин, но потом доктор Пларр уже старался не смотреть в окно. Лучше не знать, куда они едут. Если случится беда, меньше выдашь на допросе.

Они ехали так быстро, что могли привлечь к себе внимание. Пларр спросил:

– А вы не боитесь полицейских патрулей?

– Леон все их засек. Он изучал их маршруты целый месяц.

– Но сегодня ведь не совсем обычный день.

– Машину посла найдут в верховьях Параны. Они будут обыскивать каждый дом на берегу и предупредят тех, в Энкарнасьоне, по ту сторону реки. Поставят заслоны на дороге в Росарио. Поэтому патрулей здесь осталось меньше. Им нужны люди в других местах. А тут они, скорее всего, не будут его искать, ведь губернатор ждет его дома, чтобы везти в аэропорт.

– Надеюсь, все это так.

Когда машина, накрываясь, сворачивала за угол, доктор Пларр невольно поднял глаза и увидел на тротуаре шезлонг, в котором восседала тучная пожилая женщина; он ее узнал, равно как и маленькую открытую дверь у нее за спиной, – женщину звали сеньорой Санчес, и она никогда не ложилась спать, пока не уходил последний клиент. Это была самая богатая женщина в городе – так по крайней мере здесь считали.

Доктор Пларр спросил:

– Как прошел обед у губернатора? Сколько пришлось ждать?

Он представил себе, какая там царит растерянность. Ведь нельзя же обзвонить по телефону все развалины?

– Не знаю.

– Но кого-то вы же оставили для наблюдения?

– У нас и так было дел невпроворот.

Опять любительщина; доктор Пларр подумал, что Сааведра придумал бы сюжет получше. Изобретательности, не в пример machismo, явно не доставало.

– Я слышал шум мотора. Это был самолет посла?

– Если посла, то назад он полетел пустой.

– Кажется, вы не очень-то осведомлены, – сказал доктор Пларр. – А кто же ранен?

Автомобиль резко затормозил на краю проселка.

– Здесь мы выходим, – сказал Акуино.

Когда Пларр вышел, он услышал, как машина, дав задний ход, проехала несколько метров. Он постоял, вглядываясь в темноту, пока не увидел при свете звезд, куда его привезли. Это была часть бидонвиля [поселок, построенный бедняками из случайных материалов], тянувшегося между излучиной реки и городом. Проселок был ненамного уже городской улицы, и он едва разглядел хижину из старых бензиновых баков, обмазанных глиной, спрятавшуюся за деревьями авокадо. Когда глаза его привыкли к темноте, Пларр сумел различить и другие хижины, притаившиеся между деревьями, словно бойцы в засаде. Акуино повел его вперед. Ноги доктора тонули в грязи выше щиколотки. Даже «джипу» быстро здесь не пройти. Если полиция устроит облаву, об этом станет известно заранее. Может быть, любители все же что-то сообщают.

– Он тут? – спросил Пларр у Акуино.

– Кто?

– О господи, ведь тут на деревьях нет микрофонов. Да конечно, посол!

– Он-то здесь! Но после укола так и не очнулся.

Они старались продвигаться по немощеному проселку как можно быстрее и миновали несколько темных хижин. Стояла неправдоподобная тишина – даже детского плача не было слышно. Доктор Пларр остановился перевести дух.

– Здешние люди должны были слышать вашу машину, – прошептал он.

– Они ничего не скажут. Думают, что мы контрабандисты. И как вы знаете, они не очень-то благоволят к полиции.

Диего свернул в сторону на тропинку, где грязь была еще более топкой. Дождь не шел уже два дня, но в этом квартале бедноты грязь не просыхала, пока не наступит настоящая засуха. У воды не было стока, однако доктор Пларр знал, что жителям приходится тащиться чуть не милью до крана с питьевой водой. У детей – а он лечил тут многих детей – животы были вздуты от недостатка белков в пище. Вероятно, он много раз ходил по этой тропинке, но как ее отличить от других? – когда он посещал здешних больных, ему всегда нужен был провожатый. Пларру почему-то вспомнилось «Сердце-молчальник». Драться с ножом в руке за свою честь из-за женщины было из другой, до смешного допотопной жизни, которая если и существовала теперь, то лишь в романтическом воображении таких, как Сааведра. Понятия чести нет у голодных. Их удел нечто более серьезное – битва за существование.

– Это ты, Эдуардо? – спросил чей-то голос.

– Да, а это ты, Леон?

Кто-то поднял свечу, чтобы он не споткнулся о порог. Дверь за ним поспешно закрыли.

При свете свечи он увидел человека, которого все еще звали отцом Ривасом. В тенниске и джинсах Леон выглядел таким же худым подростком, какого он знал в стране по ту сторону границы. Карие глаза были чересчур велики для его лица, большие оттопыренные уши придавали ему сходство с маленькой дворняжкой, которые стаями бродят по barrio popular [квартал, околотов бедноты (исп.)]. В глазах светилась все та же мягкая преданность, а торчащие уши подчеркивали незащитность. Несмотря на годы, его можно было принять за робкого семинариста.

– Как ты долго, Эдуардо, – мягко упрекнул он.

– Пеняй на своего шофера Диего.

– Посол все еще без сознания. Нам пришлось сделать ему второй укол. Так сильно он вырывался.

– Я же тебе говорил, что второй укол – это опасно.

– Все опасно, – ласково сказал отец Ривас, словно предостерегал в исповедальне от соблазнов плоти.

Пока доктор Пларр раскрывал свой чемоданчик, отец Ривас продолжал:

– Он очень тяжело дышит.

– А что вы будете делать, если он совсем перестанет дышать?

– Придется изменить тактику.

– Как?

– Придется объявить, что он был казнен. Революционное правосудие, – добавил он с горькой усмешкой. – Прошу тебя, пожалуйста, сделай все, что можешь.

– Конечно.

– Мы не хотим, чтобы он умер, – сказал отец Ривас. – Наше дело – спасти человеческие жизни.

Они вошли в другую комнату – их было всего две, – где длинный ящик – он не понял, что это за ящик, – застелив его несколькими одеялами, превратили в импровизированную кровать. Доктор Пларр услышал тяжелое, неровное дыхание человека под наркозом – тот словно силился очнуться от кошмара. Он сказал:

– Посвети поближе.

Нагнувшись, он поглядел на воспаленное лицо. И долгое время не мог поверить своим глазам. Потом громко захохотал, потрясенный тем, что увидел.

– Ох, Леон, – сказал он, – плохо же ты выбрал профессию!

– Ты это к чему?

– Лучше вернись под церковную сень. Похищать людей не твоя стихия.

– Не понимаю. Он умирает?

– Не беспокойся, – сказал доктор Пларр, – он не умрет, но это не американский посол.

– Не...

– Это Чарли Фортнум.

– Кто такой Чарли Фортнум?

– Наш почетный консул. – Доктор Пларр произнес это так же издевательски, как доктор Хэмфрис.

– Не может быть! – воскликнул отец Ривас.

– В жилах Чарли Фортнума течет алкоголь, а не кровь. Морфий, который я вам дал, не подействовал бы на посла так сильно. Посол остерегается алкоголя. Для сегодняшнего обеда пришлось добывать кока-колу. Мне это рассказывал Чарли. Немного погодя он придет в себя. Пусть проспится. – Однако не успел он выйти из комнаты, как человек, лежавший на ящике, открыл глаза и уставился на доктора Пларра, а тот уставился на него. Надо было все же удостовериться в том, что тебя узнали.

– Отвезите меня домой, – сказал Фортнум, – домой. – И перевернулся на бок в еще более глубоком забытии.

– Он тебя узнал? – спросил отец Ривас.

– Почему я знаю?

– Если он тебя узнал, это сильно осложняет дело.

В соседней комнате зажгли вторую свечу, но никто не произносил ни слова, будто все ждали друг от друга подсказки, что делать дальше. Наконец Акуино произнес:

– Эль Тигре будет недоволен.

– Чистая комедия, если подумаешь, – сказал доктор Пларр. – Наверное, тот самолет, что я слышал, был самолетом посла, и посол на нем улетел. Назад в Буэнос-Айрес. Не пойму, как же на обеде у губернатора обошлись без переводчика?

Он перевел взгляд с одного лица на другое, но никто не улыбнулся в ответ.

В комнате было два незнакомых ему человека, но Пларр заметил еще и женщину, лежавшую в темном углу, – сначала он принял ее за брошенное на пол пончо. Один из незнакомцев был рябой негр, другой индеец – сейчас он наконец заговорил. Слов понять Пларр не мог, говорил он не по-испански.

– Что он сказал, Леон?

– Мигель считает, что его надо утопить в реке.

– А ты что сказал?

– Я сказал, что, если мертвеца найдут в трехстах километрах от машины, полицию это очень заинтересует.

– Дурацкая идея, – сказал доктор Пларр. – Вы не можете убить Чарли Фортнума.

– Я стараюсь даже мысленно не употреблять таких выражений, Эдуардо.

– Разве убийство для тебя теперь только вопрос семантики? Правда, семантика всегда была твоим коньком. В те дни ты объяснял мне, что такое троица, но твои объяснения были куда сложнее катехизиса.

– Мы не хотим его убивать, – сказал отец Ривас, – но что нам делать? Он тебя видел.

– Он ничего не будет помнить, когда проснется. Чарли все забывает, когда напивается. Как же вас угораздило совершить такую ошибку? – добавил доктор Пларр.

– Это я должен выяснить, – ответил отец Ривас и заговорил на гуарани.

Доктор Пларр взял одну из свечей и подошел к двери второй комнаты. Чарли Фортнум мирно спал на ящике, словно у себя дома на большой медной кровати, где обычно лежал на боку возле окна. Когда доктор спал там с Кларой, брезгливость заставляла его ложиться с левого края, ближе к двери.

Лицо Чарли Фортнума, сколько он его знал, всегда выглядело воспаленным. У него было высокое давление, и он злоупотреблял виски. Ему шел седьмой десяток, но жидкие волосы сохранили пепельную окраску, как у мальчика, а румянец неопытному глазу мог показаться признаком здоровья. У него был вид фермера, человека, который живет на открытом воздухе. Он и правда владел поместьем в пятидесяти километрах от города, где выращивал немного зерна, а больше матэ. Он любил трястись от поля к полю на старом «лендровере», который звал «Гордость Фортнума». «Ну-ка, галопом, – говорил он, со скрежетом переводя скорость, – гопля!»

А сейчас он вдруг поднял руку и помахал ею. Глаза у него были закрыты. Ему что-то снилось. Может, он думал, что машет своей жене и доктору, предоставляя им решать на веранде свои скучные медицинские дела. «Женские внутренности – никак в них не разберешься, – однажды сказал ему Чарли Фортнум. – Как-нибудь нарисуйте мне их схему».

Доктор Пларр быстро вышел в переднюю комнату.

– Он в порядке, Леон. Можете спокойно выкинуть его где-нибудь на обочине дороги, полиция его найдет.

– Этого мы сделать не можем. А что, если он тебя узнал?

– Он крепко спит. Да и ничего не скажет мне во вред. Мы старые друзья.

– Я, кажется, понял, как это произошло, – сказал отец Ривас. – Сведения, которые ты нам дал, были довольно точными. Посол приехал из Буэнос-Айреса на машине; трое суток провел в дороге, потому что хотел посмотреть страну, посольство послало из Буэнос-Айреса за ним самолет, чтобы отвезти его назад после обеда у губернатора. Все это подтвердилось, но ты не сказал, что смотреть руины поедет с ним ваш консул.

– Я этого не знал. Чарли рассказал мне только про обед.

– Он и ехал-то не в машине посла. Тогда бы мы по крайней мере захватили обоих. Как видно, сел в свою машину, а потом решил вернуться, посол же оставался там. Наши люди ожидали, что пройдет только одна машина. Дозорный дал световой сигнал, когда она проехала. Он видел флаг.

– Британский, а не звездно-полосатый. Но Чарли не имеет права ни на тот, ни на этот.

– В темноте не разглядишь, но было сказано, что на машине будет дипломатический номер.

– Буквы были тоже не совсем те.

– И буквы, когда темно и машина на ходу, не очень-то различишь. Наш человек не виноват. Один, в темноте, вероятно, еще и напуган. Могло случиться и со мной, и с тобой. Не повезло.

– Полиция, может, еще и не знает, что произошло с Фортнумом. Если вы его быстро отпустите...

В ответ на их настороженное молчание доктор Пларр заговорил, как адвокат в суде.

– Чарли Фортнум не годится в заложники, – сказал он.

– Он член дипломатического корпуса, – заметил Акуино.

– Нет. Почетный консул – это не настоящий консул.

– Английский посол вынужден будет принять меры.

– Естественно. Сообщит об этом деле своему начальству. Как и насчет любого британского подданного. Если бы вы захватили меня или старого Хэмфриса, было бы то же самое.

– Англичане попросят американцев оказать давление на Генерала в Асунсьоне.

– Будьте уверены, что американцы и не подумают за него заступаться. С какой стати? Они не пожелают сердить своего друга Генерала ради Чарли Фортнума.

– Но он же британский консул.

Доктор Пларр уже отчаивался убедить их, до чего незначительная персона этот Чарли Фортнум.

– У него даже нет права на дипломатический номер для своей машины, – ответил он. – Имел из-за этого неприятности.

– Ты его, видно, хорошо знал? – спросил отец Ривас.

– Да.

– И тебе он нравился?

– Да. В какой-то мере.

То, что Леон говорит о Фортнуме в прошедшем времени, было дурным признаком.

– Жаль. Я тебя понимаю. Гораздо удобнее иметь дело с чужими. Как в исповедальне. Мне всегда бывало неприятно, когда я узнавал голос. Куда легче быть суровым с незнакомыми.

– Что тебе даст, если ты его не отпустишь, Леон?

– Мы перешли границу, чтобы совершить определенную акцию. Многие наши сторонники будут разочарованы, если мы ничего не добьемся. В нашем положении непременно надо чего-то добиться. Даже похищение консула – это уже кое-что.

– Почетного консула, – поправил его доктор Пларр.

– Оно послужит предостережением более важным лицам. Может, они отнесутся серьезнее к нашим угрозам. Маленькая тактическая победа в долгой войне.

– Значит, как я понимаю, ты готов выслушать исповедь незнакомца и дать ему отпущение грехов перед тем, как его убьешь? Ведь Чарли Фортнум – католик. Ему будет приятно увидеть

священника у своего смертного одра.

Отец Ривас сказал негру:

– Дай мне сигарету, Пабло.

– Он будет рад даже женатому священнику вроде тебя, Леон.

– Ты охотно согласился нам помочь, Эдуардо.

– Когда речь шла о после. Его жизни не угрожала никакая опасность. И они пошли бы на уступки. Притом – с американцем... это как на войне. Американцы сами поубивали прорву людей в Южной Америке.

– Твой отец один из тех, кому мы стараемся помочь, если он еще жив.

– Не знаю, одобрил ли бы он ваш метод.

– Мы этого метода не выбирали. Они нас довели.

– Ну что вы можете попросить в обмен на Чарли Фортнума? Ящик хорошего виски?

– За американского посла мы потребовали бы освобождения двадцати узников. За британского консула, вероятно, придется снизить цену наполовину. Пусть решит Эль Тигре.

– А где же он, черт бы его побрал, этот ваш Эль Тигре?

– Пока операция не кончена, с ним имеют связь только наши в Росарио.

– Наверное, его план не был рассчитан на ошибку. И не учитывает человеческую природу. Генерал может убить тех, кого вы просите освободить, и сказать, что они умерли много лет назад.

– Мы неоднократно обсуждали эту возможность. Если он их убьет, то в следующий раз мы предъявим ему еще большие требования.

– Леон, послушай. Если вы будете уверены, что Чарли Фортнум ничего не вспомнит, право же...

– А как мы можем быть в этом уверены? У тебя нет такого лекарства, чтобы заглушить память. Он так тебе дорог, Эдуардо?

– Он – голос в исповедальне, который мне знаком.

– Тед, – окликнул его знакомый голос из задней комнаты. – Тед!

– Видишь, – сказал отец Ривас. – Он тебя узнал.

Доктор Пларр повернулся спиной к судьям и вышел в соседнюю комнату.

– Да, Чарли, я тут. Как вы себя чувствуете?

– Ужасно, Тед. Что это? Где я?

– У вас была авария. Ничего страшного.

– Вы отвезете меня домой?

– Пока не могу. Вам надо спокойно полежать. В темноте. У вас легкое сотрясение мозга.

- Клара будет беспокоиться.
- Не волнуйтесь. Я ей объясню.
- Не надо ее тревожить, Тед. Ребенок...
- Я же ее врач, Чарли.
- Конечно, дорогой, я просто старый дурак. Она сможет меня навестить?
- Через несколько дней вы поедете домой.
- Через несколько дней? А выпить что-нибудь тут найдется?
- Нет. Я дам вам кое-что получше, чтобы вы заснули.
- Вы настоящий друг, Тед. А кто эти люди там рядом? Почему вы светите себе фонариком?
- Не работает электричество. Когда вы проснетесь, будет светло.
- Вы заедете меня проведать?
- Конечно.

Чарли Фортнум минутку полежал спокойно, а потом спросил так громко, что его должны были слышать в соседней комнате:

- Ведь это же была не авария, Тед?
- Конечно, это была авария!
- Солнечные очки... где мои солнечные очки?
- Какие очки?
- Очки были Кларины, – сказал Чарли Фортнум. – Она их так любит. Не надо было мне их брать. Не нашел своих. – Он подтянул повыше колени и со вздохом повернулся на бок. – Важно знать норму, – произнес он и замер – точь-в-точь как состарившийся зародыш, который так и не сумел появиться на свет.

Отец Ривас сидел в соседней комнате, положив голову на скрещенные руки и прикрыв глаза. Доктор Плarr, войдя туда, подумал, что он молится, а может быть, только прислушивается к словам Чарли Фортнума, как когда-то прислушивался в исповедальне к незнакомому голосу, решая, какую назначить епитимью...

- Ну и шляпы же вы, – попрекнул его доктор Плarr. – Ну и любители!
- На нашей стороне только любители. Полиция и солдаты – вот те профессионалы.
- Почетный консул, да еще алкоголик, – вместо посла!
- Да. Че Гевара тоже снимал фотографии как турист, а потом их терял. Тут хотя бы ни у кого нет аппарата. И никто не ведет дневник. На ошибках мы учимся.
- Твоему шоферу придется отвезти меня домой, – сказал доктор Плarr.
- Хорошо.
- Я завтра заеду...

- Ты здесь больше не понадобишься, Эдуардо.
- Тебе, может, и нет, но...
- Лучше, чтобы он тебя больше не видел, пока мы не решили...
- Леон, – сказал доктор Пларр, – неужели ты серьезно? Старый Чарли Фортнум...
- Он не в наших руках, Эдуардо. Он в руках правительства. И в божьих, конечно. Как видишь, я не забыл той моей трескотни, но мне еще ни разу не приходилось видеть, чтобы бог хоть как-то вмешивался в наши войны или в нашу политику.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Доктор Пларр хорошо помнил, как он познакомился с Чарли Фортнумом. Встреча произошла через несколько недель после его приезда из Буэнос-Айреса. Почетный консул был в стельку пьян и не держался на ногах. Доктор Пларр шел в «Боливар», когда из окна Итальянского клуба высунулся пожилой джентльмен и попросил помочь.

– Проклятый официант ушел домой, – объяснил он по-английски.

Когда доктор Пларр вошел в клуб, он увидел пьяного, но вполне жизнерадостного человека, он, правда, не мог встать на ноги, но это его ничуть не смущало. Он заявил, что ему вполне удобно и на полу.

– Я сживал и на кое-чем похуже, – пробормотал он, – в том числе на лошадях.

– Если вы возьмете его за одну руку, – сказал старик, – я возьму за другую.

– А кто он такой?

– Джентльмен, который, как видите, сидит на полу и не желает вставать, наш почетный консул, мистер Чарлз Фортнум. А вы ведь доктор Пларр? Рад познакомиться. Я – доктор Хэмфрис. Доктор филологии, а не медицины. Мы трое, так сказать, столпы местной английской колонии, но один из столпов рухнул.

Фортнум объяснил:

– Не рассчитал норму... – И добавил что-то насчет того, что стакан был не тот. – Надо пить из стакана одного размера, не то запутаешься.

– Он что-нибудь празднует? – спросил доктор Пларр.

– На прошлой неделе ему доставили новый «кадиллак», а сегодня нашелся покупатель.

– Вы здесь ужинали?

– Он хотел повести меня в «Националь», но такого пьяного не только в «Националь», но и в мой отель не пустят. Теперь нам надо как-нибудь довести его домой. Но он настаивает на том, чтобы пойти к сеньоре Санчес.

– Кто это, его приятельница?

– Приятельница половины мужчин этого города. Держит единственный здесь приличный бордель, так по крайней мере говорят. Лично я не судья в этих делах.

– Но бордели запрещены законом, – заметил доктор Пларр.

– Не у нас в городе. Мы ведь все же военный гарнизон. А военные не желают, чтобы ими командовали из Буэнос-Айреса.

– Почему бы не пустить его туда?

– Вы же сами видите почему: он не держится на ногах.

– Но ведь все назначение публичного дома в том, чтобы там лежать.

– Кое-что должно стоять, – неожиданно грубо сказал доктор Хэмфрис и сморщился от отвращения.

В конце концов они вдвоем кое-как перетасили Чарли Фортнума через улицу, в маленькую комнатку, которую доктор Хэмфрис занимал в отеле «Боливар». В те дни на ее стенах висело не так много картинок, потому что было поменьше сырых пятен и душ еще не тек. Неодушевленные предметы меняются быстрее, чем люди. Доктор Хэмфрис и Чарли Фортнум в ту ночь были почти такими же, как теперь; трещины в штукатурке запущенного дома углубляются быстрее, чем морщины на лице, краски выцветают быстрее, чем волосы, а разруха в доме происходит безостановочно; она никогда не стоит на одном и том же уровне, на котором человек может довольно долго прожить, не меняясь. Доктор Хэмфрис находился на этом уровне уже много лет, а Чарли Фортнум, хоть и был лишь на подходе к нему, нашел верное оружие в борьбе со старческим маразмом: он заспиртовал жизнерадостность и простодушие своих молодых лет. Годы шли, но доктор Пларр почти не замечал перемен в своих старых знакомцах – быть может, Хэмфрис медленнее преодолевал расстояние между «Боливаром» и Итальянским клубом, а на хорошо укупоренном благодущии Чарли Фортнума, как пятна плесени, все чаще проступала меланхолия.

В тот раз доктор Пларр оставил консула у Хэмфриса в отеле «Боливар» и пошел за своей машиной. Он жил тогда в той же квартире того же дома, что и теперь. В порту еще горели огни, там работали всю ночь. На плоскодонную баржу поставили металлическую вышку, и железный стержень бил с нее по дну Параны. Стук-стук-стук – удары отдавались, как бой ритуальных барабанов. А с другой баржи были спущены трубы, соединенные под водой с мотором; они высасывали гравий с речного дна и с лязгом и грохотом перебрасывали его по набережной на островок в полумиле отсюда. Губернатор, назначенный последним президентом после coup d'etat [государственный переворот (франц.)] этого года, задумал углубить дно бухты, чтобы порт мог принимать с берега Чако грузовые паромы более глубокой осадки и пассажирские суда покрупнее из столицы. Когда после следующего военного переворота, на этот раз в Кордове, он был смещен с поста, затею эту забросили, и сну доктора Пларра уже ничто не мешало. Говорили, будто губернатор Чако не собирается тратить деньги на то, чтобы углубить дно со своей стороны реки, а для пассажирских судов из столицы верховья реки все равно чересчур мелки – в сухое время года пассажирам приходилось пересаживаться на суда поменьше, чтобы добраться до Республики Парагвай на севере. Трудно сказать, кто первый совершил ошибку, если это было ошибкой. Вопрос «Cui bono?» [Кому на пользу? (лат.)] не мог быть задан кому-нибудь персонально, потому что все подрядчики нажились и, несомненно, поделились наживой с другими. Работы в порту,

прежде чем их забросили, дали людям хоть как-то поправить свои дела: в доме одного появился рояль, в кухне другого – холодильник, а в погребе мелкого, второстепенного субподрядчика, где до сих пор не видали спиртного, теперь хранились одна или две дюжины ящиков местного виски.

Когда доктор Пларр вернулся в отель «Боливар», Чарли Фортнум пил крепкий черный кофе, сваренный на спиртовке, которая стояла на мраморном умывальнике рядом с мыльницей и зубной щеткой доктора Хэмфриса. Консул выражался куда более вразумительно, и его стало еще труднее отговорить от посещения сеньоры Санчес.

– Там есть одна девушка, – говорил он. – Настоящая девушка. Совсем не то, что вы думаете. Мне надо ее еще повидать. В прошлый раз я никуда не годился...

– Да вы и сейчас никуда не годитесь, – сказал Хэмфрис.

– Вы ничего не понимаете! Я просто хочу с ней поговорить. Не все же мы такие похабники, Хэмфрис. В Марии есть благородство. Ей вовсе не место...

– Такая же проститутка, наверное, как и все, – сказал доктор Хэмфрис, откашливаясь.

Доктор Пларр скоро заметил, что, когда Хэмфрис чего-нибудь не одобряет, его сразу начинает душить мокрота.

– Вот тут вы оба очень ошибаетесь, – заявил Чарли Фортнум, хотя доктор Пларр и не думал высказывать какого-либо мнения. – Она совсем не такая, как другие. В ней есть даже порода. Семья ее из Кордовы. В ней течет хорошая кровь, не будь я Чарли Фортнум. Знаю, вы считаете меня идиотом, но в этой девушке есть... ну да, можно сказать, целомудрие.

– Но вы здешний консул, все равно – почетный или какой другой. Вам не подобает ходить в такие притоны.

– Я уважаю эту девушку, – заявил Чарли Фортнум. – Я ее уважаю даже тогда, когда с ней сплю.

– А ни на что другое вы сегодня и не способны.

После настойчивых уговоров Фортнум согласился, чтобы его усадили в автомобиль доктора Пларра.

Там он какое-то время мрачно молчал: подбородок его трясся от толчков машины.

– Да, конечно, стареешь, – вдруг произнес он. – Вы человек молодой, вас не мучают воспоминания, сожаления о прошлом... Вы женаты? – внезапно спросил он, когда они ехали по Сан-Мартину.

– Нет.

– Я когда-то был женат, – сказал Фортнум, – двадцать пять лет назад, теперь уже кажется, что с тех пор прошли все сто. Ничего у меня не вышло. Она была из тех, из умниц, если вам понятно, что я хочу этим сказать. Вникнуть в человеческую натуру не умела. – По странной ассоциации, которой доктор Пларр не смог уловить, он перескочил на свое теперешнее состояние. – Я всегда становлюсь куда человечнее, когда выпью больше полбутылки. Чуть меньше – ничего не дает, а вот чуть больше... Правда, надолго этого не хватает, но за полчаса блаженства стоит потом погрузиться.

– Это вы говорите о вине? – с недоумением спросил доктор Пларр.

Ему не верилось, что Фортнум может так себя ограничивать.

– О вине, виски, джине – все равно. Весь вопрос в норме. Норма имеет психологическое значение. Меньше полбутылки – и Чарли Фортнум одинокий бедняга, и одна только «Гордость Фортнума» у него для компании.

– Какая гордость Фортнума?

– Это мой гордый, ухоженный конь. Но хотя бы одна рюмка сверх полбутылки – любого размера, даже ликерная, важна ведь определенная норма, – и Чарли Фортнум снова человек. Хоть ко двору веди. Знаете, я ведь раз был на пикнике с королевскими особами, там, среди руин. Втроем выпили две бутылки и здорово, надо сказать, повеселились. Но это уже из другой оперы. Вроде той, про капитана Изкуиердо. Напомните мне, чтобы я вам как-нибудь рассказал про капитана Изкуиердо.

Постороннему было трудно уследить за ходом его ассоциаций.

– А где находится консульство? Следующий поворот налево?

– Да, но можно с тем же успехом свернуть через две или три улицы и сделать маленький круг. Мне, доктор, с вами очень приятно. Как, вы сказали, ваша фамилия?

– Пларр.

– А вы знаете, как меня зовут?

– Да.

– Мейсон.

– А я думал...

– Так меня звали в школе. Мейсон. Фортнум и Мейсон ["Фортнум и Мейсон" – известный гастрономический магазин в Лондоне], близнецы-неразлучники. Это была лучшая английская школа в Буэнос-Айресе. Однако карьера моя там была далеко не выдающейся. Вернее сказать, я ничем не выдавался... Удачное слово, правда? Все было в норме. Не слишком хорошо и не слишком плохо. Никогда не был старостой и прилично играл только в ножички. Официально я там признан не был. Школа у нас была снобистская. Однако директор, не тот, которого я знал, тот был Арден, мы звали его Вонючкой, нет, новый директор, когда я был назначен почетным консулом, прислал мне поздравление. Я, конечно, написал ему первый и сообщил приятную новость, так что ему неудобно было игнорировать меня совсем.

– Вы скажете, когда мы подъедем к консульству?

– Да мы его, дорогой, проехали, но какая разница? У меня голова уже ясная. Вы вон там сверните. Сперва направо, а потом опять налево. У меня такое настроение, что я могу кататься хоть всю ночь. В приятной компании. Не обращайте внимания на знаки одностороннего движения. У нас дипломатические привилегии. На машине номер К. Мне ведь не с кем поговорить в этом городе, как с вами. Испанцы. Гордый народ, но бесчувственный. В этом смысле совсем не такой, как мы – англичане. Нет любви к домашнему очагу. Шлепанцы, ноги на стол, стаканчик под рукой, дверь нараспашку... Хэмфрис парень неплохой, он ведь такой же англичанин, как мы с вами... а может, шотландец? Но душа у него менторская. Тоже удачное словечко, а? Вечно пытается меня перевоспитать в смысле морали, а ведь я не так уж много делаю дурного, дурного по-настоящему. Если я сегодня слегка нагрузился, значит, не тот был стакан. А как ваше имя, доктор?

– Эдуардо.

– А я-то думал, что вы англичанин!

– Мать у меня парагвайка.

– Зовите меня Чарли. Не возражаете, если я буду звать вас Тед?

– Зовите, как хотите, но ради Христа скажите наконец, где ваше консульство?

– На углу. Но не думайте, будто это что-то особенное. Ни мраморных вестибюлей, ни люстр, ни пальм в горшках. Всего-навсего холостяцкое жилье – кабинет, спальня... Обычное присутственное место. Это все, чем наши чинуши меня удостоили. Никакого чувства национальной гордости. Трясутся над каждым грошом, а сколько на этом теряют? Вы должны приехать ко мне в поместье, там мой настоящий дом. Почти тысяча гектаров. Точнее говоря, восемьсот. Лучшее матэ в стране. Да мы можем хоть сейчас туда съездить, отсюда всего три четверти часа езды. Хорошенько выспимся, а потом дернем для опохмелки. Могу угостить настоящим виски.

– Только не сегодня. У меня утром больные.

Они остановились возле старинного дома в колониальном стиле с коринфскими колоннами; в лунном свете ярко белела штукатурка. С первого этажа свисал флагшток, и на щите красовался королевский герб. Чарли Фортнум, нетвердо стоя на ногах, посмотрел вверх.

– Верно, по-вашему? – спросил он.

– Что верно?

– Флагшток. Кажется, он торчит чересчур наклонно.

– По-моему, в порядке.

– Жаль, что у нас такой сложный государственный флаг. Как-то раз, в день тезоименитства королевы, я вывесил его вверх ногами. Мне казалось, что чертова штука висит как следует, а Хэмфрис обозлился, сказал, что пожалуется послу. Зайдем, выпьем по стаканчику.

– Если вы доберетесь сами, я, пожалуй, поеду.

– Имейте в виду, виски у меня настоящее. Получаю «Лонг Джон» из посольства. Там предпочитают «Хэйг». Но «Лонг Джон» бесплатно выдает к каждой бутылке стакан. И очень хорошие стаканы, с делениями. Женская мера, мужская, шкиперская. Я-то, конечно, считаю себя шкипером. У меня в имени дюжины этих стаканов. Мне нравится название «шкипер». Лучше, чем капитан – тот может быть просто военным.

Он долго возился с замком, но с третьей попытки все же дверь открыл. Покачиваясь на пороге за коринфскими колоннами, он произнес речь, доктор Пларр с нетерпением ждал, когда наконец он кончит.

– Очень приятно провели вечерок, Тед, хотя гуляш был на редкость противный. Так хорошо иногда поболтать на родном языке, с непривычки уже заикаешься, а ведь на нем говорил Шекспир. Не думайте, что я всегда такой веселый, все дело в норме. Иногда я и радуюсь обществу друга, но на меня все равно нападает меланхолия. И помните, когда бы вам ни понадобился консул, Чарли Фортнум будет счастлив оказать вам услугу. Как и любому англичанину. Да и шотландцу или валлийцу, если на то пошло. У всех у нас есть нечто родственное. Все мы подданные этого чертова Соединенного Королевства. Национальность гуще, чем водица, хотя выражение это довольно противное: почему гуще? Напоминает о том, что давно пора забыть и простить. Вам, когда вы были маленький, давали инжирный сироп? Идите прямо наверх. В среднюю дверь на первом этаже, там большая медная дощечка, ее

сразу заметишь. Сколько сил уходит на ее полировку, не поверите, часами приходится тереть. Уход за «Гордостью Фортнума» по сравнению с этим – детская игра.

Он шагнул назад, в темный вестибюль, и пропал из виду.

Доктор Пларр поехал к себе, в новый желтый многоквартирный дом, где рядом в трубах шуршал гравий и визжали ржавые краны. Лежа в постели, он подумал, что в будущем вряд ли захочет встречаться с этим почетным консулом.

И хотя доктор Пларр не спешил возобновить знакомство с Чарли Фортнумом, месяца через два после их первой встречи он получил документы, которые полагалось заверить у британского консула.

Первая попытка его повидать окончилась неудачей. Он приехал в консульство часов в одиннадцать утра. Сухой, горячий ветер с Чако развевал национальный флаг на криво висевшем флагштоке. Пларр удивился, зачем его вывесили, но потом вспомнил, что сегодня годовщина заключения мира в предыдущей мировой войне. Он позвонил и вскоре мог бы поклясться, что кто-то за ним наблюдает сквозь глазок в двери. Он встал подальше на солнце, чтобы его можно было разглядеть, и сразу же дверь распахнула маленькая чернявая носатая женщина. Она уставилась на него взглядом хищной птицы, привыкшей издали находить падаль; может быть, ее удивило, что падаль стоит так близко и еще живая. Нет, сказала она, консула нет. Нет, сегодня он не ожидается. А завтра? Может быть. Наверняка сказать она не может. Доктору Пларру казалось, что это не лучший способ отправлять консульскую службу.

Он часок отдохнул после ленча, а потом по дороге к больным в *barrio popular*, которые не могли встать с постели, если можно назвать постелью то, на чем они там лежали, снова заехал в консульство. И был приятно удивлен, когда дверь ему открыл сам Чарлз Фортнум. Консул при первом знакомстве говорил о своих приступах меланхолии. Как видно, сейчас у него и был такой приступ. Он хмуро, недоумевающе и с опаской смотрел на доктора, словно где-то в подсознании у него копошилось неприятное воспоминание.

– Ну?

– Я доктор Пларр.

– Пларр?

– Мы познакомились с вами у Хэмфриса.

– Правда? Да-да. Конечно. Входите.

В темный коридор выходили три двери. Из-под первой тянулся запах немытой посуды. Вторая, как видно, вела в спальню. Третья была открыта, и Фортнум повел доктора туда. В комнате стояли письменный стол, два стула, картотека, сейф, висела цветная репродукция с портрета королевы под треснутым стеклом – вот, пожалуй, и все. А стол был пуст, не считая стоячего календаря с рекламой аргентинского чая.

– Простите, что побеспокоил, – сказал доктор Пларр. – Я утром заезжал...

– Не могу же я здесь быть неотлучно. Помощника у меня нет. Куча всяких обязанностей. А утром... да, я был у губернатора. Чем могу быть полезен?

– Я привез кое-какие документы, их надо заверить.

– Покажите.

Фортнум грузно сел и стал выдвигать ящик за ящиком. Из одного он вынул пресс-папье, из другого бумагу и конверты, из третьего печать и шариковую ручку. Он стал расставлять все это на столе, как шахматные фигуры. Переложил с места на место печать и ручку – быть может, ненароком поместил ферзя не по ту сторону короля. Прочитал документы якобы со вниманием, но глаза его тут же выдали: слова явно ничего ему не говорили; потом он дал доктору Пларру поставить свою подпись. После чего прихлопнул документы печатью и добавил собственную подпись: Чарлз К.Фортнум.

– Тысяча песо, – сказал он. – И не спрашивайте, что означает "К". Я это скрываю.

Расписки он не дал, но доктор Пларр заплатил без звука.

Консул сказал:

– Голова просто раскалывается. Сами видите: жара, сырость. Чудовищный климат. Один бог знает, почему отец решил жить тут и тут умереть. Что бы ему не поселиться на юге? Да где угодно, только не здесь.

– Если вам так плохо, почему не продать имущество и не уехать?

– Поздно. В будущем году мне стукнет шестьдесят один. Какой смысл начинать сначала в такие годы? Нет ли у вас в чемоданчике аспирина?

– Есть. А вода у вас найдется?

– Давайте так. Я их жую. Тогда они быстрее действуют.

Он разжевал таблетку и попросил вторую.

– А вам не противно их жевать?

– Привыкаешь. Если на то пошло, вкус здешней воды мне тоже не нравится. Господи, ну до чего же мне сегодня паршиво.

– Может, измерить вам давление?

– Зачем? Думаете, оно не в порядке?

– Нет. Но лишняя проверка в вашем возрасте не мешает.

– Беда не в давлении. А в жизни.

– Переутомились?

– Нет, этого бы я не сказал. Но вот новый посол, он меня донимает.

– Чем?

– Хочет получить отчет об урожаях матэ в нашем округе. Зачем? Там, на родине, никто парагвайского чая не пьет. Да сам небось и слыхом о нем не слыхал, а мне придется неделю работать, разъезжать по плохим дорогам, а потом эти типы в посольстве еще удивляются, почему я каждые два года выписываю новую машину! Я имею на нее право. Как дипломат. Сам за нее плачу, и, если решаю потом продать, это мое личное дело, а не посла. «Гордость Фортнума» на здешних дорогах много надежнее. Я за нее ничего не требую, а между тем, обслуживая их, она совсем выматывается. Ну и мелочные же людишки эти посольские! Они даже намекают, что я, мол, меньше плачу за это помещение!

Доктор Пларр раскрыл чемоданчик.

– А что это у вас за штука?

– Мы же решили измерить вам кровяное давление.

– Тогда лучше пойдем в спальню, – сказал консул. – Нехорошо, если нас увидит горничная. По всему городу пойдут слухи, что я при смерти. А тогда сбегутся все кредиторы.

Спальня была почти такая же пустая, как и кабинет. Постель смялась во время полуденного отдыха, и подушка валялась на полу рядом с пустым стаканом. Над кроватью вместо портрета королевы висела фотография человека с густыми усами, в костюме для верховой езды. Консул сел на мягкое покрывало и закатал рукав. Доктор Пларр стал накачивать воздух грушей.

– Вы правда думаете, что мои головные боли – это что-то опасное?

Доктор Пларр следил за стрелкой на циферблате.

– Думаю, в ваши годы опасно столько пить.

Он выпустил воздух.

– Головные боли – это у меня наследственное. Отец страдал ужасными головными болями. Он и умер в одночасье. Удар. Вот он там, на стене. Прекрасно сидел на лошади. Хотел и меня научить, но я этих глупых скотов не выносил.

– А по-моему, вы говорили, что у вас есть лошадь. «Гордость Фортнума».

– Да какая же это лошадь, это мой «джип». Нет, на лошадь я ни за какие коврижки не сяду! Но скажите правду, Пларр, хоть и самую страшную.

– Эта штука не показывает ни самого страшного, ни самого невинного. Давление у вас, однако, слегка повышено. Я дам вам таблетки, но не могли бы вы пить хоть немного поменьше?

– Вот и отцу врачи всегда советовали то же самое. Он мне как-то сказал, что за те же деньги лучше купить стаю попугаев, они бы ничуть не хуже твердили одно и то же. Видно, я пошел в этого старого негодяя – во всем, кроме лошадей. Боюсь их смертельно. Он на меня за это злился, говорил: «Преодолей страх, Чарли, не то он тебя одолеет». А как вас по имени, Пларр?

– Эдуардо.

– Друзья зовут меня Чарли. Не возражаете, если я буду звать вас Тед?

– Если вам так хочется.

Трезвый Чарли Фортнум впал в такую же фамильярность, как и прошлый раз пьяный, правда не сразу. Интересно, подумал доктор Пларр, часто ли они будут ходить по этому кругу, если их знакомство не оборвется, и на каком круге они окончательно станут друг для друга Чарли и Те дом?

– Знаете, тут, в городе, кроме нас еще только один англичанин. Некто Хэмфрис, учитель английского. Знакомы с ним?

– Да мы ведь вместе провели вечер. Не помните? Я вас еще проводил домой.

Почетный консул посмотрел на него чуть не со страхом.

– Нет. Не помню. Ровно ничего. Это плохой признак?

– Ну, с кем этого не бывает, если здорово напьешься.

– Когда я вас увидел за дверью, ваше лицо мне показалось знакомым. Поэтому я и спросил, как вас зовут. Подумал, что мог что-нибудь у вас купить и забыл отдать деньги. Да, надо будет поостеречься. На время, конечно.

– Вреда вам от этого не будет.

– Кое-что я помню очень хорошо, но я как мой старик – он ведь тоже многое забывал. Знаете, как-то раз я свалился с лошади; она вдруг стала на дыбы, чтобы меня испытать, эта скотина. Мне было всего шесть лет, и она знала, что я еще маленький; было это возле дома, и отец сидел тут же, на веранде. Я боялся, не рассердится ли он, но еще больше испугался, когда увидел, что он сверху смотрит, как я лежу на земле, и не помнит, кто я такой. Он даже не рассердился, а только был встревожен и ничего не понимал; потом он вернулся на свое место, сел и снова взял свой стакан. А я обогнул дом, пошел на кухню (с поваром мы дружили) и больше ни разу не сел на эту проклятую лошадь. Теперь-то я, конечно, его понимаю. У нас ведь с ним много общего. Он тоже все забывал, когда напивался. Вы женаты, Тед?

– Нет.

– А я был женат.

– Да, вы говорили.

– Я был рад, что мы разошлись, но все же хотел бы, чтобы сначала у нас был ребенок. Когда нет детей, в этом, как правило, виноват мужчина?

– Нет. Думаю, что тут бывают виноваты как тот, так и другая.

– Я, наверное, сейчас уже бесплоден, а?

– Почему? Годы в этом деле не играют роли.

– Если бы у меня был ребенок, я бы не заставлял его перебарывать страх, как это делал мой отец. Ведь чувство страха – это естественное свойство человека, правда? Если ты подавляешь страх, ты подавляешь свою натуру. Природа вроде сама соблюдает равновесие. Я прочел в какой-то книге, что, если бы мы перебили всех пауков, нас бы задушили мухи. А у вас есть дети, Тед?

Имя Тед раздражало доктора Эдуардо Пларра. Он сказал:

– Нет. Если вы хотите звать меня по имени, я бы попросил вас звать меня Эдуардо.

– Но ведь вы такой же англичанин, как я!

– Я только наполовину англичанин, и та половина либо в тюрьме, либо мертва.

– Отец?

– Да.

– А ваша мать?

– Живет в Буэнос-Айресе.

– Вам повезло. Есть для кого копить. Моя мать умерла, когда меня рожала.

– Это еще не повод, чтобы губить себя пьянством.

– Да, это еще не повод, Тед. Я упомянул о матери так, между прочим. Кому нужен друг, если нельзя с ним поговорить?

– Друг не обязательно хороший психиатр.

– Эх, Тед, ну и суровый же вы человек. Неужели вы никогда никого не любили?

– Смотря что называть любовью.

– Вы чересчур много рассуждаете, – сказал Чарли Фортнум. – Это у вас от молодости. А я всегда говорю: не надо глубоко копать. Никогда не знаешь, что там найдешь.

Доктор Пларр сказал:

– Моя профессия требует, чтобы я поглубже копал. Догадки не помогают поставить верный диагноз.

– А каков ваш диагноз?

– Я выпишу вам лекарство, но оно не поможет, если вы не станете меньше пить.

Он снова вошел в кабинет консула. Его злило, что он потерял столько времени. Пока он выслушивал сетования почетного консула, он мог бы посетить не меньше трех или четырех больных из квартала бедноты. Он ушел из спальни, сел к столу и выписал рецепт. Его так же злило, что он даром потратил время, как во время посещений матери, когда она жаловалась на одиночество и головные боли, сидя над блюдом с эклерами в лучшей кондитерской Буэнос-Айреса. Она постоянно сетовала на то, что муж ее бросил, а ведь первейший долг мужа – перед женой и ребенком, он просто обязан был бежать вместе с ними.

Чарли Фортнум надел в соседней комнате пиджак.

– Неужели вы уходите? – крикнул он оттуда.

– Да. Рецепт я оставил на столе.

– Куда вы торопитесь? Побудьте еще, выпейте.

– Мне надо к больным.

– Да, но я ведь тоже ваш больной, верно?

– Но не самый тяжелый, – сказал доктор Пларр. – Рецепт годен только на один раз. Таблеток вам хватит на месяц, а там посмотрим.

Доктор Пларр с облегчением закрыл за собой дверь консульства – с таким же облегчением, как покидал квартиру матери, когда выезжал в столицу. Не так уж много у него свободного времени, чтобы тратить его на неизлечимых больных.

Прошло два года, прежде чем доктор Пларр впервые посетил заведение, которым так умело заправляла сеньора Санчес, и пришел он туда не в обществе почетного консула, а со своим приятелем и пациентом, писателем Хорхе Хулио Сааведрой. Сааведра, как он сам это признал над тарелкой жесткого мяса в «Национале», был сторонником строгого режима в области гигиены. Наблюдательный человек мог бы сам это определить по его внешности – аккуратной, однообразно серой: иссера-седые волосы, серый костюм, серый галстук. Даже в здешнюю жару он носил тот же хорошо сшитый двубортный жилет, в котором щеголял в столичных кафе. Портной его, как он сообщил доктору Пларру, был англичанином.

– Не поверите, но я мог бы по десять лет не заказывать новых костюмов. – А что касается режима в работе, то он не раз говорил: – После завтрака я обязан написать три страницы. Не больше и не меньше.

Доктор Пларр умел слушать. Он был этому обучен. Большинство его пациентов среднего достатка тратили не меньше десяти минут на то, чтобы рассказать о легком приступе гриппа. Только в квартале бедноты страдали молча, страдали, не зная слов, которые могли бы выразить, как им больно, где болит и отчего. В этих глинобитных или сколоченных из жести хижинах, где больной часто лежал ничем не прикрытый на земляном полу, ему приходилось самому определять недуг по ознобу или нервному подергиванию века.

– Режим, – повторял Хорхе Хулио Сааведра, – мне нужнее, чем другим, легче пишушим авторам. Понимаете, я ведь одержимый, тогда как другие просто талантливы. Имейте в виду, я их таланту завидую. Талант – он покладистый. А одержимость разрушительна. Вы и вообразить не можете, какое для меня мучение писать. День за днем принуждаю себя сесть за стол и взять в руки перо, а потом пытаюсь выразить свои мысли... Помните в моей последней книге этого персонажа Кастильо, рыбака, который ведет неустанную борьбу с морем и едва сводит концы с концами. Можно сказать, что Кастильо – это портрет художника. Такие каждодневные муки, а в результате три страницы. Мизерный улов.

– Насколько я помню, Кастильо погиб в баре от револьверного выстрела, защищая одноглазую дочь от насильника.

– Ну да. Хорошо, что вы обратили внимание на этот циклопический символ, – сказал доктор Сааведра. – Символ искусства романиста. Одноглазого искусства, потому что все видишь отчетливее, когда прищуришь один глаз. Автор же, который разбрасывается, всегда двуглаз. Он вмещает в свое произведение чересчур много, как киноэкран. А насильник? Быть может, он – моя тоска, которая обурекает меня, когда я часами напролет пытаюсь выполнить ежедневный урок.

– Надеюсь, мои таблетки вам все же помогают.

– Да, да, конечно, немного помогают, но иногда я думаю, что только жесткий режим спасает меня от самоубийства. – И, замерев с вилкой у рта, доктор Сааведра повторил: – От самоубийства.

– Ну что вы, разве ваша религия вам это позволит?..

– В такие беспросветные минуты, доктор, у меня нет веры, никакой веры вообще. *En una noche oscura* [в непроглядную ночь (исп.)]. Не откупорить ли нам еще бутылку? Вино из Мендосы не такое уж плохое.

После второй бутылки писатель сообщил об еще одном правиле его режима: еженедельно

посещать дом сеньоры Санчес. Он объяснял это не только попыткой умиротворить свою плоть, чтобы неугодные желания не мешали работе, – во время этих еженедельных визитов он многое узнает о человеческой природе. Общественная жизнь в городе не допускает контакта между различными классами. Может ли обед с сеньорой Эскобар или сеньорой Вальехо дать глубокое представление о жизни бедноты? Образ Карлоты, дочери доблестного рыбака Кастильо, был навеян девушкой, которую он встретил в заведении сеньоры Санчес. Правда, она была зрячей на оба глаза. И притом на редкость красива, но, когда он писал свой роман, он понял, что красота придает ее истории фальшивый и банальный оттенок; она плохо сочетается с унылой суровостью жизни рыбака. Даже насильник при этом становится обычным пошляком. Красивых девушек постоянно и повсюду насилуют, особенно в книгах современных романистов, этих поверхностных писак, правда обладающих несомненным талантом.

К концу обеда доктор Пларр без труда дал себя уговорить составить компанию писателю в его оздоровительном походе, хотя толкало его на это скорее любопытство, чем физическое влечение. Они встали из-за стола в полночь и пошли пешком. Хотя сеньора Санчес и пользовалась у властей покровительством, все же лучше не оставлять машину у дверей, чтобы старательный полицейский не записал ее номер. Заметку в полицейском досье могут когда-нибудь использовать против тебя. На докторе Сааведре были остроносые, до блеска начищенные туфли, а ходил он слегка подпрыгивая, потому что носки ставил внутрь. Так и казалось, что на пыльном тротуаре за ним останутся следы птичьих лапок.

Сеньора Санчес сидела перед домом в шезлонге и вязала. Это была очень толстая дама с лицом в ямочках и приветливой улыбкой, которой до странности не хватало доброты, словно она запропастилась, как куда-то сунутые очки. Писатель представил ей доктора Пларра.

– Всегда рада видеть у себя джентльмена медицинской профессии, – заявила сеньора Санчес. – Можете убедиться, какой за моими девушками уход. Обычно я пользуюсь услугами вашего коллеги, доктора Беневенто, – очень симпатичный господин.

– Да, мне об этом говорили. Но лично я с ним не знаком, – сказал доктор Пларр.

– Он посещает нас по четвергам после обеда, и все мои девушки его очень любят.

Они вошли в освещенный узкий подъезд. Если не считать сеньоры Санчес в шезлонге, то ее заведение ничем внешне не отличалось от других домов на этой чинной улице. Хорошее вино не нуждается в этикетке, подумал доктор Пларр.

Однако ж внутри этот дом был разительно не похож на подпольные дома терпимости, которые он иногда посещал в столице, где маленькие клетушки, затемненные закрытыми ставнями, загромождены мещанской мебелью. Это заведение приятно напоминало загородную усадьбу. Просторный внутренний дворик, величиной с теннисный корт, был со всех сторон окружен небольшими каморками. Когда доктор сел, две открытые двери прямо перед ним вели в такие кельи, и он подумал, что они выглядят чище, изящнее и веселее, чем номер доктора Хэмфриса в отеле «Боливар». В каждой из них был маленький алтарь с зажженной свечкой, создававшей в аккуратной комнатке атмосферу домашнюю, а не деловую. За отдельным столом сидели несколько девушек, и еще две разговаривали с молодыми людьми, прислонясь к столбам окружавшей дворик веранды. Девушки вели себя сдержанно – видно, сеньора Санчес строго за этим следит; мужчина тут мог не спешить. Один из клиентов сидел со стаканом в руке, другой, судя по одежде реон [крестьянин (исп)], стоял у столба, завистливо наблюдая за девушками (видно, у него не было денег даже на выпивку).

К ним сразу же подошла девушка по имени Тереса и приняла у писателя заказ («Виски, – посоветовал он, – здешнему коньяку я не доверяю»), а потом без особого приглашения села рядом.

– Тереса родом из Сальты, – рассказал доктор Сааведра, отдав свою руку ей на попечение, как перчатку в раздевалке. Она вертела ее то так, то сяк, разглядывая пальцы, словно искала в них дырки. – Я собираюсь выбрать Сальту местом действия моего будущего романа.

Доктор Пларр сказал:

– Надеюсь, ваша муза не заставит вас сделать ее одноглазой.

– Вы надо мной смеетесь, – сказал доктор Сааведра, – потому что плохо себе представляете, как работает у писателя воображение. Оно должно преображать действительность. Поглядите на нее – на эти большие карие глаза, на эти пухленькие грудки, она ведь хорошенькая, правда? – (Девушка благодарно улыбнулась и поскребла ногтем его ладонь.) – Но что она собой представляет? Я ведь не собираюсь писать любовную историю для дамского журнала. Мои персонажи должны символизировать нечто большее, чем они есть. Мне пришло в голову, что, может быть, с одной ногой...

– Одноногую девушку легче изнасиловать.

– В моем произведении изнасилования не будет. Но красавица с одной ногой – понимаете, что это значит? Представьте себе ее неверную походку, минуты отчаяния, любовников, которые делают ей одолжение, если проводят с ней хотя бы одну ночь. Ее упорную веру в будущее, которое так или иначе будет лучше настоящего. Я впервые намерен написать политический роман, – заявил доктор Сааведра.

– Политический? – удивился доктор Пларр.

Дверь одной из каморок открылась, и оттуда вышел мужчина. Он закурил сигарету, подошел к столу и допил вино из стакана. При свете свечи на алтаре доктор Пларр разглядел худую девушку, стелившую постель. Прежде чем выйти и присоединиться к другим за общим столом, она аккуратно расправила покрывало. Ее ожидал недопитый стакан апельсинового сока. Пеон у столба следил за ней жадным, завистливым взглядом.

– Вас, наверное, злит этот человек? – спросил доктор Пларр у Тересы.

– Какой человек?

– Да тот, что там стоит и только глазеет.

– Пусть себе глазеет, бедняга, что тут плохого? У него нет денег.

– Я же вам рассказываю о моем политическом романе, – с раздражением перебил их доктор Сааведра.

Он отнял у Тересы руку.

– Но я так и не понял, в чем смысл этой одной ноги.

– Она символ нашей бедной, искалеченной страны, где все мы еще надеемся...

– А ваши читатели это поймут? Может быть, вам надо что-то сказать более прямо? Возьмите хотя бы студентов, в прошлом году в Росарио...

– Если хочешь написать настоящий политический роман, а не какую-то однодневку, надо избегать мелких подробностей, привязывающих к определенному времени. Убийства, кражи людей для выкупа, пытки заключенных – все это характерно для нашего десятилетия. Но я не желаю писать только для него.

– Испанцы пытали своих узников уже триста лет назад, – пробормотал доктор Пларр и почему-то снова поглядел на девушку за общим столом.

– Вы разве сегодня со мной не пойдете? – спросила Тереса доктора Сааведру.

– Пойду, немного погодя пойду. Я обсуждаю с моим другом очень важный вопрос.

Доктор Пларр заметил на лбу у той девушки, что только что освободилась, маленькую серую родинку чуть пониже волос, на том месте, где индианки носят алый знак касты.

Хорхе Хулио Сааведра продолжал:

– Поэт, а настоящий романист непременно должен быть по-своему поэтом, имеет дело с вечными ценностями. Шекспир избегал политических вопросов своего времени, политических мелочей. Его не занимали ни Филипп, король Испании, ни такой пират, как Дрейк. Он пользовался историческим прошлым, чтобы выразить то, что я называю политической абстракцией. И сегодня писатель, желая изобразить тиранию, не должен описывать деятельность какого-нибудь генерала Стреснера [имеется в виду Стреснер, Альфредо – генерал; в 1954 г. совершил государственный переворот в Парагвае и с тех пор неоднократно переизбирался президентом] в Парагвае – это дело публицистики, а не литературы. Тиберий – гораздо лучший объект для поэта.

Доктор Пларр думал о том, как было бы приятно отвести ту девушку в ее комнату. Он не спал с женщиной уже больше месяца, а как легко вызывает влечение любая мелочь, даже родинка на необычном месте.

– Вы, надеюсь, поняли, что я хотел сказать? – строго спросил его писатель.

– Да. Да. Конечно.

Какая-то брезгливость мешала доктору Пларру сразу пойти по следам своего предшественника. А через какой промежуток времени он готов пойти? Через полчаса, час или хотя бы когда этого предшественника уже тут не будет? Но тот как раз заказал новую выпивку.

– Вижу, эта тема вас совсем не интересует, – с огорчением сказал доктор Сааведра.

– Тема... извините... сегодня я, как видно, чересчур много выпил.

– Я говорил о политике.

– Политика как раз меня интересует. Я ведь и сам своего рода политический беженец. А мой отец... Я даже не знаю, жив ли мой отец. Может быть, он умер. Может быть, его убили. Может быть, сидит где-нибудь в полицейском участке по ту сторону границы. Генерал не считает нужным сажать политических в тюрьмы, он предоставляет им гнить по одному в полицейских участках.

– Вот об этом-то и речь, доктор. Конечно, я вам сочувствую, но разве можно создать произведение искусства о человеке, запертом в полицейском участке?

– Почему бы и нет?

– Потому что это частный случай. Явление семидесятых годов нашего века. А я надеюсь, что мои книги будут читать – пусть только избранные – в двадцать первом веке. Я пытался создать моего рыбака Кастильо как вневременной образ.

Доктор Пларр подумал, как редко он вспоминает отца, и, вероятно почувствовав себя

виноватым – сам-то он живет в безопасности и с комфортом, – вдруг обозлился.

– Ваш рыбак вне времени, потому что его никогда не существовало, – сказал он и сразу же в этом раскаялся. – Простите меня за резкость. А не выпить ли нам еще по одной? К тому же мы совсем не обращаем внимания на вашу прелестную подружку.

– На свете есть вещи поважнее Тересы, – заявил Сааведра, но снова отдал руку на ее попечение. – А разве тут нет девушки, которая вам приглянулась?

– Да, есть, но она нашла другого клиента.

Девушка с родинкой подошла к мужчине, пившему в одиночестве, и они вместе направились к ней в каморку. Она прошла мимо своего бывшего партнера, даже на него не взглянув, но и его явно не интересовало, кто стал его преемником. Публичный дом чем-то похож на клинику, и это нравилось доктору Пларру. Казалось, он наблюдает за тем, как хирург ведет нового больного в операционную – предыдущая операция прошла удачно, и о ней уже забыли. Ведь только в телевизионных мелодрамах любовь, страх и тревога проникают в палаты. В первые годы в Буэнос-Айресе, когда мать без конца разыгрывала трагедию и стенала над судьбой его пропавшего отца, и в более позднее время, когда она, продолжая так же многословно его оплакивать, утешалась пирожными и шоколадным мороженым, доктор Пларр стал испытывать недоверие к чувствам, которые можно утолить такими незамысловатыми способами, как постель или пирожное эклер. Ему припомнился разговор – если его можно так назвать – с Чарли Фортнумом. Он спросил Тересу:

– Вы тут знаете девушку по имени Мария?

– У нас нескольких девушек зовут Мариями.

– Она из Кордовы.

– Ах, та? В прошлом году умерла. Совсем нехорошая девушка. Кто-то зарезал ее ножом. Бедняга сел за это в тюрьму.

– Наверное, мне надо с ней пойти, – сказал Сааведра. – Очень жаль. Не часто выпадает случай побеседовать на литературные темы с образованным человеком. Пожалуй, я бы предпочел выпить еще и продолжить наш разговор.

Он поглядел на свою захваченную в плен руку, словно она принадлежала кому-то другому и он не имел права ее взять.

– У нас еще не раз будет такая возможность, – успокоил его доктор Пларр, и писатель сдался.

– Пойдем, *chica* [девочка (исп.)], – сказал он, поднимаясь. – Вы меня дождетесь, доктор? Сегодня я буду недолго.

– Может, узнаете что-нибудь новое насчет Сальты.

– Да, но наступает минута, когда писатель должен сказать себе: «Хватит!» Слишком много знать вредно.

Доктору Пларру стало казаться, что под влиянием вина Хорхе Хулио Сааведра собирается повторить лекцию, которую когда-то читал в столичном женском клубе.

Тереса потянула его за руку. Он нехотя встал и пошел-за ней туда, где под статуэткой святой из Авилы [Святая Тереза (1515-1582) – монахиня-кармелитка, родилась в Авиле] горела свеча. Дверь за ними затворилась. Работа писателя, как он однажды с грустью признался

доктору Пларру, не кончается никогда.

Вечер в заведении сеньоры Санчес выдался очень спокойный. Все двери, за исключением тех, за которыми скрылись Тереса и девушка с родинкой, были распахнуты. Доктор Пларр допил вино и ушел. Он был уверен, что, несмотря на свое обещание, писатель задержится. Ведь в конце-то концов ему надо было решить – потеряет девушка ступню или всю ногу до колена.

Сеньора Санчес по-прежнему шевелила спицами. К ней под села подруга и тоже принялась вязать на шезлонге рядом.

– Нашли себе девушку? – спросила сеньора Санчес.

– Мой приятель нашел.

– Неужели ни одна вам не понравилась?

– Дело не в этом. Просто я перепил за обедом.

– Можете спросить о моих девушках доктора Беневенто. Они очень чистенькие.

– Не сомневаюсь. Я непременно приду еще, сеньора Санчес.

Однако пришел он сюда только через год с лишним. И тщетно высматривал девушку с родинкой на лбу. Правда, он не был этим ни удивлен, ни раздосадован. Может быть, она нездорова, к тому же девушки в таких заведениях часто меняются. Единственная, кого он узнал, была Тереса. Он провел с ней часок, и они поболтали о Сальте.

3

Практика у доктора Пларра росла и приносила доход. Он ни минуты не жалел о том, что уехал от жестокой конкуренции в столице, где было слишком много врачей с немецкими, французскими и английскими дипломами; к тому же он привязался к этому небольшому городу на берегу могучей Параны. Тут бытовало поверье, что тот, кто хоть раз его посетил, непременно сюда вернется. И в его случае это поверье оправдалось. Небольшой порт, опоясанный домами в колониальном стиле, который бросился ему в глаза когда-то темной ночью, привел его сюда вновь. Даже здешний климат ему нравился – жара не была такой влажной, как в стране его детства, а когда лето наконец кончалось оглушительными раскатами грома, он любил смотреть из своего окна, как рогатые молнии вонзаются в берег Чако. Почти каждый месяц он угощал обедом доктора Хэмфриса, а теперь иногда обедал и с Чарли Фортнумом, который бывал либо трезв, немногословен и печален, либо пьян, болтлив или, как сам он любил выражаться, «в приподнятом настроении». Как-то раз доктор побывал у него в поместье, но он плохо разобрался в посевах матэ, а гектар за гектаром плантации, которые они, трясаясь, объезжали на «Гордости Фортнума» (Чарли называл это «заниматься сельским хозяйством»), так его утомили, что второе приглашение он отклонил. Он предпочитал провести с Чарли вечер в «Национале», где консул не слишком вразумительно рассказывал ему о какой-то девушке.

Каждые три месяца доктор Пларр летал в Буэнос-Айрес и проводил конец недели у матери, которая становилась все толще и толще от ежедневного потребления пирожных с кремом и alfajores [медовых пряников (исп.)] с начинкой из dulce de leche [молочного сахара (исп.)]. Он

уже не мог припомнить лица той красивой женщины лет за тридцать, которая прощалась с его отцом на набережной и безутешно оплакивала утраченную любовь все три дня их дороги в столицу. А так как у него не было ее старой фотографии, чтобы напоминать о прошлом, он всегда представлял ее себе такой, какой она стала теперь – с тремя подбородками, тяжелыми брылами и огромным, как у беременной, животом, обтянутым черным шелком. На книжных полках в его квартире с каждым годом прибавлялось по новому роману доктора Хорхе Хулио Сааведры, но из всех его книг доктор Пларр предпочитал историю одноногой девушки из Сальты. После того первого посещения дома сеньоры Санчес он не раз спал с Тересой, и его забавляло, насколько выдумка далека от действительности. Это было чем-то вроде наглядного пособия по литературной критике. Близких друзей у доктора не было, хотя он сохранял хорошие отношения с двумя бывшими любовницами, которые вначале были его пациентками, приятельствовал с теперешним губернатором и с удовольствием посещал его большую плантацию матэ на востоке, куда летал на личном самолете губернатора и приземлялся между двумя клумбами как раз к часу великолепного ленча. Бывал он в гостях и на консервном заводе Бергмана, ближе к городу, а иногда ездил ловить рыбу в одном из притоков Параны с начальником аэропорта.

Дважды в столице происходили попытки переворота, и в «Эль литораль» появлялись об этом сообщения под жирными заголовками, но оба раза, когда он звонил матери, выяснялось, что о беспорядках она просто не знает: газет она не читала, радио не слушала, а универмаг и ее любимое кафе бывали открыты во время любых передраг. Она ему как-то сказала, что навсегда пресытилась политикой во время жизни в Парагвае. «Отец твой ни о чем другом не мог говорить. А какие подозрительные оборванцы являлись к нам в дом, иногда даже посреди ночи. Но ты же знаешь, чем кончил твой отец». Последняя фраза звучала несколько странно: ведь ни она, ни ее сын не знали, убит ли он на гражданской войне, умер от болезни или стал политическим узником при диктатуре Генерала. Труп его не был опознан среди мертвецов, которые время от времени всплывали на аргентинском берегу реки, руки и ноги у них были связаны проволокой, однако он мог быть одним из тех скелетов, в которые превращались трупы после того, как их скидывали с самолетов на пустынную землю Чако и потом долгие годы не могли обнаружить.

Почти через три года после первого знакомства доктора Пларра с Чарли Фортнумом о нем заговорил с ним английский посол, сэр Генри Белфрейдж – преемник того посла, который так досадил почетному консулу, потребовав у него доклад о матэ. Это произошло на одном из очередных коктейлей для членов английской колонии, и доктор Пларр, навещавший в те дни свою мать, пошел вместе с ней на прием. Он никого тут не знал, разве что в лицо, в лучшем случае был знаком шапочно. Там были Буллер – управляющий Лондонским и Южноамериканским банком, секретарь Англо-аргентинского общества Фишер и старый джентльмен по фамилии Форейдж, целые дни проводивший в своем клубе. Представитель Британского совета тоже, конечно, присутствовал – его фамилию по какой-то причуде подсознания Пларр никак не мог запомнить, – бледный, чем-то напуганный, лысый человек, который сопровождал на прием заезжего поэта. У поэта был тонкий голос, и он явно чувствовал себя под этими люстрами не на месте.

– Скоро мы сможем отсюда выбраться? – крикнул он во всеуслышание дискантом. И заверещал снова: – Слишком много воды в этом виски!

Только его голос и был слышен сквозь глухой непрерывный гул, словно от запущенного авиамотора; так и чудилось, будто голос этот сейчас выкрикнет что-нибудь более подобающее, вроде: «Застегните привязные ремни!»

Доктор Пларр подумал, что Белфрейдж заговорил с ним только из вежливости, когда оба они оказались зажатыми между кушеткой с золочеными ножками и стулом в стиле Людовика XV. Стояли они достаточно далеко от шумной суতোлки, возле буфета, и друг друга можно было расслышать. Пларру была видна мать, она решительно вторглась в толпу и размахивала

бутербродом перед носом у священника. Ей всегда было хорошо в обществе священников, и доктор Плarr мог за нее не беспокоиться.

– По-моему, вы знакомы с нашим консулом где-то там, на севере? – спросил его сэр Генри Белфрейдж.

Он всегда, говоря о северной провинции, употреблял выражение «где-то там», словно подчеркивал огромную протяженность Параны, медленно петлявшей от дальних северных границ, почти недостижимых для южной цивилизации Рио-де-ла-Платы.

– С Чарли Фортнумом? Да, изредка встречаюсь. Но вот уже несколько месяцев его не видел. Очень был занят, много больных.

– Понимаете, в такой должности, как моя, да еще когда занял новый пост, всегда получаешь в наследство какие-то осложнения. Строго между нами, но этот консул – где-то там, у вас на севере, – одно из них.

– Да ну? – осторожно осведомился доктор Плarr. – Я бы как раз думал... – он запнулся, не зная, как кончить фразу, если бы это потребовалось.

– Ему там совершенно нечего делать. То есть, я хочу сказать, в нашей области. Время от времени я прошу его составить о чем-нибудь докладную записку, так, для проформы. Не хочу, чтобы он думал, будто его забыли. Он ведь когда-то оказал услугу одному из моих предшественников. Какой-то молодой дурак связался с партизанами и решил изображать Кастро, выступив против Генерала в Парагвае. С тех пор, насколько можно судить по документам, мы оплачиваем половину счетов Фортнума за телефон и чуть ли не все счета за канцелярские принадлежности.

– А разве он однажды не помог принять королевских особ? Показывал им руины.

– Что-то в этом роде было, – сказал сэр Генри Белфрейдж. – Но, насколько я помню, это были весьма второстепенные члены королевской семьи. Конечно, мне не следовало бы этого говорить, но королевская семья тоже может причинять большие осложнения. Как-то раз нам пришлось отправлять на корабле лошадь для игры в поло... Представляете, чего нам это стоило, да еще в то время, когда объявили эмбарго на мясо. – Он на минуту задумался. – Фортнум мог бы получше ладить с тамошней английской колонией.

– Насколько я знаю, в радиусе пятидесяти миль нас там всего трое. Люди с плантаций редко приезжают в город.

– Тогда ему должно быть легче. А вы знаете этого Джеффриса?

– Вы хотите сказать, Хэмфриса? Если вы имеете в виду историю с национальным флагом, который был вывешен вверх ногами, – сами-то вы твердо знаете, где верх, а где низ?

– Но у меня, слава богу, есть под началом те, кто это знает. Нет, я подразумевал не это, ведь история с флагом произошла в бытность здесь Кэллоу. Неприятно другое: говорят, будто Фортнум крайне неудачно женился – если верить этому Хэмфрису. Хорошо, если бы он перестал нам писать. Кто он такой, этот тип?

– А я и не слышал, что Фортнум женился. Староват он для такого дела. Кто она, эта женщина?

– Хэмфрис не сообщил. В сущности, он вообще писал как-то уклончиво. Фортнум, видно, держит свой брак в секрете. Да я и не принял всего этого всерьез. Государственной безопасности это не угрожает. Он ведь всего только почетный консул. Мы не обязаны выяснять подноготную его дамы. Я просто подумал, если вы часом что-нибудь слышали... В

каком-то смысле избавиться от почетного консула труднее, чем от состоящего на государственной службе. И перевести его в другое место нельзя. Это слово «почетный»... в нем, если вдуматься, есть какая-то мнимость. Фортнум каждые два года ввозит новый автомобиль и продает его. Он не имеет на это права, ведь он не в штате, но ему, по-видимому, как-то удалось облапошить местные власти. Не удивлюсь, если он зарабатывает больше моего здешнего консула. Бедный старик Мартин вынужден придерживаться закона. Он не может покупать автомобили на свое жалованье, как и я. Не то что посол в Панаме. О господи, моя бедная жена никак не отделается от этого поэта. Как его зовут?

– Не знаю.

– Я только хотел сказать – ваша фамилия Пларр, не так ли?.. Вы ведь где-то там живете... Я ни разу не видел этого самого Хэмфриса... Господи, они их шлют сюда пачками.

– Хэмфрисов?

– Нет, нет. Поэтов. Если они и правда поэты. Британский совет уверяет, что да, но я никогда ни об одном из них не слышал. Послушайте, Пларр, когда вы туда вернетесь, постарайтесь что-нибудь сделать. Вам я могу это доверить, вверните там нужное словцо... Чтобы не было скандала, понимаете, о чем я говорю?.. У меня впечатление, что такой тип, как этот Хэмфрис, может даже написать домой. В министерство иностранных дел. Нас-то, в конце концов, никак не касается, на ком женился Фортнум. Если бы вы могли как-нибудь потактичнее сказать этому Хэмфрису, чтобы он не лез в чужие дела и нам не надоедал! Слава богу, он стареет. Фортнум, я хочу сказать. Мы дадим ему отставку при первой же возможности. Боже мой, поглядите на мою жену! Этот поэт просто загнал ее в угол.

– Если хотите, я пойду ее вызволю.

– Дорогой, сделайте это, прошу вас. Сам я не смею. Эти поэты такие обидчивые хамы. А я еще постоянно путаю их имена. Они ведь не лучше этого типа, Хэмфриса, – пишут домой, в Художественный совет. Я вам никогда этого не забуду, Пларр. Все, чем смогу быть полезен... там, на севере...

Когда доктор вернулся на север, на него навалилось больше работы, чем обычно. У него не было времени на встречу с этим старым склочником Хэмфрисом, да его и не слишком-то интересовала женитьба Чарли Фортнума, удачная она или неудачная. Однажды, когда какой-то разговор ему напомнил о том, что сказал посол, он подумал, не женился ли Чарли на своей экономке – той женщине с хищным профилем, которая отворила ему дверь, когда он приходил в консульство. Подобный брак не казался ему таким уж невероятным. Старики, как и священники из сектантов, часто женятся на своих домоправительницах, иногда из соображений мнимой экономии, иногда боясь одинокой смерти. Смерть представлялась доктору Пларру, едва перевалившему за тридцать, либо в виде несчастного случая на дороге, либо внезапного заболевания раком, но в сознании старика она была неизбежным концом долгой, неизлечимой болезни. Быть может, пьянство Чарли Фортнума и было симптомом такого страха.

Как-то днем, когда доктор прилег на часок отдохнуть, раздался звонок. Он отворил дверь и увидел женщину с лицом коршуна, словно нахохлившегося в ожидании падали. Он чуть было не назвал ее сеньорой Фортнум.

Но тут же понял, что это было бы ошибкой. Сеньор Фортнум, сказала она, позвонил ей из своего поместья. Его жена заболела. Он просит доктора Пларра поехать туда ее осмотреть.

– А он не сказал, на что она жалуется?

– У сеньоры Фортнум болит живот, – презрительно сообщила женщина.

Брак этот, видно, ей нравился не больше, чем доктору Хэмфрису.

Доктор Пларр поехал в имение вечером, когда спала жара. В сумеречном свете маленькие пруды по обочинам шоссе напоминали лужицы расплавленного свинца. «Гордость Фортнума» стояла в конце проселка под купой авокадо; тяжелые коричневые груши были величиной и формой похожи на пушечные ядра. На веранде большого нескладного бунгало перед бутылкой виски, сифоном и, как ни странно, двумя чистыми бокалами сидел Чарли Фортнум.

– Я вас заждался, – с упреком сказал он.

– Раньше не мог. А что случилось?

– У Клары сильные боли.

– Пойду ее осмотрю.

– Сначала выпейте. Я только что к ней заглядывал, она спала.

– Тогда с удовольствием. Пить хочется. На дороге такая пыль.

– Добавить содовой? Скажите сколько.

– Доверху.

– Я все равно хотел с вами поговорить, прежде чем вы к ней пойдете. Вы, наверное, слышали о моей женитьбе?

– Мне о ней сказал посол.

– А что именно он вам сказал?

– Да ничего особенного. Почему вы спрашиваете?

– Очень уж много ходит разговоров. А Хэмфрис со мной не кланяется.

– Ну, это вам повезло.

– Видите ли... – Чарли Фортнум запнулся. – Понимаете, она такая молоденькая, – сказал он; непонятно, оправдывал ли он своих критиков или каялся сам.

Доктор Пларр сказал:

– Опять же вам повезло.

– Ей еще нет двадцати, а мне, как вы знаете, за шестьдесят.

Доктор Пларр заподозрил, что с ним хотят посоветоваться не по поводу болей в животе у жены, а по куда более неразрешимому вопросу. Он выпил, чтобы хоть как-то заполнить неловкую паузу.

– Но беда не в этом, – сказал Чарли Фортнум. – (Доктор Пларр поразился его интуиции.) – Покуда что я справляюсь... А потом... всегда ведь есть бутылка, верно? Старинный друг дома. Это я о бутылке так говорю. Помогала и отцу, старому греховоднику. Нет, я насчет нее вам хотел объяснить. Чтобы вы не очень удивились, когда ее увидите. Она такая молоденькая. И к тому же застенчивая. Не привыкла к такой жизни. К дому, к слугам. И к деревне. В деревне ведь так тихо, когда стемнеет.

– А она-то сама откуда?

– Из Тукумана. Настоящих индейских кровей. У дальних предков, конечно. Должен вас предупредить: врачей она не очень жалует. Что-то с ними связано нехорошее.

– Постараюсь заслужить ее доверие, – сказал доктор Пларр.

– А ее боли, знаете, я подумал, уж не ребенок ли это? Или что-нибудь в этом роде.

– Она не принимает пилюли?

– Вы же знаете их, испанских католичек. Все это, конечно, одни суеверия. Вроде того, что нельзя проходить под лестницей. Клара понятия не имеет, кто такой Шекспир, зато наслушалась про этот, ну как его там, запрет папы. Но все равно, мне надо как-нибудь добыть эти пилюли, через посольство, что ли. Представляете, что там скажут? Тут их не купишь даже на черном рынке. Я-то, конечно, всегда пользовался тем, что надо, пока мы не поженились.

– Значит, брали грех на себя? – поддразнил его доктор Пларр.

– Ну, знаете, у меня с годами совесть задубела. Лишний грешок ничего не убавит и не прибавит. А если ей так приятнее... Когда вы допьете виски...

Он повел доктора Пларра по коридору, где висели викторианские гравюры на спортивные сюжеты, всадники падают в ручей, лошади заартачились перед живой изгородью, охотникам выговаривает доезжачий. Фортнум шел тихо, на цыпочках. В конце коридора чуть приоткрыл дверь и заглянул туда в щелку.

– По-моему, проснулась, – сказал он. – Я вас подожду на веранде, Тед, там виски. Не задерживайтесь.

Под статуэткой святой горела электрическая свеча, святой доктор Пларр не узнал, но она мгновенно напомнила ему кельи вокруг дворика в доме сеньоры Санчес: в каждой из них тоже горела перед статуэткой святой свеча.

– Добрый вечер, – обратился он к голове, лежавшей на подушке.

Лицо было так занавешено темными прядями, что остались видны только глаза, они блестели, как кошачьи глаза из кустарника.

– Не хочу, чтобы меня осматривали, – сказала девушка. – Не позволю, чтобы меня осматривали.

– Я и не собираюсь вас осматривать. Расскажите, где у вас болит живот, вот и все.

– Мне уже лучше.

– Ладно. Тогда я сейчас уйду. Можно зажечь свет?

– Если вам надо, – сказала она и откинула волосы с лица.

На лбу доктор Пларр заметил маленькую серую родинку, там, где индуски... Он спросил:

– В каком месте болит? Покажите.

Она отвернула простыню и показала пальцем место на голом теле. Он протянул руку, чтобы пощупать живот, но она отодвинулась. Он сказал:

– Не бойтесь. Я не буду вас осматривать, как доктор Беневенто, – и услышал, как у нее

перехватило дыхание. Тем не менее она разрешила ему подавить пальцами живот.

– Здесь?

– Да.

– Ничего страшного. Небольшое воспаление кишечника, и все.

– Кишечника?

Он видел, что слово это ей незнакомо и пугает ее.

– Я оставлю для вас немного висмута. Принимайте с водой. Если добавить в воду сахар, будет не так противно. На вашем месте виски бы я не пил. Вы ведь больше привыкли к апельсиновому соку, верно?

Она поглядела на него с испугом и спросила:

– Как вас зовут?

– Пларр, – сказал он. И добавил: – Эдуардо Пларр.

Он сомневался, звала ли она по имени кого-нибудь из мужчин, кроме Чарли Фортнума.

– Эдуардо, – повторила она и на этот раз поглядела на него смелее. – Я ведь вас не знаю, а?
– спросила она.

– Нет.

– Но вы знаете доктора Беневенто.

– Раза два с ним встречался. – Он встал. – Его визиты по четвергам вряд ли были приятными. – И добавил, не дав ей ответить: – Вы не больны. Вам нечего лежать в постели.

– Чарли, – она произнесла его имя с ударением на последнем слоге, – сказал, что я должна лежать, пока не придет доктор.

– Ну вот, доктор пришел. Значит, надобности больше нет...

Дойдя до двери, он обернулся и увидел, что она на него смотрит. Простыню она так и забыла натянуть.

– А я и не спросил, как зовут вас, – сказал он.

– Клара.

Он сказал:

– Я там никого не знал, кроме Тересы.

Возвращаясь назад по коридору, он вспоминал статуэтку святой Терезы Авильской, которая осеняла как его упражнения, так и более литературные занятия доктора Сааведры. А теперь, наверно, подруга святого Франциска [имеется в виду св. Клара (1194-1254), сподвижница Франциска Ассизского] смотрит сверху на постель Чарли Фортнума. Пларр вспомнил, что, когда он впервые увидел девушку, она стелила в своей каморке постель, гибко перегнувшись в талии, как негритянка. Теперь он уже навидался самых разных женских тел. Когда он стал любовником одной из своих пациенток, его возбуждало не ее тело, а легкое заикание и незнакомые духи. В теле Клары не было ничего примечательного, кроме немодной худобы,

маленькой груди и девичьих бедер. Может быть, ей уже около двадцати, но по виду ей не дашь больше шестнадцати – матушка Санчес набирала их совсем юными.

Он остановился возле репродукции, где был изображен всадник в ярко-красной куртке; лошадь понесла и забежала вперед гончих; багровый от злости доезжачий грозил кулаком виновнику, а перед гончими расстилались поля, живые изгороди и ручей, видимо заросший по берегам ивами, – незнакомый, иноземный ландшафт. Он с удивлением подумал: я ни разу в жизни не видел такого маленького ручья. В этой части света даже самые малые притоки огромных рек были шире Темзы из отцовской книжки с картинками. Он снова произнес слово ручей; у ручья, наверно, свое особое поэтическое очарование. Нельзя же назвать ручьем ту мелкую заводь, где он иногда ловил рыбу и где боишься купаться из-за скатов. Ручей должен быть спокойным, медлительным, затененным ивами, безопасным. Право же, здешняя земля чересчур просторна для человека.

Чарли Фортнум ожидал его с наполненными стаканами. Он спросил с притворной шутливостью:

– Ну, какой вынесен приговор?

– Ничего у нее нет. Небольшое воспаление. И лежать в постели ей незачем. Дам вам лекарство, пусть принимает с водой. До еды. Виски я ей пить не позволил бы.

– Понимаете, Тед, я не хотел рисковать. В женских делах я не очень-то разбираюсь. В их внутренностях и так далее. Первая жена никогда не болела. Она была из последователей христианской науки [религиозное учение, основанное американкой Мэри Эдди (1821-1910), последователи которого утверждают, в частности, что болезни лишь порождение несовершенного сознания, и не прибегают к медицинской помощи].

– Чем тащить меня в такую даль, в другой раз прежде позвоните по телефону. В это время года у меня много больных.

– Вы, наверное, считаете меня идиотом, но она так нуждается в заботе.

Пларр сказал:

– Я-то думаю... что в тех условиях, в каких она жила... могла научиться и сама о себе позаботиться.

– Что вы хотите этим сказать?

– Ведь она работала у матушки Санчес, не так ли?

Чарли Фортнум сжал кулак. В уголке его рта повисла прозрачная капля виски. Доктору Пларру показалось, что у консула поднимается кровяное давление.

– А что вы о ней знаете?

– Я ни разу с ней не оставался, если это вас беспокоит.

– Я подумал, что вы один из тех мерзавцев...

– Вы же сами были «одним из тех». По-моему, я даже помню, как вы мне рассказывали об одной девушке, кажется Марии из Кордовы.

– То совсем другое. Там была физиология. Знаете, я ведь несколько месяцев даже не притрагивался к Кларе. Пока не убедился, что она меня хоть немножко любит. Мы просто разговаривали, и больше ничего. Я, конечно, заходил к ней в комнату, потому что иначе у нее

были бы неприятности с сеньорой Санчес. Тед, вы не поверите, но я никогда ни с кем не разговаривал, как с этой девушкой. Ей интересно все, что я ей рассказываю. О «Гордости Фортнума». Об урожае матэ. О кинофильмах. Она очень хорошо разбирается в кино. Я им никогда особенно не интересовался, а она всегда знает самые последние новости о какой-то даме, которую зовут Элизабет Тейлор. Вы о ней слышали, о ней и о каком-то Бертоне? Я-то всегда думал, что Бертон – это название пива. Мы с ней разговаривали даже об Эвелин – это моя первая жена. Надо признаться, я был довольно одинок, пока не встретил Клару. Вы будете смеяться, но я полюбил ее с первого взгляда. И почему-то с самого начала ничего от нее не хотел, пока она сама тоже не захочет. Она этого понять не могла. Думала, у меня что-то не в порядке. Но я хотел настоящей любви, а не бардачной. Вероятно, вы меня тоже не поймете.

– Я не очень точно себе представляю, что означает слово «любовь». Моя мать, например, любит dulce de leche. Так она сама говорит.

– Неужели ни одна женщина вас не любила? – спросил Фортнум.

Отеческая тревога в его голосе вызвала у доктора раздражение.

– Две или три в этом меня уверяли, однако, когда я с ними расстался, им не стоило труда найти мне замену. Только любовь моей матери к пирожным неизменна. Она будет любить их и в здравии, и в болезни, пока смерть их не разлучит. Может, это и есть подлинная любовь.

– Вы чересчур молоды, чтобы быть таким циником.

– Я не циник. Я просто человек любознательный. Меня интересует, какое значение люди вкладывают в слова, которые они употребляют. Ведь многое тут – вопрос семантики. Вот почему мы, медики, часто предпочитаем пользоваться таким мертвым языком, как латынь. Мертвый язык не допускает двусмысленностей. А как вам удалось заполучить девушку у матушки Санчес?

– Заплатил.

– И она охотно оттуда ушла?

– Сначала она была немножко растеряна и даже пугалась. Сеньора Санчес пришла просто в бешенство. Ей не хотелось терять эту девушку. Она сказала, что не возьмет ее назад, когда она мне надоест. Будто это возможно!

– Жизнь – штука долгая.

– Только не моя. Давайте говорить откровенно, Тед, вы же не станете меня уверять, что я буду жить еще десять лет, а? Даже при том, что с тех пор, как я узнал Клару, я стал меньше пить.

– А что с ней будет потом?

– Это довольно приличное именье. Она его продаст и переедет в Буэнос-Айрес. Теперь можно не рискуя получить пятнадцать процентов годовых. Даже восемнадцать, если не побоишься рискнуть. И, как вы знаете, я имею право каждые два года выписываться из-за границы автомобиль... Может, получу еще машин пять, пока не окочурюсь. Считайте, что это даст еще по пятьсот фунтов в год.

– Да, тогда она сможет есть с моей матерью пирожные в «Ричмонде».

– Шутки в сторону, не согласится ли ваша мать как-нибудь принять Клару?

– А почему бы нет?

– Не представляете, как теперь изменилась вся моя жизнь.

– Наверное, и вы порядком изменили ее жизнь.

– Когда доживешь до моих лет, накопится столько всего, о чем можно пожалеть. И приятно сознавать, что хотя бы одного человека ты сделал чуточку счастливее.

Такого рода прямолинейные, сентиментальные и самоуверенные сентенции всегда вызывали у доктора Пларра чувство неловкости. Ответить на них было немислимо. Подобное заявление было бы грубо подвергнуть сомнению, но и согласиться с ним невозможно. Пларр извинился и поехал домой.

На всем пути по темной проселочной дороге он думал о молодой женщине на огромной викторианской кровати, которая, как и спортивные гравюры, явно принадлежала отцу почетного консула. Девушка была как птица, которую купили на базаре в самодельной клетке, а дома переселили в более просторную и роскошную, с насестами, кормушками и даже качелями для забавы.

Его удивляло, почему он так упорно о ней думает, ведь это всего-навсего молоденькая проститутка, на которую он однажды обратил внимание в заведении сеньоры Санчес из-за ее странной родинки. Неужели Чарли на ней и правда женился? Может, доктор Хэмфрис ввел посла в заблуждение, называя это браком. Вероятно, Чарли просто взял новую экономку. Если это так, можно будет успокоить посла. Жена дает больше пищи для скандала, чем любовница.

Но мысли его были похожи на намеренно незначительные слова в секретном письме, скрывавшие важные фразы, написанные между строк симпатическими чернилами, которые надо проявлять, оставшись одному. В этих потайных фразах речь шла о девушке в каморке, которая нагнулась, застывая кровать, а потом вернулась к столу и взяла стакан с апельсиновым соком, словно только на минутку его оставила, потому что ее позвал к дверям какой-то разносчик; о худеньком теле с девичьей грудью, которую еще не сосал ребенок, вытянувшимся на двуспальной кровати Чарли Фортнума. Все три любовницы доктора Пларра были замужними женщинами, зрелыми, гордыми своим пышным телом, и пахли дорогими душистыми кремами. А она, как видно, умелая проститутка, если при ее фигуре она пользовалась таким успехом, но это еще не повод, чтобы думать о ней всю дорогу. Пларр попытался отвлечься от этих мыслей. В квартале бедноты у него умирали от истощения двое больных; его пациент-полицейский скоро умрет от рака горла; вспоминал он и о мрачной меланхолии доктора Сааведры и о подтекающем душе доктора Хэмфриса, но как ни старался, мысли его все время возвращались к худенькому телу девушки там, на кровати.

Интересно, сколько мужчин она знала. Последняя любовница доктора Пларра, которая была замужем за банкиром по фамилии Лопес, не без тщеславия ему рассказывала о четырех его предшественниках – может быть, хотела пробудить в нем чувство соревнования. (Одним из этих любовников, как он узнал со стороны, был ее шофер.) Хрупкое тельце на кровати Чарли Фортнума должно было пройти через руки сотни мужчин. Ее живот был как деревенское поле, где когда-то шли бои; чахлая травка выросла и скрыла раны войны, а среди ивняка мирно течет ручеек; Пларр снова был мысленно в коридоре у дверей в спальню, разглядывал спортивные гравюры и боролся с желанием туда вернуться.

Доехав до дороги, ведущей к консервному заводу Бергмана, он резко затормозил и подумал, не повернуть ли ему назад. Вместо этого он закурил. Я не поддамся наваждению, подумал он. Почему тебя тянет в публичный дом? – это ведь так же, как иногда тянет делать ненужные покупки: купишь галстук, который тебе приглянулся, наденешь его раза два, а потом сунешь в ящик, где он будет погребен под грудой других галстуков. Почему я не проверил, какова она,

когда имел такую возможность? Купи я ее в тот вечер у сеньоры Санчес, она давно бы валялась на дне ящика памяти. Возможно ли, чтобы такой рассудочный человек, который и влюбиться толком не может, стал жертвой наваждения? Он сердито повел машину к городу, где отблеск огней освещал плоский горизонт, а в небе висели три звезды на разорванной цепочке.

Несколько недель спустя доктор Пларр рано проснулся. Была суббота, и утром он не был занят. Он решил, пока еще свежо, почитать несколько часов на воздухе, но лучше сделать это не на глазах у своей секретарши, признававшей только «серьезную» литературу, в том числе и произведения доктора Сааведры.

Он взял сборник рассказов Хорхе Луиса Борхеса. С Борхесом у них были общие вкусы – доктор унаследовал их от отца: Конан Дойл, Стивенсон, Честертон. «Ficciones» [“Вымыслы” (исп.)] будут приятным отдыхом от последнего романа доктора Сааведры, который он так и не смог осилить. Он устал от южноамериканской героики. А теперь, сидя у статуи героя-сержанта (еще один образчик machismo), который спас Сан-Мартина лет этак полтора назад, он с огромным удовольствием читал о графине де Баньо Реджио, о Питтсбурге и Монако. Ему захотелось пить. Для того чтобы как следует насладиться Борхесом, его надо жевать, как сырную палочку, запивая аперитивом, но в такую жару доктору Пларру хотелось выпить что-нибудь более освежающее. Он решил зайти к своему приятелю Груберу и попросить немецкого пива.

Грубер был одним из самых давних знакомых Пларра тут в городе. Мальчиком он в 1936 году бежал из Германии, когда там усилились преследования евреев. Он был единственным сыном, но родители настояли, чтобы он бежал за границу, хотя бы ради того, чтобы не прекратился род Груберов, и мать испекла ему на дорогу пирог, где были спрятаны небольшие ценности, которые они смогли ему дать: материнское кольцо с мелкими бриллиантами и золотое обручальное кольцо отца. Они сказали, что слишком стары, чтобы начать новую жизнь в чужой части света, а даст бог, слишком стары и для того, чтобы представлять опасность для фашистского государства. Он, конечно, никогда больше о них не слышал: они приплюсовали еще одну жалкую двойку к великой математической формуле «Кардинального Решения Вопросы». Поэтому Грубер, как и доктор Пларр, рос без отца. У него не было даже семейной могилы. Теперь он держал на главной торговой улице фотوماгазин, его нависшая над тротуаром вывеска и рекламные объявления напоминали китайские лавчонки. Одновременно он был и оптиком. «Немцы, – как-то сказал он Пларру, – пользуются доверием как химики, оптики и специалисты по фотографии. Куда больше людей знают имена Цейса и Байера, чем Геббельса и Геринга, а тут у нас еще больше знают Грубера».

Грубер усадил посетителя в отгороженной части магазина, где он работал над стеклами для очков. Отсюда доктор мог наблюдать за всем, что происходит, а самого его не было видно, потому что Грубер (у него была страсть ко всякого рода приспособлениям) оборудовал небольшое телевизионное устройство, которое позволяло ему следить за покупателями. По каким-то причинам – сам Грубер тоже не мог этого объяснить – в его магазин прибегали самые хорошенькие девушки города (никакая модная лавка не могла с ним тягаться), словно красота и фотография были как-то связаны. Они слетались сюда стайками за своими цветными снимками и разглядывали их, восхищенно щебеча, как птички. Доктор Пларр наблюдал за ними, попивая пиво, и слушал, как Грубер рассказывает местные сплетни.

– Видели вы дамочку Чарли Фортнума? – спросил доктор Пларр.

– Вы имеете в виду его жену?

– Да не может она быть его женой. Чарли Фортнум в разводе. А тут вторичный брак не разрешается – весьма удобный закон для холостяков вроде меня.

- Разве вы не слышали, что жена его умерла?
- Нет. Я уезжал. А когда несколько дней назад я его видел, он ничего об этом не сказал.
- Фортнум съездил с этой девушкой в Росарио и там на ней женился. Так по крайней мере говорят. Толком, конечно, ничего не известно.
- Странный поступок. И в нем не было необходимости. Вы же знаете, где он ее нашел?
- Да, но она очень хорошенькая, – сказал Грубер.
- Верно. Одна из лучших девиц мамыши Санчес. Но и на хорошеньких не обязательно жениться.
- Из таких девушек, как она, часто выходят примерные жены, особенно для стариков.
- Почему для стариков?
- Старики не очень требовательны, а такие девушки рады отдохнуть.

Выражение «такие девушки» почему-то резануло доктора Пларра. Прошло семь дней, а ничем не примечательная девушка, о которой так походя отозвался Грубер, все еще не давала ему покоя. И вот на экране телевизора он увидел какую-то девушку, которая так же наклонилась над прилавком, разглядывая ролик цветной пленки, как Клара над своей кроватью у сеньоры Санчес. Она была красивее жены Чарли Фортнума, но не пробудила в нем ни малейшего желания.

– Такие девушки бывают очень довольны, когда их оставляют в покое, – повторил Грубер. – Знаете, они ведь считают, что им повезло, когда попадается импотент или такой пьяный, что ничего не может. У них тут даже местное название для подобных клиентов есть, не помню, как это по-испански, но означает посетителя, соблюдающего пост.

– А вы часто бываете в заведении у мамыши Санчес?

– Зачем? Поглядите, сколько соблазнов у меня тут под носом – все эти прелестные покупательницы. Кое-какие пленки из тех, что они приносят проявлять, весьма интимного свойства, и, когда я их возвращаю, в глазах у девушки озорство. «Он, видно, заметил, как у меня там сползли бикини», – думает она, а я и правда заметил. Кстати, на днях сюда заходили какие-то двое и расспрашивали о вас. Хотели узнать, тот ли вы Эдуардо Пларр, которого много лет назад они знали в Асунсьоне. Прочли ваше имя на пленках, которые я посылал вам в четверг. Я, конечно, сказал, что понятия не имею.

– Они из полиции?

– По виду не похожи, однако все равно рисковать не стоит. Слышал, как один называл другого отцом. А тот по годам вряд ли мог быть его отцом. Но одет был не как священник – вот это и показалось мне подозрительным.

– У меня с местным начальником полиции отношения хорошие. Он меня иногда приглашает, когда доктор Беневенто в отпуске. Думаете, это люди с той стороны границы? Может, агенты Генерала? Но какой я для него представляю интерес? Я ведь был еще мальчишкой, когда уехал...

– Легка на помине... – сказал Грубер.

Доктор Пларр быстро взглянул на экран телевизора, он ожидал, что там появятся фигуры двух незнакомых мужчин, но увидел только худенькую девушку в непомерно больших

солнечных очках – в пору разве что аквалангисту.

– Покупает солнечные очки, как другие бижутерию. Я продал ей уже пары четыре, не меньше.

– Кто она?

– Вы должны ее знать. Только что о ней говорили. Жена Чарли Фортнума. Или, если хотите, его девица.

Доктор Пларр поставил пиво и вышел в магазин. Девушка разглядывала солнечные очки и так была этим поглощена, что не обратила на него внимания. Стекла у очков были ярко-фиолетовые, оправка желтая, а дужки инкрустированы осколками чего-то похожего на аметисты. Она сняла свои очки и примерила новые, они сразу состарили ее лет на десять. Глаз было совсем не видно; на стеклах двоилось лишь фиолетовое отражение его собственного лица. Продавщица сказала:

– Мы их только что получили из Мар-дель-Платы. Там они в большой моде.

Доктор Пларр знал, что Грубер, наверное, следит за ним по телевизору, но что ему до этого? Он спросил:

– Они вам нравятся, сеньора Фортнум?

Она обернулась:

– Кто?.. Ах, это вы, доктор... доктор...

– Пларр. Они вас очень старят, но вам ведь можно и прибавить себе несколько лет.

– Они слишком дорогие. Я примерила их просто так...

– Заверните, – сказал доктор продавщице. – И дайте футляр...

– У них свой футляр, – сказала та и стала протирать стекла.

– Не надо, – сказала Клара. – Я не могу...

– От меня можете. Я друг вашего мужа.

– Вы думаете, что тогда можно?

– Да.

Она подпрыгнула; как он потом узнал, так она выражала радость, получая любой подарок, даже пирожное. Он не встречал женщин, которые до того простодушно принимали бы подарки, безо всякого кривлянья. Она сказала продавщице:

– Давайте я их надену. А старые положите в футляр.

В этих очках, подумал он, когда они вышли из магазина Грубера, она больше похожа на мою любовницу, чем на мою младшую сестру.

– Это очень мило с вашей стороны, – произнесла она, как хорошо воспитанная школьница.

– Пойдем посидим у реки, там можно поговорить. – Когда она заколебалась, Пларр добавил:

– В этих очках вас никто не узнает. Даже муж.

– Вам они не нравятся?

– Нет. Не нравятся.

– А я думала, что у них очень шикарный вид, – сказала она разочарованно.

– Они хороши как маскировка. Поэтому я и хотел, чтобы они у вас были. Теперь никто не узнает, что я иду с молодой сеньорой Фортнум.

– Да кто меня может узнать? Я ни с кем не знакома, а Чарли дома. Он отпустил меня со старшим рабочим. Я сказала, что хочу кое-что купить.

– Что?

– Да что-нибудь. Сама не знаю, что именно.

Она охотно шла рядом, следуя за ним, куда ему вздумается. Его смущало, что дело оборачивается так просто. Он вспоминал, как глупо боролся с собой, когда ему вдруг захотелось повернуть машину и поехать назад, в поместье, сколько раз на прошлой неделе ему не спалось, когда он раздумывал, как бы изловчиться и снова ее увидеть. Неужели он не понимал, что это так же легко, как пойти с ней в каморку у сеньоры Санчес?

– Сегодня я вас не боюсь, – сказала она.

– Потому что я сделал вам подарок?

– Да, может, поэтому. Никто ведь не станет дарить подарки тем, кто ему не нравится, правда? А тогда я думала, что вам не нравлюсь. Что вы мой враг.

Они вышли на берег Параны. В реку выдавалось небольшое пятиугольное здание, окруженное белыми колоннами, в нем, как в храме, стояла обнаженная статуя, полная классической невинности, и глядела на воду. Уродливый желтый дом, где он снимал квартиру, был скрыт за деревьями. Листья, похожие на легчайшие перышки, создавали ощущение прохлады, потому что были в вечном движении – они шевелились от ветерка, не ощутимого даже кожей. Вверх по реке, фырча против течения, прошла тяжелая баржа, а над Чако тянулась всегдашняя черная полоса дыма.

Она села и стала смотреть на Парану; когда он глядел на нее, он видел лишь собственное лицо, отраженное в зеркале очков.

– Бога ради, снимите эти очки, – сказал он. – Я не собираюсь бриться.

– Бриться?

– Я и так смотрю на себя в зеркало два раза в день, с меня этого хватит.

Она покорно сняла очки, и он увидел ее глаза – карие, невыразительные, неотличимые от глаз других испанок, которых он знал. Она сказала:

– Не понимаю...

– Да я уж и сам не помню, что сказал. Правда, что вы замужем?

– Да.

– И как вам это нравится?

– По-моему, это все равно как если бы я надела платье другой девушки, а оно на меня не

лезло, – сказала она.

– Зачем же вы это сделали?

– Он так хотел на мне жениться. Из-за денег, когда он умрет, чтобы они не пропали. А если будет ребенок...

– Вы уже и об этом позаботились?

– Нет.

– Что ж, вам теперь все-таки лучше, чем у матушки Санчес.

– Тут все по-другому, – сказала она. – Я по девочкам скучаю.

– А по мужчинам?

– Ну, до них-то мне какое дело?

Они были одни на длинной набережной Параны; мужчины в этот час работают, женщины ходят за покупками. Здесь на все свое время: время для Параны – вечер, тогда вдоль нее гуляют молодые влюбленные, держась за руки, и молчат.

Он спросил:

– Когда вам надо быть дома?

– Саратаз [старший рабочий (исп.)] в одиннадцать зайдет за мной к Чарли в контору.

– А сейчас девять. Что вы до тех пор собираетесь делать?

– Похожу по магазинам, потом выпью кофе.

– Старых друзей навестите?

– Девочки сейчас спят.

– Видите тот дом за деревьями? – спросил доктор Пларр. – Я там живу.

– Да?

– Если хотите выпить кофе, я вас угощу.

– Да?

– Могу и апельсиновым соком.

– Ну, я апельсиновый сок не так уж и люблю. Сеньора Санчес говорила, что нам нельзя пьянеть, вот почему мы его пили.

Он спросил:

– Вы пойдете со мной?

– А это не будет нехорошо? – сказала она, словно выспрашивала у кого-то, кого давно знает и кому доверяет.

– У матушки Санчес это же не было плохо...

– Но там надо было зарабатывать на жизнь. Я посылала деньги домой в Тукуман.

– А как с этим теперь?

– Ну, деньги в Тукуман я все равно посылаю. Чарли мне дает.

Он встал и протянул ей руку:

– Пошли.

Он бы рассердился, если бы она заколебалась, но она взяла его за руку все с той же бездумной покорностью и пошла через дорогу, словно ей предстояло пройти всего лишь по дворику сеньоры Санчес. Однако войти в лифт она решилась не сразу. Сказала, что никогда еще не поднималась в лифте – в городе было не много домов выше чем в два этажа. Она сжала его руку – то ли от волнения, то ли от страха, а когда они поднялись на верхний этаж, спросила:

– А можно сделать это еще раз?

– Когда будете уходить.

Он повел ее прямо в спальню и стал раздевать. Застежка на платье заела, и она сама ее дернула. Когда она уже лежала на кровати и ждала его, она сказала:

– Солнечные очки обошлись вам гораздо дороже, чем поход к сеньоре Санчес.

И он подумал, не считает ли она, что этими очками он заплатил ей вперед.

Он вспомнил, как Тереса пересчитывала песо, а потом клала их на полочку под статуэткой своей святой, словно это был церковный сбор. Позднее они будут аккуратно поделены между ней и сеньорой Санчес; то, что сверх таксы, давали отдельно.

Когда он лег, он с облегчением подумал: вот и кончилось мое наваждение, а когда она застонала, подумал: вот опять я свободен, могу проститься с сеньорой Санчес – пусть себе вяжет в своем шезлонге – и с легким сердцем пойду назад по берегу реки, чего не чувствовал, когда выходил из дома. На столе лежал свежий номер «Бритиш медикл джорнэл», он уже целую неделю валялся нераспечатанным, а у него было настроение почитать что-нибудь еще более точное по изложению, чем рассказ Борхеса, и более полезное, чем роман Хорхе Хулио Сааведры. Он принялся читать крайне оригинальную статью – так ему, во всяком случае, показалось – о лечении кальциевой недостаточности, написанную доктором, которого звали Цезарем Борджиа.

– Вы спите? – спросила девушка.

– Нет. – Но тем не менее был удивлен, когда, открыв глаза, увидел солнечные лучи, падавшие сквозь щели жалюзи. Он думал, что уже ночь и что он один.

Девушка погладила его по бедру и пробежалась губами по телу. Он чувствовал лишь легкое любопытство, интерес к тому, сможет ли она снова пробудить в нем желание. Вот в чем секрет ее успеха у матушки Санчес: она давала мужчине вдвое за его деньги. Она прижалась к нему, выкрикнула какую-то непристойность, прикусила его ухо, но наваждение ушло вместе с вождением, оставив гнетущую пустоту. Целую неделю его донимала навязчивая мысль, а теперь он тосковал по ней, как могла бы тосковать мать по крику нежеланного ребенка. Я никогда ее не хотел, думал он, я хотел лишь того, что вообразил себе. У него было желание встать и уйти, оставив ее одну убирать постель, а потом искать другого клиента.

– Где ванная? – спросила она.

В ней не было ничего, что отличало бы ее от других женщин, которых он знал, разве что умение разыгрывать комедию с большей изобретательностью и темпераментом.

Когда она вернулась, он уже был одет и с нетерпением ждал, чтобы оделась она. Он боялся, что она попросит обещанный кофе и надолго задержится, пока будет его пить. В этот час он обычно посещал квартал бедноты. Женщины теперь уже заканчивали работы по дому, а дети успели натаскать воды. Он спросил:

– Хотите, я завезу вас в консульство?

– Нет, – сказала она. – Лучше пойду пешком. Может, *capataz* меня уже ждет.

– Вы не много сделали покупок.

– А я покажу Чарли солнечные очки. Он же не будет знать, какие они дорогие.

Пларр вынул из кармана бумажку в десять тысяч песо и протянул ей. Она ее повертела, словно хотела разглядеть, что это за купюра, а потом сказала:

– Никто еще не давал мне больше пяти тысяч. Обычно две. Матушка Санчес не любила, чтобы мы брали больше. Боялась, что это будет вроде как вымогательство. Но она не права. Мужчины в этом смысле народ странный. Чем меньше они могут, тем больше дают.

– Будто вам не все равно, – сказал он.

– Будто нам не все равно, – согласилась она.

– Клиент, который дал обет поститься.

Девушка засмеялась:

– До чего хорошо, когда можно говорить, что хочешь. С Чарли я так не могу разговаривать. По-моему, ему вообще хотелось бы забыть о сеньоре Санчес. – Она протянула ему деньги. – Теперь это нехорошо, раз я замужем. Да они мне и не нужны. Чарли щедрый. И очки стоили очень дорого. – Она их снова надела, и он опять увидел свое лицо в миниатюре, которое устало висело на нем, словно кукольное личико из окна кукольного домика. Она спросила: – Я вас еще увижу?

Ему хотелось ответить: «Нет. Теперь уже конец», но привычная вежливость и облегчение от того, что она забыла про кофе, заставили его церемонно ответить, как хозяина гостя, которую он бы вовсе не хотел снова видеть у себя:

– Конечно. Как-нибудь, когда вы будете в городе... Я дам вам мой номер телефона.

– И вовсе не надо каждый раз делать мне подарки, – заверила она его.

– А вам – разыгрывать комедию.

– Какую комедию?

Он сказал:

– Я знаю, некоторые мужчины хотят верить, что вы получаете такое же удовольствие, как они. У матушки Санчес вам, конечно, приходилось играть роль, чтобы заслужить подарок, но тут вам играть не надо. Может, с Чарли вам и приходится притворяться, но со мной не стоит. Со мной ничего не надо изображать.

– Извините, – сказала она. – Я что-то сделала не так?

– Меня это всегда раздражало там, в вашем заведении, – сказал доктор Пларр. – Мужчины вовсе не такие болваны, как вам кажется. Они знают, что пришли сами получить удовольствие, а не для того, чтобы доставить его вам.

Она сказала:

– А я, по-моему, очень хорошо притворялась, потому что получала более дорогие подарки, чем другие девушки.

Она ничуть не обиделась. Видно, привыкла видеть, как мужчина, удовлетворившись, начинает испытывать тоску. Он ничем не отличался от других, даже в этом. И это ощущение пустоты, подумал он – неужели она права? – всего лишь временная *tristitia* [грусть (исп.)], которую большинство мужчин испытывают потом?

– Сколько времени вы там пробыли?

– Два года. Когда я приехала, мне было уже почти шестнадцать. На мой день рождения девочки подарили мне сладкий пирог со свечками. Я таких раньше не видела. Очень был красивый.

– А Чарли Фортнум любит, чтобы вы вот так делали вид?

– Он любит, чтобы я была очень тихая, – сказала она, – и очень нежная. Вам бы тоже это понравилось? Простите... Я-то думала... Вы ведь гораздо моложе Чарли, вот я и решила...

– Мне бы нравилось, чтобы вы были такой, как есть. Даже равнодушной, если вам так хочется. Сколько мужчин вы знали?

– Разве я могу это помнить?

Он показал ей, как пользоваться лифтом, но она попросила, чтобы он спустился с ней вместе – лифт ее еще немножко пугал, хотя ей и было интересно. Когда она нажала кнопку и лифт пошел вниз, она подпрыгнула, как тогда, в магазине у Грубера. В дверях она призналась, что боится и телефона.

– А как вас зовут?.. Я забыла ваше имя.

– Пларр. Эдуардо Пларр. – И он впервые вслух произнес ее имя: – А вас ведь Кларой, правда? – Он добавил: – Если вы боитесь телефона, мне придется самому позвонить вам. Но ведь может взять трубку Чарли.

– До девяти он обычно объезжает имение. А по средам почти всегда ездит в город, но он любит брать меня с собой.

– Неважно, – сказал доктор Пларр. – Что-нибудь придумаем.

Он не проводил ее на улицу и не поглядел ей вслед. Он был свободен.

А между тем ночью, стараясь уснуть, он почему-то огорчился, подумав, что лучше помнит, как она, вытянувшись, лежит на кровати Фортнума, чем на его собственной. Наваждение может на время притаиться, но не обязательно исчезнет; не прошло и недели, как ему снова захотелось ее видеть. Хотя бы услышать ее голос по телефону, как бы равнодушно он ни звучал, но телефон так и не позвонил, чтобы сообщить ему важную для него весть.

Доктор Пларр вернулся домой только около трех часов утра. Из-за полицейских патрулей Диего поехал в обход и высадил его недалеко от дома сеньоры Санчес, так, чтобы в случае нужды он мог объяснить, откуда шел пешком на рассвете. Он пережил неприятную минуту, когда дверь этажом ниже открылась и чей-то голос спросил:

– Кто там?

Он крикнул:

– Доктор Пларр. И почему только дети рождаются в такие несусветные часы?

Он лег, но почти не спал. Тем не менее он выполнил свои утренние обязанности быстрее обычного и поехал в поместье Чарли Фортнума. Он не представлял себе, что его там ждет, и чувствовал себя усталым, нервным, сердитым, предвидя, что ему придется иметь дело с женщиной в истерике. Лежа ночью в постели без сна, он подумывал, не обратиться ли ему в полицию, но это означало бы обречь Леона и Акуино почти на верную смерть, а может, и Фортнума тоже.

Когда он приехал в поместье, был уже душный, прогретый солнцем полдень и в тени авокадо, возле «Гордости Фортнума» стоял полицейский «джип». Он без звонка вошел в дом; в гостиной начальник полиции беседовал с Кларой. Вопреки его ожиданиям она вела себя отнюдь не как истеричная дама; на диване чинно сидела молоденькая девушка и покорно выслушивала приказания начальника.

– ...все, что мы можем, – говорил полковник Перес.

– Что вы здесь делаете? – спросил доктор Пларр.

– Я приехал к сеньоре Фортнум, а вы, доктор?

– Я приехал по делу к консулу.

– Консула нет, – сказал полковник Перес.

Клара с ним не поздоровалась. Она, казалось, безучастно ждет, как не раз ждала в дворике публичного дома, чтобы кто-нибудь из мужчин ее увел – ведь приставать к ним матушка Санчес запрещала.

– В городе его нет, – сказал доктор Пларр.

– Вы были у него в конторе?

– Нет. Позвонил по телефону.

Он сразу же пожалел, что это сказал: полковник Перес был не дурак. Никогда не следует давать непрошенные сведения полиции. Доктор Пларр не раз наблюдал, как спокойно и мастерски ведет дело Перес. Как-то раз обнаружили труп зарезанного человека на плоту, который проплыл две тысячи миль по Паране. В отсутствие доктора Беневенто к излучине

реки возле аэропорта, откуда отгружались бревна, вызвали доктора Пларра. Спустившись по небольшой скользкой деревянной тропке, где в подлеске шуршали змеи, он увидел маленькую пристань – так называемый лесосплавный порт. На плоту целый месяц жила семья. Доктор Пларр, спотыкаясь на бревнах, шел вслед за Пересом и восхищался, как легко полицейский сохраняет равновесие; сам он боялся поскользнуться, когда бревна под его ногами то погружались в воду, то всплывали наверх. Ему казалось, что он, как наездник в цирке, стоя на лошади, гарцует вокруг арены.

– Вы говорили с его экономкой? – спросил полковник Перес.

Доктор Пларр снова выругал себя за необдуманную ложь. Он ведь лечил Клару. Почему было просто не сказать, что это очередной визит врача к беременной женщине? Ложь размножалась в присутствии полицейского, как бактерии. Он сказал:

– Нет. Никто не ответил.

Полковник Перес молча обдумывал его ответ.

Пларр вспоминал, как быстро и легко Перес шагал по вздыбившимся бревнам, словно по ровному городскому тротуару. Бревна тянулись до середины реки. В самом центре этого обширного полегшего леса стояла группа людей, издали они казались совсем маленькими. Пересу и ему, чтобы дойти до них, приходилось перепрыгивать с одного плота на другой, и всякий раз, делая прыжок, доктор боялся, что упадет в воду между плотами, хотя расстояние между ними было, как правило, меньше метра. По мере того, как бревна под его тяжестью погружались, а потом всплывали снова, его ботинки зачерпывали все больше воды.

– Предупреждаю, – сказал Перес, – зрелище будет не из приятных. Семья путешествовала на плоту с мертвецом не одну неделю. Было бы куда лучше, если бы они просто спихнули его в реку. Мы бы так ничего и не знали.

– А почему они этого не сделали? – спросил доктор Пларр, раскинув руки, как канатоходец.

– Убийца хотел, чтобы труп похоронили по-христиански.

– Значит, он признался в убийстве?

– Ну как мне-то не признаться? – ответил Перес. – Ведь мы же люди свои.

Когда они подошли к тем, кто стоял на плоту – там было двое мужчин, женщина, ребенок и двое полицейских, – доктор Пларр заметил, что полиция даже не потрудилась отнять у убийцы нож. Он сидел скрестив ноги возле отвратительного трупа, словно был обязан его стеречь. Лицо его выражало скорее грусть, чем сознание вины.

Теперь полковник Перес объяснял:

– Я приехал, чтобы сообщить сеньоре о том, что машина ее мужа была найдена в Паране недалеко от Посадаса. Тело не обнаружено, поэтому мы надеемся, что консулу удалось спастись.

– Несчастный случай? Вы, конечно, знаете, а сеньора не будет в претензии, если я это скажу, – Фортнум довольно много пил.

– Да. Но тут могут быть и другие объяснения, – сказал полковник.

Доктору было бы легче играть свою роль перед полицейским и перед Klarой, если бы они были порознь. Он боялся, что кто-либо из них подметит фальшь в его тоне.

– Как по-вашему, что произошло? – спросил он.

– Любое происшествие так близко к границе может иметь политический характер. Об этом никогда не следует забывать. Помните врача, которого похитили в Посадасе?

– Конечно. Но зачем похищать Фортнума? Он не имеет никакого отношения к политике.

– Он – консул.

– Всего лишь почетный консул.

Даже начальник полиции не мог уяснить этой разницы.

Полковник Перес обратился к Кларе:

– Как только мы узнаем что-нибудь новое, тут же вам сообщим. – Он взял Пларра под руку: – Доктор, я хотел кое-что у вас спросить.

Полковник повел доктора Пларра через веранду, где бар с фирменными стаканами «Лонг Джона», казалось, подчеркивал непонятное отсутствие Чарли Фортнума (он-то, уж конечно, предложил бы им хлебнуть перед уходом), в густую тень от купы авокадо. Перес поднял падалицу, опытным взглядом проверил, поспела ли она, и аккуратно положил на заднее сиденье полицейской машины, куда не падали солнечные лучи.

– Красота, – сказал он. – Люблю их натереть и слегка полить виски.

– Что вы хотели у меня спросить? – задал вопрос доктор.

– Меня смущает одно небольшое обстоятельство.

– Неужели вы действительно думаете, что Фортнума похитили?

– Это одна из версий. Я даже предполагаю, что он мог стать жертвой глупейшей ошибки. Видите ли, при осмотре развалин он был с американским послом. Посол, конечно, куда более заманчивая добыча для похитителей. Если это так, похитители люди не здешние, может быть, они из Парагвая. Мы с вами, доктор, никогда не совершили бы подобной ошибки. Я говорю «с вами», потому что вы почти свой. Конечно, не исключено, что и вы причастны к этому делу. Косвенно.

– Я вряд ли подхожу для роли похитителя, полковник.

– Но я вспомнил – ведь ваш отец по ту сторону границы? Вы как-то говорили, что он либо мертв, либо в тюрьме. Так что у вас может быть подходящий мотив. Простите, доктор, что я думаю вслух, я всегда немножко теряюсь, когда имею дело с политическим преступлением. В политике преступления часто совершает *caballero* [здесь: аристократ (исп.)]. Я больше привык к преступлениям, которые совершают преступники, в крайнем случае люди, склонные к насилию, или бедняки. Из-за денег или похоти.

– Или *machismo*, – осмелился поддразнить доктор.

– Ну, здесь у нас всем правит *machismo*, – заметил Перес и улыбнулся так дружелюбно, что у доктора отлегло от сердца. – Здесь «*machismo*» только другое слово для понятия «жизнь». Для воздуха, которым мы дышим. Когда у человека нет *machismo*, он мертвец. Вы поедете назад в город, доктор?

– Нет. Раз я уже здесь, я осмотрю сеньору Фортнум. Она ждет ребенка.

– Да. Она мне сказала. – Начальник полиции взялся за дверцу машины, но в последнюю

минуту обернулся и тихо произнес по-дружески, словно делал признание: – Доктор, зачем вы сказали, что позвонили в консульство и вам не ответили? Я ведь там все утро держал человека на случай, если позвонят.

– Вы же знаете, как у нас в городе работает телефон.

– Когда телефон испорчен, слышишь частые, а не редкие гудки.

– Не всегда, полковник. Впрочем, гудки могли быть и частыми. Я не очень-то вслушивался.

– И проделали весь этот путь в имение?

– Все равно подошло время для осмотра сеньоры Фортнум. Зачем бы я стал вам врать?

– Мне надо учитывать все возможности, доктор. Бывают ведь преступления и на почве страсти.

– Страсти? – улыбнулся доктор. – Я же англичанин.

– Да, это маловероятно, знаю. И в случае сеньоры Фортнум... вряд ли такой человек, как вы, при ваших возможностях, сочтет необходимым... Однако мне попадались преступления на почве страсти даже в публичном доме.

– Чарли Фортнум мой друг.

– Ну, друг... В таких случаях именно друзей и предают... Не правда ли? – Полковник Перес положил руку доктору на плечо. – Вы меня простите. Я достаточно хорошо с вами знаком, чтобы разрешить себе, когда мне что-то непонятно, маленько поразмыслить. Вот как сейчас. Я слышал, что у вас с сеньорой Фортнум весьма близкие отношения. И все же, вы правы, не думаю, чтобы вам так уж понадобилось избавиться от ее мужа. Однако я все же удивляюсь, зачем вам было лгать.

Он влез в машину. Кобура его револьвера скрипнула, когда он опускался на сиденье. Он откинулся, проверяя, хорошо ли лежит авокадо, чтобы его не побил от толчков.

Доктор Пларр сказал:

– Я просто не подумал, полковник, когда вам это сказал. Полиции лжешь почти машинально. Но я не подозревал, что вы так хорошо обо мне осведомлены.

– Город-то маленький, – сказал Перес. – Когда спишь с замужней женщиной, всегда спокойней предполагать, что все об этом знают.

Доктор Пларр проводил взглядом машину, а потом нехотя вернулся в дом. Тайна, думал он, составляет львиную долю привлекательности в любовной связи. В откровенной связи всегда есть что-то абсурдное.

Клара сидела там же, где он ее оставил. Он подумал: первый раз мы вдвоем и ей не надо спешить на встречу в консульство или бояться, что Чарли ненароком вернется с фермы.

Она спросила:

– Ты думаешь, он уже умер?

– Нет.

– Может, если бы он умер, всем было бы лучше.

– Но не самому Чарли.

– Даже Чарли. Он так боится совсем постареть, – сказала она.

– И все же не думаю, чтобы в данную минуту ему хотелось умереть.

– Ребенок утром так брыкался.

– Да?

– Хочешь, пойдем в спальню?

– Конечно. – Он подождал, чтобы она встала и пошла впереди.

Они никогда не целовались в губы (это было частью воспитания, полученного в публичном доме), и он шел за ней с медленно поднимающимся возбуждением. Когда любишь по-настоящему, думал он, женщина интересуется тобой потому, что она нечто от тебя отличное; но потом мало-помалу она к тебе применяется, перенимает твои привычки, твои идеи, даже твои выражения и становится частью тебя. Какой же интерес она может тогда представлять? Нельзя ведь любить самого себя, нельзя долго жить рядом с самим собой; всякий нуждается в том, чтобы в постели лежал кто-то чужой, а проститутка всегда остается чужой. На ее теле расписывалось так много мужчин, что ты уже никак не можешь там разобрать свою подпись.

Когда они затихли и ее голова опустилась ему на плечо, где ей и было положено мирно, любовно лежать, она сказала фразу, которую он по ошибке принял за слишком часто произносимые слова:

– Эдуардо, это правда? Ты в самом деле...

– Нет, – твердо ответил он.

Он думал, что она ожидает ответа на все тот же банальный вопрос, который постоянно вымогала у него мать после того, как они покинули отца. Ответа, которого рано или поздно добивалась каждая из его любовниц: «Ты в самом деле меня любишь, Эдуардо?» Одно из достоинств публичного дома – слово «любовь» там редко или вообще никогда не произносится. Он повторил:

– Нет.

– А как ты можешь быть в этом уверен? – спросила она. – Только что ты так твердо сказал, что он жив, а ведь даже полицейский думает, что его убили.

Доктор Пларр понял, что ошибся, и от облегчения поцеловал ее чуть не в самые губы.

Новость сообщила местная радиостанция, когда они сидели за обедом. Это была их первая совместная трапеза, и оба чувствовали себя неловко. Есть, сидя рядом, казалось доктору Пларру чем-то гораздо более интимным, чем лежать в постели. Им подавала служанка, но после каждого блюда она пропадала где-то в обширных, неубранных помещениях обветшалого дома, куда он еще ни разу не проникал. Сперва она подала им омлет, потом отличный бифштекс (он был много лучше гуляша в Итальянском клубе или жесткого мяса в «Национале»). На столе стояла бутылка чилийского вина из запасов Чарли, гораздо более крепкого, чем кооперативное вино из Мендосы. Доктору было странно, что он так чинно и охотно ест с одной из девушек сеньоры Санчес. Это открывало неожиданную перспективу совсем другой жизни, семейной жизни, равно непривычной и ему и ей. Словно он поплыл в лодке по одному из мелких притоков Параны и вдруг очутился в огромной дельте, такой, как у

Амазонки, где теряешь всякую ориентацию. Он почувствовал внезапную нежность к Кларе, которая сделала возможным это странное плавание. Они старательно выбирали слова, ведь им впервые приходилось их выбирать; темой для разговора было исчезновение Чарли Фортнума.

Доктор Пларр заговорил о нем так, будто он и в самом деле наверняка мертв, казалось, что так спокойнее: ведь в противном случае Клара заинтересовалась бы, на чем покоится его оптимизм. И только когда она заговорила о будущем, он изменил этой тактике, чтобы уклониться от опасной темы. Он заверил ее, что Чарли еще, может быть, жив. Вести свое суденышко по этим просторам Амазонки, полным омутов и мелей, оказалось не так легко – даже глагольные времена путались.

– Вполне возможно, что ему удалось выбраться из машины, а потом, если он ослабел, его сильно отнесло течением... Он мог вылезти на сушу далеко от всякого жилья...

– Но почему его машина оказалась в воде? – Она с огорчением добавила: – Ведь это новый «кадиллак». Он хотел продать его на будущей неделе в Буэнос-Айресе.

– Может, у него было какое-то дело в Посадасе. Он же такой человек, который вполне мог...

– Ах нет, я же знаю, что он вовсе не собирался в Посадас. Он ехал ко мне. Он не хотел ездить на эти развалины. И не хотел быть на обеде у губернатора. Он беспокоился обо мне и о ребенке.

– Почему? Не вижу причин. Ты такая крепкая девушка.

– Я иногда делаю вид, что больна, чтобы он тебя позвал. Тебе тогда проще.

– Ну и мерзавка же ты, – сказал он не без восхищения.

– Он взял самые лучшие солнечные очки, те, что ты подарил. Теперь мне их больше не видать. А это мои самые любимые очки. Такие шикарные. Да еще из Мар-дель-Платы.

– Завтра схожу к Груберу и куплю тебе другие, – сказал он.

– Таких там больше нет.

– Он сможет заказать еще одну пару.

– Чарли их у меня уже брал и чуть не разбил.

– Наверное, вид у него в этих очках был довольно нелепый, – сказал доктор Пларр.

– А ему все равно, как он выглядит. В подпитии он вообще почти ничего не видел.

Прошедшее и настоящее времена качались взад-вперед, как стрелка барометра при неустойчивой погоде.

– Он любил тебя, Клара?

Вопрос этот никогда раньше его не занимал. Чарли Фортнум как муж Клары всегда представлял для него только неудобство, когда он чувствовал потребность поскорее получить его жену. Но Чарли Фортнум, лежавший под наркозом на ящике в грязной каморке, превратился в серьезного соперника.

– Он всегда был со мной очень добрым.

Им подали мороженое из авокадо, Пларр снова почувствовал к ней влечение. До вечера у

него не было визитов к больным; можно насладиться послеобеденным отдыхом, не прислушиваясь к рокочущему приближению «Гордости Фортнума», и продлить удовольствие почти на весь день. После того, первого, раза у него в квартире она никогда больше не пыталась изображать страсть, и ее равнодушие даже начало слегка его бесить. Когда он бывал один, он иногда мечтал вызвать у нее искренний возглас удовольствия.

– Чарли когда-нибудь говорил, почему он на тебе женился?

– Я же тебе сказала. Из-за денег. Когда он умрет. А теперь он умер.

– Может быть.

– Хочешь еще мороженого? Я позову Марию. Тут есть звонок, но звонит всегда только Чарли.

– Почему?

– Я не привыкла к звонкам. Все эти электрические штуки – я их боюсь.

Ему было забавно видеть, как чинно она сидит за столом, словно настоящая хозяйка. Он вспомнил о своей матери; в прежние времена в поместье, когда няня приводила его к десерту в столовую, там тоже часто подавали мороженое из авокадо. Мать была гораздо красивее Клары, никакого сравнения, но он вспоминал, сколько всякой косметики для своей красоты она тогда покупала: притирания стояли в два ряда вдоль длинного туалетного стола, который тянулся от стены до стены. Иногда он подумывал, что даже в те дни отец у нее занимал второе место после «Герлена» и «Элизабет Арден» [парфюмерные фирмы].

– А как он в постели?

Клара даже не потрудилась ответить. Она сказала:

– Радио... надо его послушать. Могут передать что-нибудь новое.

– Новое?

– Ну о Чарли, конечно. О чем ты думаешь?

– Думаю, что мы можем вместе провести весь день.

– А если он явится?

Пойманный врасплох, он ответил:

– Не явится.

– Почему ты так уверен, что он уже умер?

– Я вовсе в этом не уверен, но, если он жив, он сначала позвонит по телефону. Не захочет тебя напугать, тебя и ребенка.

– Все равно, надо слушать радио.

Он нашел сперва Асунсьон, потом переключился на местную станцию. Никаких новостей не сообщили. В эфире звучала только грустная индейская песня и арфа. Клара спросила:

– Ты любишь шампанское?

– Да.

– У Чарли есть шампанское. Ему его обменяли на виски «Лонг Джон», он сказал, что это настоящее французское шампанское.

Музыка прекратилась. Диктор назвал станцию и объявил выпуск новостей; начал он с сообщения о Чарли Фортнуме. Похищен британский консул – диктор опустил уничижительный эпитет. Об американском после не упоминалось. Леон, по-видимому, как-то связался со своими сообщниками. Без эпитета титул Чарли звучал довольно внушительно. Делал его фигурой, достойной того, чтобы его похитили. Диктор сообщил, что власти считают, будто консула похитили парагвайцы. Думают, что его вывезли за реку, а похитители предъявляют свои требования через аргентинское правительство, чтобы запутать следы. По-видимому, они требуют освобождения десяти политических заключенных, содержащихся в Парагвае. Любая полицейская акция в Парагвае или Аргентине поставит под угрозу жизнь консула. Заключенных следует отправить самолетом в Гавану или в Мехико-Сити... За этим последовал обычный подробный перечень условий. Сообщение было сделано всего час назад по телефону из Росарио газете «Насьон» в Буэнос-Айресе. Диктор сказал, что нет оснований предполагать, будто консула прячут в столице, потому что машину обнаружили возле Посадаса, более чем в тысяче километров от Буэнос-Айреса.

– Не понимаю, – сказала Клара.

– Помолчи и послушай.

Диктор продолжал объяснять, что похитители довольно ловко выбрали время, так как генерал Стреснер в настоящее время находится с неофициальным визитом на юге Аргентины. Ему сообщили о похищении, но, по слухам, он сказал: «Меня это не касается. Я приехал ловить рыбу». Похитители дают правительству Парагвая срок до полуночи в воскресенье; о согласии на их условия должно быть объявлено по радио. Когда это время истечет, они будут вынуждены пленного казнить.

– Но при чем тут Чарли?

– Наверное, произошла ошибка. Другого объяснения быть не может. Не волнуйся. Через несколько дней он будет дома. Скажи служанке, что ты никого не хочешь видеть: боюсь, что сюда нагрянут репортеры.

– Ты останешься?

– Да, на какое-то время останусь.

– Мне сегодня что-то не хочется...

– Да. Конечно. Понимаю.

Она пошла по длинному коридору, увешанному спортивными гравюрами, и доктор Плarr остановился, чтобы еще раз взглянуть на узкий ручей, затененный ивами, который тек на маленьком северном островке, где родился его отец. Ни один генерал не ездил со своими полковниками ловить рыбу в таких ручьях. Мысль о покинутом доме отца преследовала его и в спальне. Он спросил:

– Тебе хочется вернуться в Тукуман?

– Нет, – сказала она, – конечно, нет. Почему ты спрашиваешь?

Она прилегла на кровать, не раздеваясь. В загороженной ставнями комнате с кондиционером было прохладно, как в морском гроте.

– А что делает твой отец?

– Когда наступает сезон, режет сахарный тростник, но он уже стареет.

– А не в сезон?

– Они живут на деньги, которые я посылаю. Если я умру, они помрут с голоду. Но я же не умру, правда? Из-за ребенка?

– Да, конечно, нет. А у тебя есть братья или сестры?

– Был брат, но он уехал, никто не знает куда. – Он сидел на краю кровати, и ее рука на миг дотронулась до его руки, но она тут же ее отняла. Может быть, испугалась, что он примет это за попытку изобразить нежность и будет недоволен. – Как-то утром в четыре часа он пошел резать тростник и не вернулся. Может, умер. А может, просто уехал.

Это напомнило ему исчезновение отца. Тут ведь они живут на материке, а не на острове. Какое это огромное пространство земли с зыбкими границами – повсюду горы, реки, джунгли и болота, где можно потеряться, – на всем пути от Панамы до Огненной Земли.

– И брат ни разу не написал?

– Как же он мог? Он не умел ни читать, ни писать.

– Но ты же умеешь.

– Немного. Сеньора Санчес меня научила. Она хочет, чтобы девушки у нее были образованные. Чарли мне тоже помогал.

– А сестер у тебя не было?

– Сестра была. Она родила в поле ребенка, придушила его, а потом и сама умерла.

Он никогда раньше не расспрашивал ее о родне. Непонятно, что заставило его спросить теперь – может быть, захотелось выяснить, чем объясняется его наваждение. Чем она отличалась от других девушек, которых он видел в заведении сеньоры Санчес? Быть может, если он определит эту особенность, наваждение пройдет, как болезнь после того, как найдешь ее причину. Он бы с радостью придушил это наваждение, как ее сестра своего ребенка.

– Я устал, – сказал он. – Дай я прилягу рядом с тобой. Мне надо поспать. Я сегодня не спал до трех часов утра.

– А что ты делал?

– Навещал больного. Ты разбудишь меня, когда стемнеет?

Кондиционер возле окна жужжал так, словно наступило настоящее лето; сквозь сон ему показалось, что он слышит, как звонит колокол, большой пароходный колокол, подвешенный на веревке к стропилам веранды. Он смутно почувствовал, что она встала и ушла. Вдали слышались голоса, шум отъезжающей машины, а потом она вернулась, легла рядом, и он снова заснул. Ему приснилось, как уже не снилось несколько лет, поместье в Парагвае. Он лежал на своей детской кроватке над лестницей, прислушиваясь к шуму защелкиваемых замков и задвигаемых щеколд – отец запирает дом, – и все равно ему было страшно. А вдруг внутри заперли того, кого надо было оставить снаружи?

Доктор Пларр открыл глаза. Металлический край кровати превратился в прижатое к нему тело Клары. Было темно. Он ничего не видел. Протянув руку, он дотронулся до нее и почувствовал, как шевельнулся ребенок. Пларр коснулся пальцем ее лица. Глаза у нее были

открыты. Он спросил:

– Ты не спишь?

Но она не ответила. Тогда он спросил:

– Что-нибудь случилось?

Она сказала:

– Я не хочу, чтобы Чарли вернулся, но и не хочу, чтобы он умер.

Его удивило, что она проявила какое-то чувство. Она не выказала ни малейшего чувства, когда сидела и слушала полковника Переса, а в разговоре с ним самим после того, как Перес ушел, вспомнила только о «кадиллаке» и о пропаже очков от Грубера.

– Он так хорошо ко мне относился, – сказала она. – Он очень добрый. Я не хочу, чтобы его мучили. Я только хочу, чтобы его здесь не было.

Он стал гладить ее, как гладил бы напуганную собачонку, и потихоньку, ненамеренно они обнялись. Он не чувствовал вожделения и, когда она застонала, не почувствовал и торжества.

Пларр с грустью подумал: почему я когда-то так этого хотел? Почему я думал, что это будет победой? Играть в эту игру не было смысла, ведь теперь он знал, какие ходы ему надо сделать, чтобы выиграть. Ходами были сочувствие, нежность, покой – подделки под любовь. А его привлекало в ней ее безразличие, даже враждебность. Она попросила:

– Останься со мной на ночь.

– Разве я могу? Служанка узнает. А вдруг она расскажет Чарли?

– Я могу уйти от Чарли.

– Слишком рано об этом думать. Надо прежде его как-нибудь спасти.

– Конечно, но потом...

– Ты ведь только что о нем беспокоилась.

– Не о нем, – сказала она. – О себе. Когда он здесь, я ни о чем не могу разговаривать, только о ребенке. Ему хочется забыть, что сеньора Санчес вообще существует, поэтому я не могу видаться с подругами, ведь они все там работают. А что ему за радость от меня? Он со мной больше не бывает, боится, что это повредит ребенку. Как? Иногда меня так и тянет ему сказать: ведь все равно он не твой, чего ты так о нем заботишься?

– А ты уверена, что ребенок не его?

– Уверена. Может, если бы он о тебе узнал, он бы меня отпустил.

– А кто сюда недавно приходил?

– Два репортера.

– Ты с ними разговаривала?

– Они хотели, чтобы я обратилась с воззванием к похитителям – в защиту Чарли. Я не знала, что им сказать. Одного из них я видела раньше, он иногда меня брал, когда я жила у сеньоры

Санчес. По-моему, он рассердился из-за ребенка. Наверное, про ребенка ему рассказал полковник Перес. Говорит, ребенок – вот еще новость! Он-то думал, что нравится мне больше других мужчин. Поэтому считает, что оскорблен его machismo. Такие, как он, всегда верят, когда ты представляешься. Это тешит их гордость. Он хотел показать своему приятелю-фотографу, что между нами что-то есть, но ведь ничего же нет! Ничего. Я разозлилась и заплакала, и они меня сняли на фото. Он сказал: «Хорошо! О'кей! Хорошо! Как раз то, что нам надо. Убитая горем жена и будущая мать». Он так сказал, а потом они уехали.

Причину ее слез было нелегко понять. Плакала ли она по Чарли, со злости или по себе самой?

– Ну и странный же ты зверек, Клара, – сказал он.

– Я сделала что-нибудь не так?

– Ты же сейчас опять разыгрывала комедию, правда?

– Что ты говоришь? Какую комедию?

– Когда мы с тобой занимались любовью.

– Да, – сказала она, – разыгрывала. А я всегда стараюсь делать то, что тебе нравится. Всегда стараюсь говорить то, что тебе нравится. Да. Как у сеньоры Санчес. Почему же нет? Ведь у тебя тоже есть твой machismo.

Он почти ей поверил. Ему хотелось верить. Если она говорит правду, все еще осталось что-то неизведанное, игра еще не кончена.

– Куда ты идешь?

– Я и так тут потратил чересчур много времени. Наверное, я все же как-то могу помочь Чарли.

– А мне? А как же я?

– Тебе лучше принять ванну, – сказал он. – А то твоя служанка по запаху догадается, чем мы занимались.

2

Доктор Плarr поехал в город. Он твердил себе, что надо немедленно чем-то помочь Чарли, но не представлял себе, чем именно. Может, если он промолчит, дело будет улажено в обычном порядке: английский и американский послы окажут необходимое дипломатическое давление, Чарли Фортнума как-нибудь утром обнаружат в одной из церквей, и он отправится домой... домой?... а десять узников в Парагвае будут отпущены на свободу... не исключено, что среди них окажется и его отец. Что он может сделать кроме того, чтобы дать событиям идти своим ходом? Он ведь уже солгал полковнику Пересу, значит, он замешан в этом деле.

Конечно, чтобы облегчить совесть, можно обратиться с прочувствованной просьбой к Леону Ривасу отпустить Чарли Фортнума «во имя былой дружбы». Но Леон себе не хозяин, да к

тому же доктор Пларр не очень хорошо себе представлял, как его найти. В квартале бедноты все топкие дороги похожи одна на другую, повсюду растут деревья авокадо, стоят одинаковые глинобитные или жестяные хижины и дети со вздутыми животами таскают канистры с водой. Они уставятся на него бессмысленными глазами, уже зараженными трахомой, и будут молчать в ответ на все его вопросы. Он потратит часы, если не дни, чтобы отыскать хижину, где прячут Чарли Фортнума, а что в любом случае даст его вмешательство? Он тщетно пытался уверить себя, что Леон не из тех, кто совершает убийства, да и Акуино тоже, но они только орудия – там ведь есть еще этот никому не известный Эль Тигре, кем бы он ни был.

Пларр впервые услышал об Эль Тигре вечером, когда прошел мимо Леона и Акуино, сидевших рядышком в его приемной. Они были такими же для него посторонними, как и другие пациенты, и он на них даже не взглянул. Всеми, кто сидел в приемной, должна была заниматься его секретарша.

Секретаршей у него служила хорошенькая молодая девушка по имени Ана. Она была умопомрачительно деловита и к тому же дочь влиятельного чиновника из отдела здравоохранения. Доктор Пларр иногда недоумевал, почему его к ней не тянет. Может, его останавливал белый накрахмаленный халат, который она ввела в обиход по своей инициативе, – если до нее дотронешься, он, глядишь, заскрипит или хрустнет, а то и подаст сигнал полиции о налете грабителей. А может, его удерживало высокое положение отца или ее набожность – искренняя или напускная. Она всегда носила на шее золотой крестик, и однажды, проезжая через соборную площадь, он увидел, как она вместе со своей семьей выходит из церкви, неся молитвенник, переплетенный в белую кожу. Это мог быть подарок к первому причастию, так он был похож на засахаренный миндаль, который раздают в подобных случаях.

В тот вечер, когда к нему пришли на прием Леон и Акуино, он отпустил остальных больных, прежде чем очередь дошла до этих двух незнакомцев. Он их не помнил, ведь его внимания постоянно требовали все новые лица. Терпение и терапия – тесно связанные друг с другом слова. Секретарша подошла к нему, потрескивая крахмалом, и положила на стол листок.

– Они хотят пройти к вам вместе, – сказала она.

Пларр ставил на полку медицинский справочник, в который часто заглядывал при больных: пациенты почему-то больше доверяли врачу, если видели картинки в красках – эту особенность человеческой психологии отлично усвоили американские издатели. Когда он повернулся, перед его столом стояли двое мужчин. Тот, что пониже, с торчащими ушами, спросил:

– Ведь ты же Эдуардо, верно?

– Леон! – воскликнул Пларр. – Ты Леон Ривас? – Они неловко обнялись. Пларр спросил: – Сколько же прошло лет?.. Я ничего о тебе не слышал с тех пор, как ты пригласил меня на свое рукоположение. И очень жалел, что не смог приехать на церемонию, для меня это было бы небезопасно.

– Да ведь с этим все равно покончено.

– Почему? Тебя прогнали?

– Во-первых, я женился. Архиепископу это не понравилось.

Доктор Пларр промолчал.

Леон Ривас сказал:

– Мне очень повезло. Она хорошая женщина.

– Поздравляю. Кто же в Парагвае отважился освятить твой брак?

– Мы дали обет друг другу. Ты же знаешь, в брачном обряде священник всего-навсего свидетель. В экстренном случае... а это был экстренный случай.

– Я и забыл, что бывает такой простой выход.

– Ну, можешь поверить, не так-то это было просто. Тут надо было все хорошенько обдумать. Наш брак более нерушим, чем церковный. А друга моего ты узнал?

– Нет... по-моему... нет...

Доктору Пларру захотелось содрать с лица другого жидкую бородку, тогда бы он, наверное, узнал кого-нибудь из школьников, с которыми много лет назад учился в Асунсьоне.

– Это Акуино.

– Акуино? Ну как же, конечно, Акуино! – Они снова обнялись, это было похоже на полковую церемонию: поцелуй в щеку и медаль, выданная за невозвратное прошлое в разоренной стране. Он спросил: – А ты что теперь делаешь? Ты же собирался стать писателем. Пишешь?

– В Парагвае больше не осталось писателей.

– Мы увидели твое имя на пакете в лавке у Грубера, – сообщил Леон.

– Он мне так и сказал, но я подумал, что вы полицейские агенты оттуда.

– Почему? За тобой следят?

– Не думаю.

– Мы ведь действительно пришли оттуда.

– У вас неприятности?

– Акуино был в тюрьме, – сказал Леон.

– Тебя выпустили?

– Ну, власти не так уж настаивали на моем уходе, – сказал Акуино.

– Нам повезло, – объяснил Леон. – Они перевозили его из одного полицейского участка в другой, и завязалась небольшая перестрелка, но убит был только тот полицейский, которому мы обещали заплатить. Его случайно подстрелили их же люди. А мы ему дали только половину суммы в задаток, так что Акуино достался нам по дешевке.

– Вы хотите здесь поселиться?

– Нет, поселиться мы не хотим, – сказал Леон. – У нас тут есть дело. А потом мы вернемся к себе.

– Значит, вы пришли ко мне не как больные?

– Нет, мы не больные.

Доктор Пларр понимал всю опасность перехода через границу. Он встал и отворил дверь.

Секретарша стояла в приемной возле картотеки. Она сунула одну карточку на место, потом положила другую. Крестик раскачивался при каждом движении, как кадилница. Доктор затворил дверь. Он сказал:

– Знаешь, Леон, я не интересуюсь политикой. Только медициной. Я не пошел в отца.

– А почему ты живешь здесь, а не в Буэнос-Айресе?

– В Буэнос-Айресе дела у меня шли неважно.

– Мы думали, тебе интересно знать, что с твоим отцом?

– А вы это знаете?

– Надеюсь, скоро сможем узнать.

Доктор Пларр сказал:

– Мне, пожалуй, лучше завести на вас истории болезни. Тебе, Леон, запишу низкое кровяное давление, малокровие... А тебе, Акуино, пожалуй, мочевого пузыря... Назначу на рентген. Моя секретарша захочет знать, какой я вам поставил диагноз.

– Мы думаем, что твой отец еще, может быть, жив, – сказал Леон. – Поэтому, естественно, вспомнили о тебе...

В дверь постучали, и в кабинет вошла секретарша.

– Я привела в порядок карточки. Если вы разрешите, я теперь уйду...

– Возлюбленный дожидается?

Она ответила:

– Ведь сегодня суббота, – словно это должно было все ему объяснить.

– Знаю.

– Мне надо на исповедь.

– Ага, простите, Ана. Совсем забыл. Конечно, ступайте. – Его раздражало, что она не кажется ему привлекательной, поэтому он воспользовался случаем ее подразнить. – Помолитесь за меня, – сказал он.

Она пропустила его зубоскальство мимо ушей.

– Когда кончите осмотр, оставьте их карточки у меня на столе.

Халат ее захрустел, когда она выходила из комнаты, как крылья майского жука.

Доктор Пларр сказал:

– Сомневаюсь, чтобы ей долго пришлось исповедоваться.

– Те, кому не в чем каяться, всегда отнимают больше времени, – сказал Леон Ривас. – Хотят ублажить священника, подольше его занять. Убийца думает только об одном, поэтому забывает все остальное, может грехи и почище. С ним мало возни.

– А ты все еще разговариваешь как священник. Почему ты женился?

– Я женился, когда утратил веру. Человеку надо что-то беречь.

– Не представляю себе тебя неверующим.

– Я говорю ведь только о вере в церковь. Или скорее в то, во что они ее превратили. Я, конечно, убежден, что когда-нибудь все станет лучше. Но я был рукоположен, когда папой был Иоанн [Иоанн XXIII (1881-1963); избран папой в 1958 году]. У меня не хватает терпения ждать другого Иоанна.

– Перед тем, как идти в священники, ты собирался стать abogado. А кто ты сейчас?

– Преступник, – сказал Леон.

– Шутишь.

– Нет. Поэтому я к тебе и пришел. Нам нужна твоя помощь.

– Хотите ограбить банк? – спросил доктор.

Глядя на эти торчащие уши и после всего, что он о нем узнал, Пларр не мог принимать Леона всерьез.

– Ограбить посольство, так, пожалуй, будет вернее.

– Но я же не преступник, Леон. – И тут же поправился: – Если не считать парочки аборт. – Ему хотелось поглядеть, не дрогнет ли священник, но тот и глазом не моргнул.

– В дурно устроенном обществе, – сказал Леон Ривас, – преступниками оказываются честные люди.

Фраза прозвучала чересчур гладко. Видно, это была хорошо известная цитата. Доктор Пларр вспомнил, что Леон сперва изучал книги по юриспруденции – как-то раз он ему объяснил, что такое гражданское правонарушение. Потом на смену им пошли труды по теологии. Леон умел при помощи высшей математики придать достоверность даже троице. Наверное, и в его новой жизни тоже есть свои учебники. Может быть, он цитирует Маркса?

– Новый американский посол собирается в ноябре посетить север страны, – сказал Леон. – У тебя есть связи, Эдуардо. Все, что нам требуется, – это точный распорядок его визита.

– Я не буду соучастником убийства.

– Никакого убийства не будет. Убийство нам ни к чему. Акуино, расскажи, как они с тобой обращались.

– Очень просто, – сказал Акуино. – Совсем несовременно. Без всяких электрических штук. Как conquistadores [конкистадоры (исп.)] обходились ножом...

Доктора Пларра мучило, когда он его слушал. Он был свидетелем многих неприятных смертей, но почему-то переносил их спокойнее. Можно было что-то сделать, чем-то помочь. Его тошнило от этого рассказа, как когда-то, когда много лет назад он анатомировал мертвеца с учебной целью. Только когда имеешь дело с живой плотью, не теряешь любопытства и надежды. Он спросил:

– И ты им ничего не сказал?

– Конечно, сказал, – ответил Акуино. – У них все это занесено в картотеку. Сектор ЦРУ по борьбе с партизанами остался мною очень доволен. Там были два их агента, и они дали мне три пачки «Лаки страйк». По пачке за каждого человека, которого я выдал.

– Покажи ему руку, Акуино, – сказал Леон.

Акуино положил правую руку на стол, как пациент, пришедший к врачу за советом. На ней не хватало трех пальцев; рука без них выглядела как нечто вытасченное сетью из реки, где разбойничали угри. Акуино сказал:

– Вот почему я начал писать стихи. Когда у тебя только левая рука, от стихов не так устаешь, как от прозы. К тому же их можно запомнить наизусть. Мне разрешали свидание раз в три месяца (это еще одна награда, которую я заслужил), и я читал ей свои стихи.

– Хорошие были стихи, – сказал Леон. – Для начинающего. Что-то вроде «Чистилища» в стиле villancico [старинные испанские народные песни, нечто вроде рождественских колядок (исп.)].

– Сколько тут вас? – спросил доктор Пларр.

– Границу перешло человек двенадцать, не считая Эль Тигре. Он уже находился в Аргентине.

– А кто он такой, ваш Эль Тигре?

– Тот, кто отдает приказания. Мы его так прозвали, но это просто ласковая кличка. Он любит носить полосатые рубашки.

– Безумная затея, Леон.

– Такие вещи уже проделывали.

– Зачем похищать здешнего американского посла, а не того, что у вас в Асунсьоне?

– Сперва мы так и задумали. Но Генерал принимает большие предосторожности. А здесь, сам знаешь, после провала в Сальте гораздо меньше опасаются партизан.

– Но тут вы все же в чужой стране.

– Наша страна – Южная Америка, Эдуардо. Не Парагвай. И не Аргентина. Знаешь, что сказал Че Гевара? «Моя родина – весь континент». А ты кто? Англичанин или южноамериканец?

Доктор Пларр и сейчас помнил этот вопрос, но, проезжая мимо белой тюрьмы в готическом стиле при въезде в город, которая всегда напоминала ему сахарные украшения на свадебном торте, по-прежнему не смог бы на него ответить. Он говорил себе, что Леон Ривас – священник, а не убийца. А кто такой Акуино? Акуино – поэт. Ему было бы гораздо легче поверить, что Чарли Фортнуму не грозит гибель, если бы он не видел, как тот в беспомощности лежит на ящике такой странной формы, что он мог оказаться и гробом.

3

Чарли Фортнум очнулся с такой жестокой головной болью, какой он у себя еще не помнил. Глаза резало, и все вокруг он видел как в тумане. Он прошептал: «Клара» – и протянул руку, чтобы до нее дотронуться, но наткнулся на глинобитную стену. Тогда в его сознании возник доктор Пларр, который ночью стоял над ним, светя электрическим фонариком. Доктор рассказывал ему какую-то чушь о якобы происшедшем с ним несчастном случае.

Сейчас был уже день. В щель под дверь в соседнюю комнату, падая на пол, пробивался солнечный свет, и, несмотря на резь в глазах, он видел, что это не больница. Да и жесткий ящик, на котором он лежал, не был похож на больничную койку. Он спустил ноги и попытался встать. Голова закружилась, и он чуть не упал. Схватившись за край ящика, он обнаружил, что всю ночь пролежал на перевернутом гробе. Это, как он любил выражаться, просто его оgoroшило.

– Тед! – позвал он.

Доктора Пларра он не представлял себе способным на розыгрыши, но тут требовались объяснениями ему хотелось поскорее назад, к Кларе. Клара перепугается. Клара не будет знать, что делать. Господи, она ведь боится даже позвонить по телефону.

– Тед! – прохрипел он снова.

Виски еще никогда на него так не действовало, даже местное пойло. С кем же, дьявол его побери, он пил и где? Мейсон, сказал он себе, а ну-ка, не распускайся. Он всегда сваливал на Мейсона худшие свои ошибки и недостатки. В детстве, когда он еще ходил на исповедь, это Мейсон вставал на колени в исповедальне и бормотал заученные фразы о плотских прегрешениях, но из кабинки выходил уже не он, а Чарли Фортнум, после того как Мейсону были отпущены его грехи, и лицо его сияло блаженством.

– Мейсон, Мейсон, – шептал он теперь, – ах ты, сопляк несчастный, что же ты вчера вытворял?

Он знал, что, выпив лишнее, способен забыть, что с ним было, но до такой степени все забыть ему еще не приходилось... Спотыкаясь, он шагнул к двери и в третий раз окликнул доктора Пларра.

Дверь толчком распахнулась, и оттуда появился какой-то незнакомец, помахивая автоматом. У него были узкие глаза, угольно-черные волосы, как у индейца, и он закричал на Фортнума на гуарани. Фортнум, несмотря на сердитые уговоры отца, удосужился выучить всего несколько слов на гуарани, но тем не менее понял, что человек приказывает ему снова лечь на так называемую кровать.

– Ладно, ладно, – сказал по-английски Фортнум – незнакомец так же не мог его понять, как он гуарани. – Не кипятись, старик. – Он с облегчением сел на гроб и сказал: – Ну-ка, мотай отсюда.

В комнату вошел другой незнакомец, голый до пояса, в синих джинсах, и приказал индейцу выйти. Он внес чашку кофе. Кофе пах домом, и у Чарли Фортнума стало полегче на душе. У человека торчали уши, и Чарли припомнился соученик по школе, которого Мейсон за это безбожно дразнил, хотя Фортнум потом раскаивался и отдавал жертве половину своей шоколадки. Воспоминание вселило в него уверенность. Он спросил:

– Где я?

– Все в порядке, успокойтесь, – ответил тот и протянул ему кофе.

– Мне надо поскорей домой. Жена будет волноваться.

– Завтра. Надеюсь, завтра вы сможете уехать.

– А кто тот человек с автоматом?

– Мигель. Он человек хороший. Пожалуйста, выпейте кофе. Вы почувствуете себя лучше.

– А как вас зовут? – спросил Чарли Фортнум.

– Леон.

– Я спрашиваю, как ваша фамилия?

– Тут у нас ни у кого нет фамилий, так что мы люди без роду, без племени.

Чарли Фортнум попытался разжевать это сообщение, как непонятную фразу в книге; но, и прочтя ее вторично, так ничего и не понял.

– Вчера вечером здесь был доктор Пларр, – сказал он.

– Пларр? Пларр? По-моему, я никого по имени Пларр не знаю.

– Он мне сказал, что я попал в аварию.

– Это сказал вам я.

– Нет, не вы. Я его видел. У него в руках был электрический фонарь.

– Он вам приснился. Вы пережили шок... Ваша машина серьезно повреждена. Выпейте кофе, прошу вас... Может, тогда вы вспомните все, что было, яснее.

Чарли Фортнум послушался. Кофе был очень крепкий, и в голове у него действительно прояснилось. Он спросил:

– А где посол?

– Я не знаю ни о каком после.

– Я оставил его в развалинах. Хотел повидать жену до обеда. Убедиться, что она хорошо себя чувствует. Я не люблю ее надолго оставлять. Она ждет ребенка.

– Да? Для вас это, наверное, большая радость. Хорошо быть отцом.

– Теперь вспоминаю. Поперек дороги стояла машина. Мне пришлось остановиться. Никакой аварии не было. Я уверен, что никакой аварии не было. А зачем автомат? – Рука его слегка дрожала, когда он подносил ко рту кофе. – Я хочу домой.

– Пешком отсюда слишком далеко. Вы для этого еще недостаточно окрепли. А потом вы же не знаете дорогу.

– Дорогу я найду. Могу остановить любую машину.

– Лучше вам сегодня отдохнуть. После перенесенного удара. Завтра мы, может, найдем для вас какое-нибудь средство передвижения. Сегодня это невозможно.

Фортнум плеснул остаток своего кофе ему в лицо и кинулся в другую комнату. Там он остановился. В десятке шагов от него, у входной двери, стоял индеец, направив автомат ему в живот. Темные глаза блестели от удовольствия – он водил автоматом то туда, то сюда, словно выбирал место между пупком и аппендиксом. Он сказал что-то забавное на гуарани.

Человек по имени Леон вышел из задней комнаты.

– Видите? – сказал он. – Я же вам говорил. Сегодня уехать вам не удастся. – Одна щека у него была красная от горячего кофе, но говорил он мягко, без малейшего гнева. У него было терпение человека, больше привыкшего выносить боль, чем причинять ее другим.

– Вы, наверное, проголодались, сеньор Фортнум. Если хотите, у нас есть яйца.

– Вы знаете, кто я такой?

– Да, конечно. Вы – британский консул.

– Что вы собираетесь со мной делать?

– Вам придется какое-то время побыть у нас. Поверьте, мы вам не враги, сеньор Фортнум. Вы нам поможете избавить невинных людей от тюрьмы и пыток. Наш человек в Росарио уже позвонил в «Насьон» и сказал, что вы находитесь у нас.

Чарли Фортнум начал кое-что понимать.

– Ага, вы, как видно, по ошибке схватили не того, кого надо? Вам нужен был американский посол?

– Да, произошла досадная ошибка.

– Большая ошибка. Никто не станет морочить себе голову из-за Чарли Фортнума. А что вы тогда будете делать?

Человек сказал:

– Уверен, что вы ошибаетесь. Вот увидите. Все будет в порядке. Английский посол переговорит с президентом. Президент поговорит с Генералом. Он сейчас тут, в Аргентине, отдыхает. Вмешается и американский посол. Мы ведь всего-навсего просим Генерала выпустить нескольких человек. Все было бы так просто, если бы один из наших людей не совершил ошибки.

– Вас подвели неверные сведения, правда? С послом ехали двое полицейских. И его секретарь. Поэтому мне не нашлось места в его машине.

– Мы бы с ними справились.

– Ладно. Давайте ваши яйца, – сказал Чарли Фортнум, – но скажите этому Мигелю, чтобы он убрал свой автомат. Портит мне аппетит.

Человек по имени Леон опустился на колени перед маленькой спиртовкой, стоявшей на глиняном полу, и стал возиться со спичками, сковородой и кусочком топленого сала.

– Я бы выпил виски, если оно у вас есть.

– Прошу извинить. У нас нет никакого алкоголя.

На сковороде запузырилось сало.

– Вас ведь зовут Леон, а?

– Да. – Человек разбил о край сковороды одно за другим два яйца. Когда он держал половинки скорлупы над сковородой, пальцы его чем-то напомнили Фортнуму жест священника у алтаря, ломающего облатку над потиром.

– А что вы будете делать, если они откажутся?

– Я молю бога, чтобы они согласились, – сказал человек на коленях. – Надеюсь, что они согласятся.

– Тогда и я надеюсь, что бог вас услышит, – сказал Чарли Фортнум. – Не пережарьте яичницу.

Ближе к вечеру Чарли Фортнум услышал о себе официальное сообщение. Леон в полдень включил портативный приемник, но батарейка отказала посреди передачи индейской музыки, а запасной у него не было. Молодой человек с бородкой, которого Леон звал Акуино, пошел за батарейками в город. Его долго не было. С базара пришла женщина, принесла продукты и сварила им еду – овощной суп с несколькими кусочками мяса. Она стала энергично наводить в хижине порядок, поднимая пыль в одном углу, после чего та сразу же оседала в другом. У нее была копна нечесаных черных волос и бородавка на лице, к Леону она обращалась с угодливой фамильярностью. Он звал ее Мартой.

Смущаясь присутствием женщины, Чарли Фортнум признался, что ему нужно в уборную. Леон приказал индейцу отвести его на двор в кабинку за хижинкой. На двери уборной не хватало петли, и она не затворялась, а внутри была лишь глубокая яма, на которую набросили парочку досок. Когда он оттуда вышел, индеец сидел в нескольких шагах и поигрывал автоматом, нацеливаясь то в дерево, то в пролетающую птицу, то в бродячую дворнягу. Сквозь деревья Чарли Фортнум разглядел другую хижину, еще более жалкую, чем та, куда он возвращался. Он подумал, не побежать ли туда за помощью, но не сомневался, что индеец будет только рад пустить оружие в ход. Вернувшись, он сказал Леону:

– Если вы сможете достать парочку бутылок виски, я за них заплачу.

Кошелек его, как он заметил, никто и не думал красть, и он вынул оттуда нужную сумму.

Леон передал деньги Марте.

– Придется потерпеть, сеньор Фортнум, – сказал он. – Акуино еще не вернулся. А пока он не придет, никто из нас уйти не может. Да и до города не близко.

– Я заплачу за такси.

– Боюсь, что ничего не выйдет. Тут нет такси.

Индеец снова сел на корточки у двери.

– Я немного посплю, – сказал Фортнум. – Вы мне вкатили сильное снотворное.

Он пошел в заднюю комнату, растянулся на гробе и попытался уснуть, но мысли мешали ему спать. Его беспокоило, как Клара управляется в его отсутствие. Он ни разу не оставлял ее на целую ночь одну. Чарли ничего не смыслил в деторождении, он боялся, что потрясение или даже беспокойство могут дурно отразиться на еще не родившемся ребенке. После женитьбы на Кларе он даже пытался поменьше пить – если не считать той первой брачной ночи с виски и шампанским в отеле «Италия» в Росарио, когда они впервые могли остаться наедине без помехи; отель был старомодный, и там приятно пахло давно осевшей пылью, как в старинных книгохранилищах.

Он остановился там потому, что боялся, как бы Клару не испугал отель «Ривьера» – новый, роскошный, с кондиционерами. Ему надо было выправить кое-какие бумаги в консульстве на Санта-Фе, 9-39 (он запомнил номер, потому что это была цифра месяца и года его первого брака), бумаги, которые, если поступит запрос, докажут, что никаких препятствий к его второму браку не существует; не одна неделя прошла, прежде чем он получил копию свидетельства о смерти Эвелин из маленького городка Айдахо. К тому же в сейфе консульства он оставил в запечатанном конверте свое завещание. Консулом тут был симпатичный человек средних лет. Почему-то речь у них зашла о лошадях, и они с Чарли Фортнумом сразу нашли общий язык. После гражданской и религиозной церемоний консул

пригласил молодоженов к себе и откупорил бутылку настоящего французского шампанского. Эта скромная выпивка среди канцелярских шкафов выгодно отличалась от приема в Айдахо после его первой женитьбы. Он с ужасом вспоминал белый торт и родственников жены в темных костюмах и даже с крахмальными воротничками, хотя брак был гражданский и в Аргентине его бы вообще не считали за брак. Вернувшись домой, они с женой вели себя осторожно и никому об этом не рассказывали. Венчаться по католическому обряду жена не пожелала из-за своих убеждений. Она состояла в секте христианской науки. К тому же гражданский брак ставил под угрозу ее наследные права, что тоже было унижительно. Чарли хотел, чтобы положение Клары было надежным: второй его брак должен был покоиться на прочном фундаменте.

Через какое-то время он погрузился в глубокий сон без всяких сновидений, разбудило его радио из соседней комнаты, которое то и дело повторяло его имя: сеньор Карлос Фортнум. «Полиция, – сообщил диктор, – считает, что его, вероятно, увезли в Росарио, было установлено, что телефонный звонок в „Насьон“ был оттуда». В городе с более чем полумиллионным населением нельзя произвести повальные обыски, а похитители дали властям только четыре дня на удовлетворение предъявленных ими требований. Чарли Фортнум подумал, что один из этих четырех дней уже прошел; Клара, конечно, слушает передачу, но, слава богу, рядом с ней Тед, он ее успокоит. Тед знает, что произошло. Тед к ней поедет. Тед уж как-нибудь постарается, чтобы она не волновалась. Тед скажет ей, что, даже если его убьют, ей нечего опасаться. Она так страшилась своего прошлого; он это видел по тому, что она никогда о нем не поминала. Это и было одной из причин, почему он на ней женился; он хотел ее убедить, что ей никогда и ни при каких обстоятельствах не придется вернуться назад к матушке Санчес. Он даже чересчур рьяно о ней заботился, как неуклюжий человек, который держит в руках чужую и очень хрупкую вещь. Его донимал постоянный страх, как бы не нарушить ее душевный покой. По радио заговорили об аргентинской футбольной команде, разъезжавшей по Европе.

– Леон! – позвал он.

Маленький человек с ушами как у летучей мыши и внимательным взглядом хорошего слуги заглянул в дверь. Он сказал:

– Долго же вы спали, сеньор Фортнум. Это очень хорошо.

– Я слышал радио, Леон.

– Ах да. – В руке Леон нес стакан, под мышками у него торчали две бутылки виски. – Жена принесла из города две бутылки, – сказал он и, с гордостью их показав (марка виски была аргентинская), тщательно отсчитал сдачу. – Вы только успокойтесь. Через несколько дней все будет кончено.

– В том смысле, что меня прикончат? Дайте-ка мне виски.

Он налил треть стакана и выпил.

– Уверен, еще сегодня сообщат, что они приняли наши условия. И тогда завтра вечером вы сможете отправиться домой.

Чарли Фортнум налил себе еще порцию виски.

– Вы чересчур много пьете, – заботливо упрекнул его человек, которого звали Леон.

– Нет. Я свою норму знаю. А тут главное – знать свою норму. Как ваша фамилия, Леон?

– Я же вам говорил, что у меня нет фамилии.

– Но духовный сан-то у вас есть? Скажите, что вы делаете в этой компании, отец Леон?

Он мог поклясться, что уши у того дрогнули, как у пса, услышавшего знакомый окрик: только слово «отец» заменило «гулять» или «кошка».

– Вы ошибаетесь. Вы же видели мою жену, Марту. Она принесла вам виски.

– Но священник всегда остается священником, отец мой. Я вас разгадал, когда вы разбивали над сковородкой яйца. Так и вижу вас возле алтаря.

– Вы это придумали, сеньор Фортнум.

– Да, но что придумали вы? За посла вы могли бы получить хороший выкуп, а за меня – шиш. Никто за меня и песо не даст, кроме моей жены. Странно, если священник станет убийцей, но, вероятно, для этой работы вы найдете кого-нибудь другого.

– Нет, – с глубочайшей серьезностью возразил Леон, – если, не дай бог, до этого дело дойдет, я возьму все на себя. Вину ни на кого перекладывать не буду.

– Тогда мне лучше оставить вам немного виски. Рекомендую прежде выпить глоток... через сколько дней они сказали, кажется через три?

Собеседник отвел глаза. Вид у него был испуганный. Шаркая, он сделал два шага к двери, словно отходил от алтаря и боялся наступить на подол слишком длинного облачения.

– Посидели бы вы, поболтали со мной, – сказал Чарли Фортнум. – Я больше боюсь, когда один. Вам мне признаться не стыдно. Если нельзя сказать священнику, кому же тогда можно? А вот тот индеец... Он глазеет на меня и улыбается. Ему охота убивать.

– Ошибаетесь, сеньор Фортнум. Мигель – человек хороший. Он просто не понимает по-испански и улыбается, чтобы показать, как он хорошо к вам относится. Попробуйте еще поспать.

– Хватит, выспался. Мне хочется с вами поговорить.

Человек развел руками, и Чарли Фортнум представил себе его в церкви делающим ритуальные жесты.

– У меня много дел.

– А я ведь могу вас удержать, если захочу.

– Нет, нет! Мне необходимо уйти.

– Могу вас удержать. Запросто. Знаю как.

– Обещаю, что скоро вернусь.

– Чтобы вас удержать, мне ведь только надо сказать: отец мой, я хочу исповедаться.

Человек застрял в пролете двери спиной к нему. Его голова с торчащими ушами напоминала церковную кружку, зажатую в руках.

– С тех пор как я в последний раз исповедался, отец...

Человек обернулся и сердито сказал:

– Такими вещами не шутят. Если вы будете шутить, я вас слушать не стану...

– Да это вовсе не шутки, отец мой. И не в том я положении, чтобы шутить по какому бы то ни было поводу. Право же, когда человек вот-вот умрет, ему есть в чем покаяться.

– Я лишен своего сана, – упрямо возразил его собеседник. – Если вы действительно католик, то должны понимать, что это значит.

– Я, кажется, лучше вас знаю правила, отец мой. При чрезвычайных обстоятельствах, если под рукой нет другого священника – а ведь тут его нет, правда? – соблюдать формальности не нужно. Ваши люди ведь не позволят никого сюда привести...

– Никаких чрезвычайных обстоятельств пока что нет.

– Все равно времени осталось немного... и если я прошу...

Этот человек снова напомнил ему собаку, собаку, которую обругали, а за что, она и сама толком не понимала.

– Сеньор Фортнум, поверьте мне, – взмолился он, – чрезвычайных обстоятельств не будет... и вам никогда не понадобится...

– «Господи, прости нам грехи наши» – так, кажется, полагается начать? Черт те сколько времени прошло... За последние сорок лет я только раз был в церкви... не так давно, когда женился. Но на исповедь не ходил, вот уж чего не было! Чересчур много надо на это времени, нехорошо заставлять даму ждать.

– Прошу вас, сеньор Фортнум, не смейтесь надо мной!

– Да я не над вами смеюсь, отец мой. Может, немножко смеюсь над собой. Пока действует виски, еще могу. – Он добавил: – Смешно ведь, если вдуматься: «Ныне к вам прибегаю, да избавите душу мою от муки вечные...» Ведь такова, кажется, формула? А у вас все время револьвер наготове. Вам не кажется, что нам лучше начать сейчас? Пока револьвер не заряжен. У меня столько накопилось на душе.

– Я не буду вас слушать. – Он поднял руки к своим оттопыренным ушам. Уши прижались к черепу и тут же отскочили обратно.

Чарли Фортнум его успокоил:

– Да не переживайте, ладно вам. Я же несерьезно. И какое это имеет значение?

– В каком смысле?

– Я ведь, отец мой, ни во что не верю. И не стал бы венчаться в церкви, если бы не законы эти. Вопрос был в деньгах. Для моей жены. А из каких побуждений вы-то женились? – Он быстро поправился: – Извините. Я не имел права это спрашивать.

Но человек, по-видимому, не рассердился. Вопрос даже чем-то, казалось, его заинтересовал. Он медленно пересек комнату, приоткрыв рот, как умирающий с голоду, который тянется к куску хлеба. В уголках рта скопилось немного слюны. Он подошел и присел на корточки возле гроба. А потом тихо произнес (можно было подумать, что он сам стоит на коленях в исповедальне):

– Думаю, что от злости и одиночества, сеньор Фортнум. Я не хотел причинить вред этой бедной женщине.

– Одиночество – это мне понятно, – сказал Чарли Фортнум. – И я от него страдал. Но при чем тут злость? На кого вы были злы?

– На церковь, – сказал тот и добавил с насмешкой: – На мать мою церковь.

– Я бывал зол на своего отца. Мне казалось, он меня не понимает и на меня плюет. Я его ненавидел. И тем не менее мне стало очень тоскливо, когда он умер. А теперь... – и он поднял свой стакан, – я ему даже подражаю. Хотя пил он больше, чем я. Все равно отец есть отец, но я не понимаю, как можно питать злобу к матери нашей церкви. Я бы никогда не мог разозлиться на учреждение, хоть и самое дерьмовое.

– Она ведь ипостась, – сказал тот, – утверждают, что она – ипостась Христа на земле, я даже и сейчас немножко в это верю. Такой человек, как вы – un ingles [англичанин (исп.)], – не может понять, как мне было стыдно того, что они заставляли меня читать людям. Я был священником в бедном районе Асунсьона возле реки. Вы заметили, что беднота всегда теснится поближе к реке? Все равно как если бы они собирались в один прекрасный день куда-то уплыть, но плавать не умеют, да и плыть-то им некуда. По воскресеньям я должен был читать им из Евангелия.

Чарли Фортнум слушал его без особого сочувствия, но с весьма хитрым прицелом. Жизнь его зависела от этого человека, и ему было крайне необходимо знать, что им движет. Может быть, ему удастся затронуть какую-то струну взаимопонимания. Человек говорил без умолку, словно жаждущий, который никак не может напиться. Вероятно, ему уже давно не удавалось высказываться начистоту, видно, он только и мог выговориться перед человеком, который все равно умрет и запомнит из того, что он сказал, не больше, чем священник в исповедальне. Чарли Фортнум спросил:

– А чем плохо Евангелие, отец мой?

– Бессмыслица, – сказал бывший священник, – во всяком случае, в Парагвае. «Продай имение твое, и раздай нищим» [Евангелие от Матфея, 19:21] – я должен был им это читать, в то время как тогдашний наш старый архиепископ ел вкусную рыбу из Игуазу и пил французское вино с Генералом. Народ, правда, не подыхал с голоду, ему можно не дать умереть, кормя одной маниокой, а для богачей наше недоедание куда безопаснее голода. Настоящий голод доводит человека до отчаяния. А недоедание так ослабляет, что он не в силах поднять кулак. Американцы отлично это понимают, помощь, которую они нам оказывают, как раз и обеспечивает это состояние. Наш народ не подыхает, он чахнет. Слова «Пустите детей приходите ко мне... ибо таковых есть Царствие Божие» [Евангелие от Луки, 18:16] застывали у меня на языке. Вот передо мной в передних рядах сидят эти дети со вздутыми животами и пупками, торчащими, как дверные ручки. «А кто соблазнит одного из малых сих... тому лучше было бы, если бы...» [Евангелие от Матфея, 18:6] «И отдашь голодному...» [Книга пророка Исаии, 58:10] Что отдашь? Маниоку? А потом я делил между ними облатки, хоть они и не такие питательные, как хорошая лепешка, а вино пил сам. Вино! Кто из этих несчастных когда-нибудь его пробовал? Почему нельзя причащаться водой? Он же причащал ею в Кане Галилейской. А разве во время тайной вечери не стоял кувшин с водой, которую он мог бы пить вместо вина?

К изумлению Чарли Фортнума, его собачьи глаза заблестели непролитыми слезами.

– Только не думайте, – говорил он, – что все такие плохие христиане, как я. Иезуиты делают все, что могут. Но за ними следит полиция. Телефоны их прослушиваются. Если кто-то из них внушает опасение, его живо переправляют за реку. Но не убивают. Янки будут недовольны, если убьют священника, да ведь и не так уж мы опасны. Я как-то в проповеди упомянул об отце Торресе, которого застрелили вместе с партизанами в Колумбии. Только сказал, что не в пример Содому в церкви может найтись хоть один праведник, поэтому ей и не грозит такая участь, как Содому. Полиция донесла об этом архиепископу, и архиепископ запретил мне читать проповеди. Ну что ж, бедняга был уж очень стар, он нравился Генералу и, наверное, думал, что поступает правильно, отдавая кесарю кесарево...

– Все это не моего ума дело, отец, – сказал Чарли Фортнум; приподнявшись на локте, он смотрел вниз на темные волосы, где еще проглядывала былая тонзура, как доисторическое капище в поле, если на него смотреть с самолета. Он вставлял слова «отец мой» при малейшей возможности; его почему-то это ободряло. Отцы обычно не убивают своих сыновей, хотя с Авраамом это чуть было не произошло. – Но я же ни в чем не виноват, отец мой.

– Да я вас и не виню, сеньор Фортнум, боже избави.

– Я понимаю, с вашей точки зрения, похищение американского посла вполне оправданно. Но я... я ведь даже не настоящий консул, да англичан эта ваша борьба и не касается.

Священник рассеянно пробормотал избитую фразу:

– Сказано, что один человек должен пострадать за всех людей...

– Но это сказали не христиане, а те, кто распинал Христа.

Священник поднял на него глаза:

– Да, вы правы. Я это привел, не подумав. Вы, оказывается, знаете Священное писание.

– Не читал его с самого детства. Но такие вещи западают в память. Как Struwpeter [персонаж сказки немецкого писателя Генриха Гофмана (1809-1894), нечто вроде нашего Степки-растрепки].

– Кто-кто?

– Ну, ему еще большие пальцы отрезали.

– Никогда о нем не слышал. Он что, ваш мученик?

– Нет, нет. Это из детской книжки, отец мой.

– У вас есть дети? – резко спросил священник.

– Нет, но я же вам говорил. Через несколько месяцев у меня должен родиться ребенок. Уже здорово брыкается.

– Да, вспомнил. – И добавил: – Не беспокойтесь, скоро вы будете дома. – Эта фраза словно была обведена частоколом вопросительных знаков, и он хотел, чтобы пленник, согласившись, ободрил его самого: «Да, конечно. Само собой».

Однако Чарли Фортнум не пожелал играть в эту игру.

– А к чему этот гроб, отец мой? Жутковато, по-моему.

– На земле спать чересчур сыро, даже если что-нибудь постелить. Мы не хотели, чтобы вы заболели ревматизмом.

– Что же, это очень гуманно, отец мой.

– Мы же не варвары. Тут в квартале есть человек, который делает гробы. Вот мы и купили у него один. Это безопаснее, чем покупать кровать... В квартале на гробы куда больший спрос, чем на кровати. Гроб ни у кого не вызовет интереса.

– И, верно, подумали, что потом он пригодится, чтобы сунуть туда труп?

- Клянусь, этого у нас и в мыслях не было. Но доставать кровать было бы опасно.
- Что ж, пожалуй, я еще немножко выпью. Выпейте со мной, отец мой.
- Нет. Понимаете, я дежурю. Мне надо вас сторожить. – Он робко улыбнулся.
- Ну, с вами было бы нетрудно совладать. Даже такому старику, как я.
- Дежурят у нас всегда двое, – пояснил священник. – Снаружи Мигель с автоматом. Это приказ Эль Тигре. И еще потому, что одного можно уговорить. Или даже подкупить. Все мы только люди. Кто из нас выбрал бы такую жизнь по своей воле?
- Индеец не говорит по-испански?
- Нет, и это тоже хорошо.
- Вы не возражаете, если я немного разомнусь?
- Пожалуйста.

Чарли Фортнум подошел к двери и проверил, правду ли говорит священник. Индеец сидел у двери на корточках, положив на колени автомат. Он заговорщицки улыбнулся Фортнуму, словно оба они знали что-то смешное. И почти неприметно передвинул свой автомат.

- А вы говорите на гуарани, отец мой?
- Да. Я когда-то вел службу на гуарани.

Несколько минут назад между ними возникла близость, симпатия, даже дружба, но все это улетучилось. Когда исповедь окончена, оба – и священник и кающийся – остаются в одиночестве. И если встретятся в церкви, оба сделают вид, будто не знакомы друг с другом. Казалось, что это кающийся стоит сейчас возле гроба, глядя на часы. Чарли Фортнум подумал: он высчитывает, сколько часов еще осталось.

- Может, передумаете и выпьете со мной, отец?
- Нет. Нет, спасибо. Может, когда все кончится... – И добавил: – Он запаздывает. Мне уже давно пора было уйти.
- Кто это «он»?

Священник сердито ответил:

- Я же вам сказал, что у таких, как мы, нет имен.

Темнело, и в проходной комнате, где были закрыты ставни, кто-то зажег свечу. Дверь к нему они оставили открытой, и ему был виден индеец, сидевший с автоматом у порога. Интересно, подумал Чарли, когда настанет его черед спать. Человек по имени Леон давно ушел. Тут был еще и негр, которого он раньше не замечал. Если бы у меня был нож, подумал он, смог бы я проделать в стене дыру, чтобы сбежать?

Человек, которого звали Акуино, внес свечу, держа ее в левой руке. Чарли Фортнум заметил, что правую руку он не вынимает из кармана джинсов. Может, он держит там револьвер... или нож... Он снова стал обдумывать свой явно безнадежный план пробуровать дырку в глинобитной стене. Но в немыслимом положении только и остается, что искать немыслимый выход.

– Где отец? – спросил он.

– У него дела в городе, сеньор Фортнум.

Он заметил, что все они обращаются с ним крайне вежливо, словно пытаются его заверить, будто «во всей этой истории нет ничего личного. Когда она кончится, мы сможем остаться друзьями». Но не исключено, что это обычная вежливость, которую, как говорят, тюремный надзиратель проявляет перед казнью даже к самому отпетому убийце. Люди так же почтительно относятся к смерти, как к знатному незнакомцу, приехавшему в город, пусть даже визит его вовсе нехотел.

Он сказал:

– Я так хочу есть, что, кажется, съел бы вола.

Это было неправдой, но вдруг они так глупы, что дадут ему нож? У него создалось впечатление, что он попал в руки не к профессионалам, а к любителям.

– Потерпите немного, сеньор Фортнум, – сказал Акуино. – Мы ждем Марту. Она обещала сварить похлебку. Готовит она не очень вкусно, но если бы вы посидели в тюрьме, как я...

Он подумал: ага, похлебку. Значит, мне снова дадут только ложку.

– Тут осталось немного виски, – сказал он. – Может, выпьете со мной?

Акуино сказал:

– Нам пить не полагается.

– Капельку, за компанию.

– Ну разве что совсем капельку. Закушу луковицей, Марта принесла их для похлебки. Лук отобьет запах. Огорчать Леона не хочется. Он человек воздержанный, ему так положено, но мы-то, слава богу, не священники. Вы мне слишком много налили, – запротестовал он.

– Много? Да всего половину того, что налил себе. Salud [привет (исп.)].

– Salud.

Он заметил, что Акуино так и не вынул правую руку из кармана.

– А вы кто, Акуино?

– В каком смысле кто?

– Вы рабочий?

– Я преступник, – с гордостью сказал Акуино. – Мы все преступники.

– Это ваше постоянное занятие? – Фортнум поднял стакан, и Акуино последовал его примеру.
– Но ведь не с этого же вы начинали?

– Ну, я, как и все, ходил в школу. Нас там учили священники. Они были хорошие люди, и школа была хорошая. Леон там тоже учился, он хотел стать abogado. А я – писателем. Но ведь и писателю надо на что-то жить, поэтому я стал торговать – продавал на улице американские сигареты. Контрабандные из Панамы. И хорошо зарабатывал... То есть мог позволить себе снять комнату еще с тремя парнями, и у нас хватало денег на chipas. От них здорово толстеешь. Они куда питательнее маниоки.

– У меня за городом имение, – сказал Чарли Фортнум. – Мне был бы очень кстати новый carataz. Вы человек образованный. Вам было бы легко обучиться этому делу.

– Ну, теперь у меня другая работа, – с гордостью заявил Акуино. – Я же вам сказал, что я преступник. И поэт.

– Поэт?

– В школе Леон помогал мне писать. Сказал, что у меня талант; но вот как-то раз в Асунсьоне я послал статью с критикой янки в газету. У нас в стране Генерал запрещает что-нибудь печатать против янки, и после этого они не стали даже читать те статьи, что я им посылал. Подозревали, что там есть какой-то двойной смысл, отчего у них будут неприятности. Решили, что я – politico [политик (исп.)], и что мне тогда оставалось? Я и стал politico. За это они посадили меня в тюрьму. Так всегда бывает, если ты politico и не Колорадо [“Колорадо” – национально-республиканская правительственная партия (основана в 1887 г.), опора диктатуры Стреснера], то есть не из партии Генерала.

– В тюрьме было плохо?

– Еще как плохо, – сказал Акуино. Он вынул правую руку и показал ее Чарли. – Вот тогда я и стал писать стихи. Чтобы научиться писать левой рукой, надо очень много времени, и потом пишешь медленно. А я ненавижу все медленное. Лучше быть мышью, чем черепахой, хотя черепаха и живет гораздо дольше. – После второго глотка виски он стал разговорчивым. – Меня восхищает орел, он камнем падает с неба на жертву, не то что гриф, который, медленно махая крыльями, слетает вниз и поглядывает, совсем ли она подохла. Поэтому я и взялся за стихи. Проза течет медленно, а поэзия падает, как орел, и бьет, прежде чем опомнишься. Конечно, в тюрьме мне не давали ни пера, ни бумаги, но стихи и не надо записывать. Я их заучивал наизусть.

– А стихи были хорошие? – спросил Чарли Фортнум. – Правда, я-то в них не разбираюсь.

– По-моему, кое-какие были хорошие, – сказал Акуино. Он допил виски. – Леон говорил, что некоторые были хорошие. Сказал, что они похожи на стихи какого-то Вийона. Тот тоже был преступником вроде меня.

– Первый раз о нем слышу, – сказал Чарли Фортнум.

– Стих, который я сначала написал в тюрьме, – рассказывал Акуино, – был о нашей самой первой тюрьме, о той, в которой мы все побывали. Знаете, что сказал Троцкий, когда ему показали его новый дом в Мексике? Считалось, что в такой дом не сможет проникнуть убийца. Он сказал: «Напоминает мою первую тюрьму. Двери так же лязгают». У моего стихотворения был рефрен: «Отца я вижу только сквозь решетку». Понимаете, я писал о манежах, куда в буржуазных домах сажают детей. У меня в стихотворении отец преследует сына всю жизнь: сначала он школьный учитель, потом священник, потом полицейский и тюремный надзиратель и в конце концов сам генерал Стреснер. Генерала я как-то видел, когда он объезжал страну. Он зашел в полицейский участок, где я сидел, и я его видел через решетку.

– У меня скоро родится ребенок, – сказал Чарли Фортнум. – И я хотел бы увидеть этого маленького негодника, пусть ненадолго. Но, знаете, не через решетку. Хотел бы дожить до того, чтобы узнать, мальчик это или девочка.

– Когда он родится?

– Месяцев через пять или вроде этого. Точно не знаю. В таких делах я плохо разбираюсь.

– Не беспокойтесь. Вы будете дома, сеньор, задолго до этого.

– Если вы меня убьете, не буду, – ответил Чарли Фортнум, все же надеясь, несмотря ни на что, получить их обычный ободряющий ответ, как бы фальшиво он ни звучал; но не удивился, когда его не услышал: он начинал жить в царстве правды.

– Я написал много стихов о смерти, – весело, с удовлетворением сообщил Акуино, подняв на свет стакан с остатками виски, чтобы поймать в нем отблеск свечи. – Больше всего мне нравится одно с таким рефреном: «Смерть, как сорняк, и без дождя растет». А Леону не нравится, он говорит, что я пишу, как крестьянин, я ведь когда-то и собирался стать крестьянином. Ему больше нравится то, где сказано: «В чем бы ни была твоя вина – пищу всем дают одну и ту же». И есть еще одно, которым я доволен, хоть и сам толком не знаю, что я хотел сказать, но, когда хорошо его прочтешь, оно звучит красиво: «Когда о смерти речь, то говорит живой».

– Да вы чертову уйму этих стихов написали о смерти.

– По-моему, чуть не половина моих стихов – о смерти, – сказал Акуино. – А для мужчины и есть только две стоящие темы: любовь и смерть.

– Я не хочу умереть, пока у меня не родится ребенок.

– Лично я вам желаю всяческого счастья, сеньор Фортнум. Но ни у кого из нас нет выбора. Может, завтра я умру под машиной или от лихорадки. А умереть от пули – это одна из самых быстрых и достойных смертей.

– Вот, наверное, так вы меня и убьете.

– Естественно... А как же иначе? Мы не жестокие люди, сеньор Фортнум. Пальцев мы у вас отрезать не будем.

– Однако и без нескольких пальцев жить можно. Вы же без них обходитесь, верно?

– Я понимаю, боль вас пугает, я-то знаю, что боль делает с человеком, что она сделала со мной, но не пойму, почему вы так боитесь смерти. Смерти ведь все равно не избежать, и, если священники правы, потом будет долгая жизнь за гробом, а если не правы, значит, и бояться нечего.

– А вы верили в эту жизнь за гробом, когда вас пытали?

– Нет, – признался Акуино. – Но и о смерти не думал. Была только боль.

– У нас есть такая поговорка: лучше синица в руке, чем журавль в небе. Лично я про эту загробную жизнь никогда не думал. Знаю только, что хотел бы прожить еще лет десять у себя в поместье и смотреть, как растет мой малыш.

– Но вы вообразите, сеньор Фортнум, чего только не может произойти за десять лет! И ребенок ваш вдруг умрет – дети ведь здесь мрут как мухи, – и жена изменит, а вас замучает медленный рак. Пуля же – это так просто и так быстро.

– Вы уверены?

– Пожалуй, еще капля виски мне не повредит, – сказал Акуино.

– Да у меня и у самого горло пересохло. Знаете старую поговорку: англичанину всегда не хватает двух рюмок до нормы.

Он налил виски очень скупой осталась меньше четверти бутылки – и с грустью подумал о своем поместье, о баре на веранде, где всегда под рукой непочатая бутылка.

– Вы женаты? – спросил он.

– Не совсем, – ответил Акуино.

– А я был дважды женат. Первый раз у меня что-то не заладилось. А во второй – сам не знаю почему – чувствую совсем по-другому. Хотите, покажу фотографию?

Он нашел у себя в бумажнике цветной квадратик. Клара сидела за рулем «Гордости Фортнума», косясь на аппарат с таким страхом, словно он сейчас выстрелит.

– Хорошенькая, – вежливо отозвался Акуино.

– Понимаете, на самом деле она править не умеет, – сказал Фортнум, – и снимок чересчур засинен. Видите, какого цвета авокадо. Грубер обычно проявляет лучше. – Он с сожалением посмотрел на фотографию. – К тому же она не совсем в фокусе. И хуже здесь, чем на самом деле, но я тогда перебрал против нормы, и рука у меня, верно, дрогнула.

Он с тревогой посмотрел на жалкий остаток в бутылке.

– Как правило, ничего нет лучше виски, чтобы побороть эту дрожь. Как насчет того, чтобы прикончить бутылку?

– Мне самую малость, – сказал Акуино.

– У каждого человека своя норма. Я никого не стану попрекать, если она у него не такая, как у меня. Норма – она вроде бы встроена в твой организм, как лифт в жилой дом. – Чарли внимательно следил за Акуино. Он правильно рассчитал – нормы у них совсем разные. И сказал: – Мне понравился тот ваш стих насчет смерти.

– Который?

– Память у меня кошмарная. А что вы сделаете с трупом?

– С каким трупом?

– С моим трупом.

– Сеньор Фортнум, зачем говорить о таких неприятных вещах? Я пишу о смерти, это правда, но о смерти совершенно отвлеченно. Я не пишу о смерти друзей.

– Понимаете, ведь те люди в Лондоне, они обо мне никогда и не слышали. Им-то что? Я ведь не член их клуба.

– «Смерть, как сорняк, и без дождя растет». Вы об этом стихотворении говорили?

– Да, да, именно! Теперь вспомнил. Но все равно, Акуино, даже если смерть – дело обычное, умирать все же надо с достоинством. Согласны? Salud.

– Salud, сеньор Фортнум.

– Зовите меня Чарли, Акуино.

– Salud, Чарли.

– Я не хотел бы, чтобы меня нашли в таком виде: грязным, небритым...

– Я могу вам дать миску с водой.

– А бритву?

– Нет.

– Хотя бы безопасную. Что я могу натворить безопасной бритвой?

Да, дело в норме. Теперь ему казалось, что он все может. Будь у него хотя бы ножницы, глинобитную стену он сперва намочит.

– А ножницы, чтобы подравнивать волосы?

– Надо спросить разрешения у Леона, Чарли.

А острую палочку? – он придумывал, как бы ее назвать поубедительнее. Теперь, когда он выпил свою норму и голова у него работала, он был уверен, что убежать можно.

– Я хочу написать Кларе, моей жене, – сказал он. – Той девушке на фотографии. Письмо можете держать у себя, пока все не кончится и вы не будете в безопасности. Я просто хочу ей сказать, что перед смертью думал о ней. Дайте мне карандаш, острый карандаш, – неосторожно добавил он, взглянув на стену и вдруг усомнившись, не был ли он чересчур самонадеян.

Там, правда, видно местечко, где стена была рыхлая, из нее торчала солома, которую подмешивали к глине.

– У меня есть шариковая ручка, – сказал Акуино. – Но я все-таки спрошу Леона, Чарли.

Он вынул ручку из кармана и внимательно ее осмотрел.

– А какой от нее может быть вред, Акуино? Я сам бы спросил твоего приятеля, но, понимаешь, со священниками мне почему-то не по себе.

– Вы должны нам отдать все, что напишете, – сказал Акуино. – Нам придется это прочесть.

– Конечно. Давайте начнем вторую бутылку?

– Вы хотите меня напоить? Да я ведь кого хочешь перепью.

– Что вы! Я еще сам своей нормы не выпил. Мне хватает одной рюмки сверх полбутылки, а вот вы только половину моей нормы и выпили.

– Может, нам еще долго не удастся купить вам виски.

– «Будем есть и пить, ибо завтра умрем!» [Книга пророка Исаии, 22:13] Это вроде как из Библии. Видно, и во мне просыпается сочинитель. А все виски. Вообще-то я не мастак писать письма. Но я первый раз в разлуке с Кларой с тех пор, как мы вместе.

– Вам и бумага будет нужна, Чарли.

– Да, о ней я и забыл.

Акуино принес ему пять листиков бумаги, вырванных из блокнота:

– Я их сосчитал. Вы должны будете все до одного мне вернуть, используете вы их или нет.

– И дайте немного воды, помыться. Не хочу, чтобы письмо было в грязных пятнах.

Акуино подчинился, но на этот раз слегка поворчал.

– Это вам, Чарли, не отель, – сказал он, грохнув таз на земляной пол и расплескав по нему воду.

– Если бы это был отель, я бы повесил на двери: «Прошу не беспокоить». Возьмите виски, выпейте еще.

– Нет. С меня хватит.

– Будьте другом, прикройте дверь. Не выношу, когда этот индеец на меня смотрит.

Оставшись один, Чарли Фортнум намочил рыхлое место на стене водой и принялся ковырять его шариковой ручкой. Через четверть часа на полу лежала щепотка пыли, а в стене образовалось крошечное углубление. Если бы не виски, он бы отчаялся. Чарли сел на пол, чтобы скрыть вмятину в стене, вымыл ручку и принялся писать. Ему надо было как-то объяснить, на что у него ушло время.

«Моя дорогая детка», – начал он и задумался. Официальные отчеты он писал на пишущей машинке, которая, казалось, сама складывала нужные фразы. «В ответ на ваше письмо от 10 августа...», «Подтверждая получение вашего письма от 22 декабря...», «Как я по тебе соскучился», – писал он сейчас. Это ведь и было самое главное, что он должен сказать; все, что он добавит, будет лишь повторением или перепевом той же мысли. «Кажется, прошли годы с тех пор, как я уехал из поместья. В то утро у тебя болела голова. Прошла теперь? Прошу тебя, не принимай слишком много аспирина. Это вредно для желудка, да и для ребенка, наверное, тоже. Ты проследи, очень тебя прошу, чтобы „Гордость Фортнума“ закрыли брезентом – вдруг пойдут дожди».

Письмо, думал он, доставят либо когда он уже будет дома, либо когда он уже будет мертв; он вдруг почувствовал, какое огромное расстояние между глинобитной хижинкой и его поместьем, между гробом и «джипом», стоящим под купой авокадо, между ним и Кларой, поздно встававшей с двуспальной кровати, баром с напитками на веранде, которым никто не пользуется. Глаза щипало от слез, и он вспомнил, как попрекал его отец: «Не трусь, Чарли, будь же мужчиной. Плакса!.. Терпеть не могу, когда себя жалеют. Тебе должно быть стыдно. Стыдно. Стыдно». Слово это звучало как похоронный звон по всякой надежде. Иногда, хоть и не часто, он пытался защищаться. «Да я же не о себе плачу. Утром я ставнем раздавил ящерицу. Нечаянно. Хотел ее выпустить. Я о ящерице плачу, а не о себе». Он и сейчас плакал не о себе. Слезы были из-за Клары и немножко из-за «Гордости Фортнума» – ведь оба были брошены на произвол судьбы и беззащитны. Сам-то он терпел лишь страх и неудобства. А одиночество, как он знал по опыту, терпеть куда тяжелее.

Он перестал писать, глотнул еще виски и снова стал ковырять стену шариковой ручкой. Стена впитала воду и скоро опять стала сухой, как кость. Через полчаса он прекратил это занятие. Дыру он раскопал величиной с мышиную норку, не больше двух сантиметров в глубину. Чарли опять взялся за письмо и написал, словно бросая кому-то вызов: «Могу тебе сказать, что Чарли Фортнум готов идти напролом. Я не такой слабак, как они думают. Я твой муж и слишком тебя люблю, чтобы позволить какой-то мрази встать между нами. Я что-нибудь придумаю и сам отдам это письмо тебе в руки, то-то мы тогда посмеемся и выпьем того хорошего французского шампанского, которое я берег для особого случая. Мне говорили, что шампанское повредить ребенку не может». Он отложил письмо, потому что у него действительно зрела мысль, правда пока еще очень туманная. Он отер со лба пот, и на миг ему почудилось, будто он сгоняет и пары виски, отчего голова становится ясная.

– Акуино! – позвал он. – Акуино!

Акуино нехотя, настороженно вошел в комнату.

– Виски больше не хочу, – сказал он.

– Мне надо в уборную.

– Я скажу Мигелю, чтобы он с вами сходил.

– Нет, Акуино... Меня будет стеснять, если этот индеец сядет снаружи и станет тыкать в меня своим автоматом. Ему так и не терпится пустить его в ход.

– Мигель не хочет вам зла. Ему просто нравится автомат. У него никогда его раньше не было.

– Все равно я его боюсь. Почему бы вам не взять у него автомат и самому меня не стеречь? Я знаю, Акуино, вы не станете стрелять без надобности.

– Он обидится, если у него возьмут его автомат.

– Ну тогда, черт бы вас подрал, я сделаю свои дела здесь!

– Хорошо, я с ним поговорю, – сказал Акуино.

Большинству людей нелегко хладнокровно застрелить расположенного к вам человека – план Чарли Фортнума был очень прост.

Когда Акуино вернулся, в руках у него был автомат.

– Ладно, – сказал он, – пойдём. У меня только левая рука, но имейте в виду, когда у тебя автомат, снайпером быть не требуется. Одна из пуль наверняка попадает в цель.

– Даже пуля поэта, – деланно улыбаясь, сказал Чарли Фортнум. – Я хотел бы, чтобы вы списали мне то стихотворение. Приятно будет сохранить его на память.

– Которое?

– Да вы же знаете, о чем я говорю. Насчет смерти.

Он прошел через проходную комнату. Индеец на него не смотрел. Он с тревогой уставился на автомат, словно нечто бесценное попало в неверные руки.

Всю дорогу до навеса под авокадо Чарли Фортнум болтал без умолку. Когда он был без сознания, часы его встали, и теперь он понятия не имел, сколько сейчас времени, но тени уже вытянулись. Под деревьями, густо увешанными темно-коричневыми плодами, стояла мгла.

– Я почти дописал письмо, – сказал он. – До чего же трудно писать!

Когда он дошел до двери сарайчика, он повернулся и вымученно улыбнулся Акуино. Если тот улыбнется в ответ, это будет хороший признак, но Акуино не улыбнулся. Может, он был просто чем-то озабочен. Может, он сочинял стихотворение о смерти. А может быть, он выпил не ту норму, что надо.

Чарли Фортнум, собираясь с духом, посидел в загородке сколько положено. Потом быстро вышел и резко свернул направо, чтобы хижина оказалась между ним и Акуино. Надо было пройти всего несколько шагов, а там, под деревьями, его скроет темнота. Он услышал короткую очередь, крик, ответный крик и ничего не почувствовал.

– Не стреляйте, Акуино! – крикнул он.

Снова ударили выстрелы, и он рухнул прямо туда, где сгущалась темнота.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

День для сэра Генри Белфрейджа начался скверно с самого завтрака. Вот уже третий день кряду повар зажаривал яичницу с обеих сторон.

– Ты забыла сказать Педро, голубчик? – спросил он жену.

– Нет, – ответила леди Белфрейдж. – Честное слово, не забыла. Я хорошо это помню...

– Видно, он перенял эту привычку у янки. Это их обычай. Помнишь, чего нам стоило уломать их в отеле «Плаза» в Нью-Йорке? У них даже есть специальное название: поджаренная с одной стороны яичница. Вспомни, как это по-испански, может, Педро тогда поймет.

– Нет, дорогой... Я о таком названии никогда не слыхала.

– Иногда я даже сочувствую тем, кто обличает империализм янки. Почему мы должны есть их яичницу? Скоро Педро будет продавать нам сосиски с кленовым сиропом. А какое ужасное вино было вчера в американском посольстве, правда, детка? Наверное, калифорнийское.

– Нет, дорогой. Аргентинское.

– Ага, значит, он подлизывается к министру внутренних дел. Но министр и сам бы предпочел хорошее французское вино, такое, как подается у нас.

– У нас вино тоже не очень хорошее.

– На наши жалкие представительские лучшего позволить себе мы не можем. Ты заметила, что там подали аргентинское виски?

– Беда в том, голубчик, что сам он вообще не пьет. Знаешь, он был просто скандализован тем, что мистер... бедный мистер... ну как его, нашего консула, Мейсон, да?

– Нет, нет, то другой, этот – Фортнум.

– Ну вот, когда они поехали смотреть развалины и бедный мистер Фортнум прихватил с собой две бутылки виски.

– А я его не порицаю. Знаешь, ведь посол повсюду возит с собой холодильник, набитый кока-колой. Я бы не выпил так много их мерзейшего вина, если бы он не уставился на меня своими пуританскими глазами. Я почувствовал себя как та девица из книжки, которой нацепили на платье алую букву "п" [героиня романа американского писателя Н.Готорна (1804-1864) «Алая буква»]. П – от слова «пьяница».

– По-моему, там было "п" от слова «прелюбодейка».

– Очень может быть, я ведь видел это только в кино. Много лет назад. Там это было не очень ясно.

День, который начался достаточно скверно из-за плохо зажаренной яичницы, час от часу становился все хуже. Пресс-атташе Кричтон явился с жалобой, что его совсем замучили телефонными звонками газеты.

– Я же им объясняю, что Фортнум – всего лишь почетный консул, – говорил он. – А репортеру из «Ла пренсы» никак не втолкуешь разницу между «почетным» и «достопочтенным». Ничуть не удивлюсь, если они объявят его сыном пэра Англии.

Сэр Генри в утешение ему заметил:

– Сомневаюсь, чтобы они так хорошо разбирались в английских титулах.

– Они, как видно, придают этому делу большое значение.

– Просто потому, что сейчас мертвый сезон. У них ведь нет чудовища из Лох-Несса, а летающие тарелки появляются круглый год.

– Я бы хотел, чтобы мы могли сообщить им что-нибудь успокоительное.

– Да и я бы этого хотел, Кричтон, еще как! Вы, конечно, можете им сказать, что вчера я несколько часов провел с американским послом, только не говорите, что у меня от этого голова раскалывается.

– В «Насьон» снова звонил какой-то неизвестный тип, на этот раз из Кордовы. Осталось всего четыре дня.

– Слава богу, что не больше, – сказал посол. – На той неделе все будет кончено. Его либо убьют, либо освободят.

– Полиция думает, что из Кордовы звонили для отвода глаз и что он находится в Росарио, а теперь, может, и здесь.

– Надо было еще полгода назад отправить его на пенсию, тогда ничего бы не произошло.

– Полиция думает, сэр, что его похитили по ошибке. Хотели захватить американского посла. Если это правда, то американцы обязаны что-то предпринять, хотя бы из благодарности.

– Уилбур, – сказал сэр Генри Белфрейдж, – посол настаивает, чтобы я звал его Уилбуром, – отрицает, что намеченной жертвой был он. Уверяет, что США очень популярны в Парагвае, поездка Нельсона Рокфеллера по стране это доказала. В Парагвае никто не забрасывал их присутственные места камнями и не поджигал. Все было так же мирно, как в Гаити. Он зовет Рокфеллера Нельсоном, я сперва не понял, о каком Нельсоне идет речь. Даже подумал, что он и мне предлагает называть Рокфеллера Нельсоном!

– Мне все же очень жаль беднягу.

– Не думаю, Кричтон, чтобы Уилбур нуждался в нашей жалости.

– Да я не о нем говорю...

– Ах, о Мейсоне! Черт возьми, жена вдруг стала звать его Мейсоном, а я за ней повторяю. Если фамилия Мейсон как-нибудь попадет в официальное сообщение, бог знает что они там, в Лондоне, подумают. Еще решат, что речь идет о границе Мейсон – Диксон между рабовладельческими штатами и Севером. Мне надо все время повторять в уме: Фортнум, Фортнум, Фортнум, как тому ворону, который каркал «никогда».

– Вы не думаете, сэр, что они и в самом деле его убьют?

– Да конечно же нет, Кричтон. Они не убили даже того парагвайского консула, которого захватили несколько лет назад. Генерал тогда сказал, что этот субъект его не интересует, и они консула выпустили. Тут ведь не Уругвай, и не Колумбия, и, пожалуй, даже не Бразилия. Не Боливия. И не Венесуэла. И даже не Перу, – добавил он несколько неуверенно, поскольку безопасных мест становилось все меньше и меньше.

– И тем не менее мы в Южной Америке, – с неумолимой логикой уточнил Кричтон.

В это же утро поступило несколько неприятных телеграмм: кто-то снова поднял панику насчет Фолклендских островов. Стоило в мире наступить затишью, и спор о них тут же возникал, как и проблема Гибралтара. Министр иностранных дел желал узнать, как намерена голосовать Аргентина в Организации Объединенных Наций по африканскому вопросу. Канцелярия разработала новую директиву о расходах на представительство, и Генри Белфрейдж почувствовал, что и ему скоро придется угощать гостей аргентинским вином. Запрашивали и о том, примет ли Британия участие в кинофестивале Мар-дель-Платы. Член парламента от консерваторов обозвал английский фильм какого-то Рассела, представленный на фестиваль, порнографическим. Со вчерашнего дня, когда Белфрейджу было рекомендовано посетить министра иностранных дел, а после этого действовать в контакте с американским послом, новых директив в отношении Фортнума не поступало; британский посол в Асунсьоне получил такие же указания, и сэр Генри надеялся, что американский посол в Парагвае окажется несколько более расторопным, чем Уилбур.

После ленча секретарь сообщил послу, что некий доктор Пларр просит его принять.

– А кто он, этот Пларр?

– Приехал с севера. По-моему, хочет вас видеть по делу Фортнума.

– Что ж, ведите его, ведите, – сказал сэр Генри Белфрейдж, – пускайте всех подряд.

Он был раздосадован, что его лишили отдыха после ленча: это было единственное время, когда он чувствовал себя частным лицом. На столике возле кровати его ждал новый роман Агаты Кристи, только что присланный книжной лавкой из Лондона.

– Мы уже где-то встречались, – сказал он доктору Пларру и недоверчиво на него посмотрел: в Буэнос-Айресе почему-то все, кроме военных, именовали себя докторами.

Худое лицо типичного юриста, подумал он; ему всегда было не по себе с этими адвокатами, его шокировали их циничные шуточки – приговоренный к казни убийца их трогал не больше, чем хирурга неизлечимо больной раком.

– Да, у вас, в посольстве, – напомнил ему доктор Пларр. – На приеме. Я еще вызволил вашу жену, спас ее от поэта.

– Ну конечно, теперь вспоминаю, как же! Вы ведь живете где-то там, на севере. Мы еще тогда говорили о Фортнуме, верно?

– Верно. Я врач его жены. Она, видите ли, ждет ребенка.

– Ах, так вы такой доктор!

– Да.

– Слава богу! Тут ведь не поймешь, правда? И к тому же вы действительно англичанин. Не то что все эти О'Брайены и Хиггинсы. Ну и ну, до чего же, наверно, тяжело этой бедной миссис Фортнум. Скажите ей, что мы делаем все, что в наших силах...

– Да, – сказал доктор Плarr, – она это понимает, но мне все же хотелось бы знать, что тут предпринимают на самом деле. Я утром прилетел в Буэнос-Айрес специально, чтобы вас повидать и что-нибудь выяснить, и сегодня же ночью улетаю обратно. Если бы я мог сообщить миссис Фортнум более или менее определенные сведения и ее успокоить...

– Положение в высшей степени сложное, Плarr. Понимаете, если все за что-то несет ответственность, то, как правило, ее не несет никто. Генерал сейчас где-то здесь на юге ловит рыбу и, пока он на отдыхе, отказывается обсуждать этот вопрос. Министр иностранных дел заявляет, что это чисто парагвайское дело и что президент не может оказывать давление на Генерала, пока тот находится здесь как гость правительства. Полиция, конечно, делает все, что может, но ей, как видно, было предложено действовать с максимальной осторожностью. В интересах самого Фортнума.

– Но американцы... Они-то могут оказать давление на Генерала. Он бы не продержался в Парагвае и суток без их поддержки.

– Знаю, знаю, Плarr, но это только осложняет положение. Видите ли, американцы правильно считают, что не следует поощрять похищения, даже если это грозит – как бы получше выразиться? – опасностью для чьей-то жизни. Ну, как в случае с германским послом, которого убили. Где же это было? В Гватемале? А в данном случае, говоря откровенно... что ж, почетный консул все же не посол. Они считают, что вмешательство было бы дурным прецедентом. Генерал не слишком расположен к англичанам. Конечно, если бы Фортнум был американцем, он отнесся бы к делу иначе.

– Похитители думали, что он американец. Так говорит полиция. Она считает, что похитители охотились за дипломатической машиной и в темноте приняли "К" за "Д".

– Ну да, сколько раз мы говорили этому идиоту, чтобы он не вешал флажка и убрал с машины дипломатический номер. Почетный консул не имеет на это права.

– И все же казнить за это слишком сурово.

– Что же еще я могу сделать, Плarr? Я дважды ездил в министерство иностранных дел. Вчера вечером имел частную беседу с министром внутренних дел. Без указаний из Лондона я ничего больше сделать не могу, а в Лондоне не чувствуют... ну как бы это сказать?... неотложности этого дела. Да, кстати, как поживает ваша матушка? Я наконец-то все вспомнил. Вы тот самый Плarr. Ваша мать часто пьет у моей жены чай. Обе любят пирожные и такие штуки с dulce de leche.

– Alfajores.

– Вот-вот. Сам-то я их не выношу.

Доктор Плarr сказал:

– Я понимаю, сэр Генри, что кажусь вам крайне назойливым, но мой отец, если он еще жив, сидит у Генерала в одной из его тюрем. Это похищение, быть может, последняя возможность его спасти. Правда, это обстоятельство дает основания полиции меня подозревать, поэтому я чувствую себя как бы причастным к этому делу. Кроме того, не надо забывать о Фортнуме. Я несу за него некоторую ответственность. Он хоть и не мой больной, но я лечу миссис Фортнум.

– Брак, кажется, какой-то странный. Я получил оттуда, из ваших мест, об этом письмо от одного старого сплетника по фамилии Джеффрис.

– Хэмфрис.

– Да-да. Кажется, так. Он пишет, что Фортнум женился на недостойной женщине. Счастливец! Я уже в том возрасте, когда таких женщин и в глаза не видишь.

– Мне пришло в голову, – сказал доктор Пларр, – что я мог бы попробовать связаться с похитителями. Если они позвонят миссис Фортнум, когда увидят, что с властями у них ничего не выходит.

– Маловероятно, мой друг.

– Однако возможно, сэр. Если бы нечто подобное произошло и я мог бы внушить им хоть маленькую надежду... А вдруг мне удалось бы уговорить их продлить срок, ну, скажем, на неделю. В этом случае было бы легче вести переговоры.

– Хотите знать мое откровенное мнение? Вы только продлите агонию – и Фортнума, и миссис Фортнум. На месте Фортнума я бы предпочел быструю смерть.

– Неужели ничего нельзя сделать?

– Лично я уверен, что нет, Пларр. Я дважды разговаривал с Уилбуром – американцы и пальцем не пошевелят. Если им удастся показать, что подобные похищения бессмысленны, пожертвовав всего-навсего британским почетным консулом в мало кому известной провинции, они будут только рады. Уилбур говорит, что Фортнум пьяница, он привез две бутылки виски на их пикник в развалинах, а посол пьет только кока-колу. Я посмотрел наше досье на Фортнума, но ничего определенного в смысле алкоголизма там не значится, хотя парочка его отчетов... надо сказать, показалась мне маловразумительной. И к тому же письмо от этого – как его, Хэмфриса? – где он пишет, что Фортнум вывесил наш национальный флаг вверх ногами. Но для этого, правда, не надо быть пьяницей.

– И все же, сэр Генри, если бы похитителей можно было уговорить хоть немного продлить срок...

Сэр Генри Белфрейдж понимал, что послеобеденный отдых пропал бесповоротно; новый роман Агаты Кристи придется отложить. Он был человек добрый, совестливый, а к тому же еще и скромный. В душе он понимал, что на месте доктора Пларра вряд ли полетел бы в ноябрьскую жару в Буэнос-Айрес, чтобы помочь мужу своей пациентки.

– Вы можете попытаться сделать следующее, – сказал он. – Сильно сомневаюсь, чтобы у вас что-нибудь вышло, но все-таки...

Тут он запнулся. С пером в руке он был сама краткость: его доклады всегда были на редкость лаконичны и точны, составить депешу для него не представляло труда. В посольстве он чувствовал себя как дома, так же как когда-то в детской. Люстры сверкали, как стеклянные фрукты на елке. В детской, помнится, он ловко и аккуратно строил дома из кубиков. «Наш молодой мистер Генри умный мальчик», – приговаривала нянька, но стоило выпустить его на зеленый простор Кенсингтонского парка, как он тут же совершенно терялся. Бывало, что с чужими – как это порой случалось и теперь на приемах – он просто впадал в панику.

– Да, сэр Генри?

– Простите, я отвлекся. С утра голова болит. Это вино из Мендосы... Кооперативы! Ну что кооперативы понимают в вине?

– Вы говорили...

– Да, да. – Он сунул руку в нагрудный кармашек и нащупал шариковую ручку. Она у него была вроде талисмана.

– Отсрочка будет иметь смысл, – сказал он, – если мы сумеем заинтересовать людей... Я сделал все, что мог, но там у нас Фортнума никто не знает. Никому нет дела до какого-то почетного консула. Он не на государственной службе. Сказать вам по правде, я и сам полгода назад советовал от него избавиться. А то самое письмо, будьте уверены, лежит в его досье. Поэтому там у нас только обрадуются, когда срок истечет, – ничего писать не придется, а его, надо надеяться, выпустят на свободу.

– А если его убьют?

– Боюсь, что министерство иностранных дел и это поставит себе в заслугу. Сочтет результатом своей твердой политики: вот, они показали, что не желают договариваться с шантажистами. Вы же знаете, как они обыграют это там, в палате общин. Закон и порядок. Никаких потачек. Будут цитировать Киплинга. Даже оппозиция их одобрит.

– Дело не только в Чарли Фортнуме. Там ведь еще и его жена... она ждет ребенка. Если бы газеты это расписали...

– Да. Понимаю. Женщина, которая ждет, и прочее. Но, судя по тому, что писал о ней этот Хэмфрис, английская пресса вряд ли воспылает должными чувствами к даме, на которой женился Фортнум. Это не сюжет для семейного чтения. «Сан» может, конечно, описать все как есть или «Ньюс оф зе уорлд», но не думаю, чтобы это произвело нужный эффект.

– А что же вы предлагаете, сэр Генри?

– Только никогда и ни в коем случае на меня не ссылайтесь, слышите, Пларр? Министерство тут же спровадит меня на пенсию, если там узнают, что я дал подобный совет. Впрочем, я и сам ни на йоту не верю, что это нам поможет: Мейсон не тот человек.

– Какой Мейсон?

– Извините, я хотел сказать Фортнум.

– Да вы пока ничего и не посоветовали, сэр Генри.

– Я же вот к чему веду... Государственные учреждения больше всего ненавидят, когда лай поднимают приличные газеты. Единственный способ добиться какого бы то ни было вмешательства – это придать делу гласность, но такую, к которой прислушиваются. Если бы вы смогли организовать какой-то протест у себя в городе... Хотя бы обратиться по телеграфу в «Таймс» от имени Английского клуба. Отдавая дань... – он снова пощупал ручку, словно надеясь почерпнуть у нее нужную казенную фразу, – его неусыпным заботам об интересах Великобритании...

– Но у нас нет Английского клуба, сэр. И, по-моему, в городе, кроме Хэмфриса и меня, больше нет англичан.

Сэр Генри Белфрейдж кинул быстрый взгляд на пальцы (он куда-то задевал щеточку для ногтей) и что-то пробормотал так быстро, что доктор Пларр не сумел разобрать ни слова.

– Простите. Я не расслышал...

– Дорогой мой, неужели я должен вам это разжевывать? Немедленно образуйте Английский клуб и протелеграфируйте ваше ходатайство в «Таймс» и «Телеграф».

– Вы думаете, из этого что-нибудь выйдет?

– Не думаю, но попытка не пытка. Всегда найдется какой-нибудь член парламента от оппозиции, который на это клюнет, что бы там ни говорили лидеры его партии. И во всяком

случае, это может доставить министру un mauvais quart d'heure [неприятные четверть часа (франц.)]. К тому же есть еще и американская пресса. Может статься, что они это перепечатают. А «Нью-Йорк таймс» умеет выражаться весьма ядовито. «Будем бороться за латиноамериканскую независимость до последнего англичанина!» Знаете, на какую позицию могут стать эти пацифисты? Надежда, конечно, мизерная. Если бы он был крупный делец, в нем были бы куда больше заинтересованы. Беда в том, Пларр, что Фортнум – такая мелкая сошка.

Самолета, на котором он мог вернуться на север, не было до вечера, а совесть не позволяла доктору Пларру придумать какой-нибудь предлог, чтобы избежать встречи с матерью. Он знал, как ей доставить удовольствие, и назначил по телефону свидание за чаем в «Ричмонде» на калле Флорида – ей были неприятны неизбежные разговоры на семейные темы дома, где она жила почти в такой же духоте, как и восковые цветы под стеклянным колпаком, купленные ею у антиквара рядом с «Харродзом». Ему всегда казалось, что у нее в квартире повсюду припрятаны маленькие секреты – на полках, на столах, даже под кушеткой, секреты, о которых она не хотела, чтобы он знал, скорее всего, просто свидетельства мелкого мотовства, на которое ушли полученные от него деньги. Пирожные с кремом – это хотя бы пища, а вот фарфоровый попугай – мотовство.

Он пробирался черепашьим шагом сквозь толпу, которая во вторую половину дня всегда заполняла узкую улицу, когда ее закрывали для проезда машин. Его это ничуть не огорчало – ведь каждая лишняя минута, потерянная для свидания с матерью, была его чистой прибылью.

Он увидел ее в дальнем углу набитого людьми кафе; она была во всем черном, и перед ней стояло блюдо с пирожными.

– Ты опоздал на десять минут, Эдуардо, – сказала она.

Сколько он себя помнил, он всегда разговаривал с матерью по-испански. Только с отцом он говорил по-английски, но отец был человек немногословный.

– Прости, мама. Ты могла начать без меня.

Когда он нагнулся, чтобы ее поцеловать, из ее чашки в нос ему ударил запах горячего шоколада, похожий на приторное дыхание могилы.

– Если тут нет пирожного, которое тебе нравится, позови официанта.

– Есть я ничего не хочу. Выпью кофе.

У нее были большие мешки под глазами, но доктор Пларр знал, что мешки эти не от горя, а от запоров. Ему казалось, что, если их нажать, оттуда брызнет крем, как из эклера. Ужас что делает время с красивыми женщинами. Мужчины иногда хорошеют с годами, женщины – почти никогда. Он подумал: нельзя любить женщину, которая меньше чем на двадцать лет моложе тебя. Тогда можно умереть раньше, чем слиняет ее образ. Фортнум, женившись на Кларе, вероятно, страховался от утраты иллюзий, она ведь на сорок лет моложе его. Доктор Пларр подумал, что он не так предусмотрителен, потому что на много лет переживет утрату ее очарования.

– Почему ты в трауре, мама? – спросил он. – Я никогда не видел тебя в черном.

– Я в трауре по твоему отцу, – сказала сеньора Пларр и стерла с пальцев шоколад бумажной салфеткой.

– Ты что-нибудь узнала?

– Нет, но отец Гальвао имел со мной серьезный разговор. Он сказал, что ради моего здоровья надо проститься с пустыми надеждами. А ты знаешь, Эдуардо, какой сегодня день?

Он тщетно рылся в памяти, потому что даже не помнил, какое сегодня число.

– Четырнадцатое? – спросил он.

– В этот день мы простились с твоим отцом в порту Асунсьона.

Интересно, узнал бы отец, войди он сейчас в кафе, эту толстую женщину с мешками под глазами и вымазанным кремом ртом? В нашей памяти люди, которых мы не видим, стареют достойно.

Сеньора Пларр сказала:

– Отец Гальвао утром отслужил мессу за упокой его души.

Она оглядела блюдо с пирожными и выбрала один из эклеров, по виду ничем не отличавшийся от других. Однако, когда Пларр напряг память, он все еще смог припомнить красивую женщину, которая плакала, лежа в каюте. В том возрасте слезы придавали блеск ее глазам. Под ними не было уродливых мешков.

– А я еще не потерял надежду, мама, – сказал он. – Ты же слышала, похитители назвали и его в списке узников, которых они требуют освободить.

– Какие похитители?

Он забыл, что она не читает газет.

– Ну, сейчас это чересчур долго рассказывать. – И добавил из вежливости: – Какое на тебе красивое платье.

– Я рада, что тебе нравится. Специально заказала для сегодняшней мессы. Материя совсем недорогая, а шила домашняя портниха... Ты не думай, что я транжирка.

– Что ты, мама!

– Если бы твой отец не был таким упрямым... Ну зачем ему надо было там оставаться, чтобы его убили? Мог продать поместье за хорошие деньги, и мы бы прекрасно жили здесь все вместе.

– Он был идеалистом, – сказал доктор Пларр.

– Идеалы – вещь достойная, но с его стороны было некрасиво в первую очередь не подумать о семье, это же такой эгоизм!

Он представил себе злые, полные упреков молитвы, которые она шептала утром, когда отец Гальвао служил заупокойную мессу. Отец Гальвао был иезуитом, португальцем, которого почему-то перевели сюда из Рио-де-Жанейро. Он пользовался большой популярностью у дам, может быть, они так охотно исповедовались ему потому, что он нездешний.

Отовсюду доносился женский щебет. Но отдельные фразы нельзя было разобрать. Казалось, Пларр сидит в вольере и прислушивается к разноголосице птиц из чужеземных стран. Одни чирикали по-английски, другие по-немецки, он расслышал даже французскую фразу, которая, наверное, пришлась бы по сердцу его матери: «Georges est tres coupable» [Жорж очень виноват (франц.)]. Он посмотрел на нее, пока она тянулась губами к шоколаду. Любила ли

она когда-нибудь отца и его самого или же просто изображала любовь, как это делает Клара? За годы, пока он вырос, живя рядом с матерью, Плэрр научился презирать лицедейство. В его комнате теперь не хранилось никаких сентиментальных памяток, даже фотографий. Она была почти такой же голой и лишенной всякой лжи, как полицейская камера. И в любовных связях с женщинами он избегал театральных возгласов: «Я вас люблю». Его часто обвиняли в жестокости, хотя сам он считал себя просто старательным и точным диагностом. Если бы он хоть раз обнаружил у себя болезнь, которая не поддавалась другому определению, он не колеблясь признался бы: «Я люблю», однако же всегда мог приписать чувство, которое испытывает, совсем другому недугу – одиночеству, гордыне, физической потребности или даже простому любопытству.

Сеньора Плэрр сказала:

– Он никогда не любил ни тебя, ни меня. Это был человек, который не знал, что такое любовь.

Ему хотелось задать ей вопрос всерьез: «А мы знаем?», но он понимал, что она воспримет его как упрек, а у него не было желания ее упрекать. С куда большим основанием он мог бы в подобном незнании упрекнуть самого себя. А может быть, думал он, она права, и я пошел в отца.

– Я не очень отчетливо его помню, – сказал он, – разве, пожалуй, то, как он с нами прощался; я тогда заметил, что он поседел. И еще помню, как по вечерам он обходил дом и запирали все двери. От этих звуков я всегда просыпался. Я даже не знаю, сколько ему теперь было бы лет, если бы он был жив.

– Сегодня ему исполнился бы семьдесят один.

– Сегодня? Значит, это в день его рождения...

– Он мне сказал, что лучший подарок, который он от меня может получить, – это увидеть, как мы оба уплываем по реке. С его стороны было жестоко так говорить.

– Ну, мама, он вряд ли хотел быть к тебе жестоким.

– Он даже заранее меня не предупредил. Я и вещи как следует сложить не успела. Забыла кое-какие драгоценности. У меня были часики с бриллиантами, я их надевала к черному платью. Помнишь мое черное платье? Да нет, куда же тебе помнить? Ты и ребенком всегда был такой ненаблюдательный. Он уверял, будто боится, что я расскажу друзьям, а они станут болтать, и полиция нас задержит. А я приготовила такой хороший именинный обед, острую закуску с сыром, он ведь больше любил острое, чем сладкое. Вот что значит выйти замуж за иностранца. Вкусы всегда такие разные. Утром я истово молилась, чтобы он не слишком мучился.

– А я думал, что ты считаешь его уже мертвым.

– Да я и говорю ведь о муках в чистилище. Отец Гальвао сказал, что больнее всего в чистилище, когда видишь, к чему привели твои поступки и какие страдания ты причинял тем, кого любил.

Она положила на тарелку еще один эклер.

– Но ты же говоришь, что он ни тебя, ни меня не любил.

– Ну, какую-то привязанность он к нам питал. И у него было чувство долга. Он ведь такой типичный англичанин. Предпочитал мужское общество. Не сомневаюсь, что, когда пароход отошел, он отправился в клуб.

– В какой клуб?

Они уже много лет так долго не разговаривали об отце.

– В этом клубе ему было совсем небезопасно состоять. Он назывался Конституционным, но полиция его прикрывала. Потом члены стали собираться тайком, как-то раз даже у нас в имении. А когда я возражала, он меня не слушал. Я ему говорила: «Помни, у тебя жена и ребенок». А он мне: «У каждого члена клуба есть жена и дети». Я сказала: «Ну тогда у них должны быть темы для разговора поважнее, чем политика...» Ладно, – добавила она со вздохом, – чего вспоминать старые споры. Я, конечно, его простила. Расскажи-ка, дорогой, лучше о себе.

Но глаза ее стали стеклянными от полнейшего отсутствия интереса.

– Да, в общем, и рассказывать-то нечего, – сказал он.

Лететь вечерним самолетом на север для такого человека, как доктор Пларр, который предпочитал одиночество, было рискованно. На этом самолете редко летали незнакомые люди или туристы. Пассажирами, как правило, бывали местные политические деятели, возвращавшиеся из столицы, или жены богачей, которых он иногда лечил (они ездили в Буэнос-Айрес за покупками, в гости и даже причесываться, не доверяя местному парикмахеру). В небольшом двухмоторном самолете они составляли шумную компанию.

Кое-какая надежда на спокойный перелет еще была, но настроение сразу испортилось, когда через проход его радостно приветствовала сеньора Эскобар – он ее сперва не заметил.

– Эдуардо!

– Маргарита!

Он стал уныло стягивать ремни, чтобы пересесть на пустое место с ней рядом.

– Не надо, – торопливо шепнула она. – Со мной Густаво. Он там сзади, разговаривает с полковником Пересом.

– И полковник Перес здесь?

– Да, они обсуждают это похищение. Знаете, что я думаю?

– Что?

– Я думаю, что этот Фортнум сбежал от жены.

– Зачем бы он стал это делать?

– Вы же знаете, Эдуардо, эту историю. Она – putain [шлюха (франц.)]. Из того кошмарного дома на калье... ну, да вы же мужчина и прекрасно знаете, о каком доме я говорю.

Он помнил, что когда Маргарита хотела произнести что-нибудь не очень приличное, то всегда выражалась по-французски. Он так и слышал, как она вскрикивает в своей комнате, с тонким умыслом притемненной на две трети опущенными persianas [жалюзи (исп.)]: «Baise-moi, baise-moi» [целуй меня, целуй меня (франц.)]. Она никогда не позволила бы себе произнести подобную фразу по-испански. И теперь со вздохом, так же тонко рассчитанным, как и опущенные жалюзи, она сказала:

– Я так давно вас не видела, Эдуардо.

Он подумал, куда же девался ее новый любовник – Гаспар Вальехо из министерства финансов? Надо надеяться, что они не поссорились.

Рев моторов избавил его от необходимости отвечать, но, когда предостережения из рупора были произнесены и они поднялись высоко над защитного цвета Платой, которая почернела с наступлением вечера, он приготовил ничего не значащую фразу:

– Вы же знаете, что за жизнь у нас, врачей, Маргарита.

– Да, – сказала она. – Знаю как никто. Вы еще пользуете сеньору Вегу?

– Нет. По-моему, она сменила врача.

– Я бы, Эдуардо, этого никогда не сделала, на свете на так уж много хороших врачей. Если я вас не вызывала, то только потому, что я до неприличия здорова. А, вот наконец и мой муж. Погляди, кто тут с нами, Густаво! И не делай вид, будто не помнишь доктора Пларра!

– Как я могу его не помнить? Где вы пропадали, Эдуардо? – Густаво Эскобар тяжело опустил руку на плечо доктору Пларру и стал ласково его мять – он, как и все латиноамериканцы, щупал каждого, с кем разговаривал. Даже удар ножом в одной из повестей Хорхе Хулио Сааведры можно было счесть своего рода прощупыванием. – Мы по вам скучали, – продолжал он громко, как говорят глухие. – Сколько раз жена говорила: не пойму, почему нас больше не посещает Эдуардо?

У Густаво Эскобара были пышные черные усы и густые бакенбарды; его кирпично-красное, как латерит, лицо было похоже на просеку в лесу, а нос вздымался, будто вставший на дыбы конь конкистадора. Он говорил:

– Но я по вас скучал не меньше, чем жена. Наши скромные дружеские ужины...

Все время, пока Маргарита была его любовницей, Пларр гадал: чего в тоне ее мужа больше – грубоватой шутливости или насмешки. Маргарита утверждала, будто муж ее бешено ревнив: ее гордость была бы уязвлена, если бы на самом деле он был к ней равнодушен. Может, он и не был к ней равнодушен, ведь она все же была одной из его женщин, хотя их у него было немало. Доктор Пларр как-то раз встретил его в заведении матушки Санчес, где он угощал сразу четырех девушек. Девушки, в нарушение местных правил, пили шампанское, хорошее французское шампанское, которое он, как видно, принес с собой. Но на Густаво Эскобара не распространялись никакие правила. Доктор Пларр иногда задавал себе вопрос: не был ли Эскобар одним из клиентов Клары? Какую комедию разыгрывала она перед ним? Уж не смирение ли?

– А чем вы развлекались в Буэнос-Айресе, дорогой Эдуардо?

– Был в посольстве, – крикнул ему в ответ доктор Пларр, – и навещал мать. А вы?

– Жена ходила по магазинам. А я пообедал в отеле «Харлингэм».

Он продолжал щупать плечо доктора Пларра, словно размышляя, не купить ли его для улучшения породы (у него было большое поместье на берегу Параны со стороны Чако).

– Густаво снова покидает меня на целую неделю, – сказала Маргарита, – а перед тем как покинуть, всегда разрешает делать покупки.

Доктору Пларру хотелось перевести разговор на своего преемника Гаспара Вальехо, которого должны были больше интересовать сообщенные ей сведения: Доктору было бы спокойнее на душе, если бы он узнал, что Вальехо все еще друг дома.

– А почему бы вам, Эдуардо, не приехать ко мне в поместье? Я бы вам там устроил неплохую охоту.

– Врач привязан к своим больным, – отговорился доктор Пларр.

Самолет нырнул в воздушную яму, и Эскобару пришлось ухватиться за кресло Пларра.

– Осторожнее, милый. Смотри еще что-нибудь себе повредишь. Лучше сядь.

Может быть, Эскобара рассердил безразличный тон, каким жена выразила свою озабоченность. А может быть, он принял ее предостережение как попытку бросить тень на его machismo. Он произнес с уже откровенной насмешкой:

– Насколько я знаю, сейчас вы привязаны к очень дорогой вам пациентке?

– Мне одинаково дороги все мои пациентки.

– Я слышал, что сеньора Фортнум ожидает ребенка?

– Да. И как вы, наверное, знаете, сеньора Вега тоже, но она не доверяет мне как акушеру. Она пользуется услугами доктора Беневенто.

– Скрытный же вы человек, Эдуардо, – сказал Эскобар.

Он неловко пробрался мимо жены на место у окна и сел. Стоило ему закрыть глаза, и он, казалось, заснул, выпрямившись в кресле. Так, вероятно, выглядел один из его предков, когда спал верхом, пересекая Анды; он мягко покачивался вместе с самолетом, пролетавшим сквозь снежные скопления облаков.

– Что он этим хотел сказать, Эдуардо? – шепотом спросила его жена.

– Почем я знаю?

Насколько он помнил, у Эскобара был крепкий сон. Как-то раз, в самом начале их связи, Маргарита сказала:

– Его ничто не разбудит, разве что мы замолчим. Поэтому продолжай говорить.

– О чем? – спросил он.

– О чем хочешь. Почему бы тебе не рассказать, как ты меня любишь?

Они сидели вдвоем на кушетке, а муж спал в кресле, повернувшись к ним спиной, в другом конце комнаты. Доктору Пларру не было видно, закрыты у него глаза или нет. Он осторожно сказал:

– Я тебя хочу.

– Да?

– Я тебя хочу.

– Не говори так отрывисто, – сказала она и потянулась к Пларру. – Ему надо слышать размеренные звуки тихой речи.

Трудно произносить монолог, когда тебя ласкает женщина. Доктор Пларр в растерянности стал рассказывать сказку о трех медведях, начав ее с середины, и с тревогой наблюдал за могучей, скульптурной головой над спинкой кресла.

– И тогда третий медведь сказал грубым голосом: «А кто съел мою кашу?»

Сеньора Эскобар сидела верхом у него на коленях, как ребенок на деревянной лошадке.

– Тогда все три медведя пошли наверх, и медвежонок спросил: «А кто спал в моей кровати?» – Он стиснул плечи сеньоры Эскобар, потерял нить рассказа и продолжал первой пришедшей ему в голову фразой: – По кочкам, по кочкам, бух...

Когда они снова сели рядом на кушетку, сеньора Эскобар – он еще не привык тогда звать ее Маргаритой – сказала:

– Вы что-то сказали по-английски. Что?

– Я сказал, что страстно вас хочу, – благоразумно схитрил доктор Пларр. Это отец качал его на коленях, мать не знала никаких игр. Может, испанские дети вообще не играют, во всяком случае в детские игры?

– На что Густаво намекал, говоря о сеньоре Фортнуме? – снова спросила Маргарита, вернув его в сегодняшний день и в самолет, который ветер мотал над Параной.

– Понятия не имею.

– Я была бы ужасно разочарована, Эдуардо, если бы у вас оказалось что-то общее с этой маленькой putain. Я ведь до сих пор к вам очень привязана.

– Извините, Маргарита, мне надо поговорить с полковником Пересом.

Внизу под ними мигали огни Ла-Паса, фонари вдоль реки словно прочертили белую полосу; при полной темноте на другом берегу казалось, что эти фонари обозначают край плоской земли. Перес сидел в дальнем конце самолета, возле уборной, и место рядом с ним не было занято.

– Есть какие-нибудь новости, полковник? – спросил доктор Пларр.

– Новости о чем?

– О Фортнуме.

– Нет. Откуда? А вы ждете новостей?

– Я-то думал, что полиция что-нибудь знает... Разве по радио не говорили, что вы ищете его в Росарио?

– Если он действительно был в Росарио, они успели бы привезти его в Буэнос-Айрес.

– А что это был за звонок из Кордовы?

– Наверное, глупая попытка сбить нас с толку. О Кордове не может быть и речи. Когда они звонили, они вряд ли успели даже до Росарио добраться. Езды пятнадцать часов на самой ходкой машине.

– Тогда где же он, по-вашему, находится?

– Вероятно, убит и скинут в реку или же спрятан где-то поблизости. Что вы делали в Буэнос-Айресе?

Вопрос был задан из вежливости, а не в порядке допроса. Переса это интересовало не больше, чем Эскобара.

– Хотел поговорить с послем по поводу Фортнума.

– Да? И что он вам сказал?

– Я нарушил его послеобеденный сон. Он сказал, что беда в том, что никому, в сущности, до Фортнума нет дела.

– Уверю вас, – сказал полковник, – что я так не думаю. Вчера я намеревался как следует прочесать barrio popular, но губернатор счел это чересчур опасным. Если удастся, он хочет избежать стрельбы. В нашей провинции до сих пор было мирно, если не считать небольших беспорядков по поводу священников из развивающихся стран. Губернатор послал меня в Буэнос-Айрес к министру внутренних дел. Мне кажется, он хочет оттянуть развязку. Если он сумеет отсрочить решение этого дела и нам повезет, труп Фортнума обнаружат за пределами нашей провинции. Тогда нас никто не сможет обвинить, что мы действовали неосмотрительно. Шантаж не удастся. Все будут довольны. Кроме меня. Даже ваше правительство – и оно будет довольно. Надеюсь, вдове дадут пенсию?

– Сомневаюсь. Он ведь был всего лишь почетным консулом. А что говорит министр?

– Этот стрельбы не боится. Побольше бы нам таких людей. Советует губернатору действовать вовсю, а если понадобится, то пустить в ход и войска. Президент хочет, чтобы дело было урегулировано до того, как Генерал кончит ловить рыбу. А что еще сказал ваш посол?

– Он сказал, что если бы газеты подняли шум...

– А с чего они его поднимут? Вы слышали дневную передачу по радио? Разбился английский самолет. На этот раз захватчик взорвал гранату. Погибло сто шестьдесят семь человек, сто шестьдесят семь Фортнумов, и один из них – знаменитый киноактер. Нет, доктор Пларр, надо признать, что, на их взгляд, наше дело – просто ерунда.

– Значит, вы хотите умыть руки?

– Ну нет, я всю жизнь занимался ерундой и предпочитал ее улаживать. Папки с нераскрытыми делами занимают слишком много места. Вчера на реке застрелили контрабандиста, теперь мы можем закрыть его дело. Кто-то украл сто тысяч песо из спальни в «Национале», но вор у нас на примете. А рано утром в церкви Ла-Крус обнаружена небольшая бомба. Бомба совсем маленькая – у нас ведь провинция – и должна была взорваться в полночь, когда церковь пуста. Однако, если бы бомба взорвалась, она могла бы повредить чудотворное распятие, а вот это уже сенсация для «Эль литораль» и, может, даже для «Насьон». Не исключено, что и так это уже сенсация. Ходят слухи, будто богородица сошла с алтаря и своими руками вытащила из бомбы запал и что архиепископ посетил место действия. Вы же знаете, что это распятие было впервые спасено задолго до того, как возник Буэнос-Айрес, это когда молния поразила индейцев, хотевших его сжечь. – Дверь из уборной отворилась. – Доктор, вы знакомы с моим коллегой, капитаном Волардо? Я рассказывал доктору о нашем новом чуде, Рубен.

– Смейтесь, смейтесь, полковник, но бомба ведь не взорвалась!

– Видите, доктор, и Рубен уже готов уверовать.

– Пока что я воздержусь высказывать свое мнение. Как и архиепископ. А он человек образованный.

– Я-то думал, что взрыватель был плохо пригнан.

– А почему он был плохо пригнан? Надо всегда смотреть в корень. Чудо похоже на

преступление. Вы говорите, что взрыватель был небрежно пригнан, но почему мы знаем, что это не богородица водила рукой, вставлявшей взрыватель?

– И все же я предпочитаю верить, что нас держат в воздухе моторы – пусть их производил и не «Роллс-Ройс», – а не божественное вмешательство.

Самолет снова нырнул в воздушную яму, и в салоне зажглась надпись, предлагавшая застегнуть ремни. Доктору Пларру показалось, что полковника слегка мутит. Он вернулся на свое место.

2

Доктор Пларр передал приглашения по телефону из аэропорта и стал ждать своих гостей на террасе «Националя». Он набросал письмо на бланке гостиницы в самых сдержанных выражениях – посол, как ему казалось, счел бы их трезвыми и убедительными. Город просыпался к вечеру после долгого послеобеденного отдыха. Вдоль набережной проехала вереница автомашин. Белая обнаженная статуя в бельведере сияла в электрическом свете, а реклама кока-колы горела алым светом, как лампадки у гробницы святого. С берега Чако паром выкрикивал в темноту какое-то предостережение. Шел десятый час – ужинать большинству жителей было еще рано, – и доктор Пларр сидел на террасе один, если не считать доктора Беневенто и его жены. Доктор Беневенто маленькими глоточками потягивал аперитив, словно недоверчиво пробовал лекарство, прописанное конкурентом, а его жена, суровая женщина средних лет, которая носила на груди большой золотой крест как некий знак отличия, не пила ничего и наблюдала, как исчезает аперитив супруга, с притворным долготерпением. Доктор Пларр вспомнил, что сегодня четверг и доктор Беневенто, вероятно, пришел в отель прямо после осмотра девушек матушки Санчес. Оба доктора делали вид, что не знают друг друга: несмотря на долгие годы со времени его приезда из Буэнос-Айреса, доктор Пларр все еще был в глазах доктора Беневенто пришлым пролазой.

Первым из его гостей пришел Хэмфрис. Он был в темном костюме, застегнутом на все пуговицы, и в этот сырой вечер лоб его блестел от испарины. Настроение его отнюдь не улучшилось, когда дерзкий москит впился ему в лодыжку сквозь толстый серый шерстяной носок. Преподаватель английского языка сердито шлепнул себя по ноге.

– Когда вы позвонили, я как раз собирался в Итальянский клуб, – пожаловался он, явно возмущенный тем, что его лишили привычного гуляша.

Заметив на столе третий прибор, он спросил:

– Кто еще придет?

– Доктор Сааведра.

– Господи, зачем? Не понимаю, что вы находите в этом типе. Надутый осел.

– Я подумал, что его совет может нам пригодиться. Хочу написать письмо в газеты насчет Фортнума от имени Англо-аргентинского клуба.

– Вы смеетесь. Какого клуба? Его же нет в природе.

– А мы сегодня учредим этот клуб. Надеюсь, Сааведра согласится стать почетным

президентом, я буду председателем. Вы ведь не откажетесь взять на себя обязанности почетного секретаря? Дел будет не слишком много.

– Это чистое безумие, – сказал Хэмфрис. – Насколько я знаю, в городе живет еще только один англичанин. Вернее, жил. Я убежден, что Фортнум скрылся. Эта женщина, наверное, стоила ему кучу денег. Рано или поздно мы услышим о неоплаченных счетах в консульстве. А скорее всего, вообще ничего не услышим. Посольские в Буэнос-Айресе, конечно, постараются замять это дело. Блюдут честь своей так называемой дипломатической службы. Правды ведь все равно никогда не узнаешь.

На это он постоянно и совершенно искренне сетовал. Правда была для него сложным предложением, которое его ученики никак не могли разобрать грамматически правильно.

– Да нет же, никто не сомневается, что его похитили, – сказал доктор Плarr. – Вот это действительно правда. Я говорил с Пересом.

– Вы верите тому, что говорит полицейский?

– Этому полицейскому верю. Послушайте, Хэмфрис, не упрямитесь. Мы должны как-то помочь Фортнуму. Даже если он и повесил наш флаг вверх ногами. Бедняге осталось жить всего три дня. Строго между нами, это посол сегодня посоветовал мне составить обращение в газеты. Любое, лишь бы привлечь какое-то внимание к Фортнуму. От имени местного Английского клуба. Ну да, да, вы это уже говорили. Конечно, такого клуба нет. Когда я летел назад, я подумал, что лучше назвать клуб Англо-аргентинским. Тогда мы сможем воспользоваться именем Сааведры и у нас будет больше шансов пробиться в газеты Буэнос-Айреса. Мы сможем сказать, как много Фортнум сделал, чтобы укрепить наши отношения с Аргентиной. О его культурной деятельности.

– Культурной деятельности! Отец его был отъявленным пьянчугой, и Чарли Фортнум пошел в него. Помните тот вечер, когда нам пришлось тащить его на себе в «Боливар»? Он ведь на ногах не держался. Все, что он сделал для наших отношений с Аргентиной, – это женился на местной проститутке.

– Все равно мы не можем обречь его на смерть.

– Я бы и мизинцем не пошевелил ради этого человека, – заявил Хэмфрис.

Что-то происходило в зале «Националя». Метрдотель, который вышел на террасу подышать воздухом перед началом вечернего столпотворения, поспешил назад. Официант, направлявшийся к столику доктора Беневенто, с полпути бросился на чей-то зов. За высокой стеклянной дверью ресторана доктор Плarr заметил голубовато-серый переливчатый костюм Хорхе Хулио Сааведры – писатель остановился, чтобы перекинуться словами со служащими. Гардеробщица приняла у него шляпу, официант взял трость, директор ресторана устремился из конторы к метрдотелю. Доктор Сааведра что-то объяснял, указывая то на одно, то на другое; когда он вышел на террасу к столику доктора Плarr, за ним тянулась целая свита. Даже доктор Беневенто приподнялся со стула, когда доктор Сааведра косолапо проследовал мимо него в своих сверкающих остроносых ботинках.

– Вот и великий писатель, – усмехнулся Хэмфрис. – Держу пари, никто из них не читал ни слова из того, что им написано.

– Вероятно, вы правы, но его прадед был здешним губернатором, – отозвался доктор Плarr.
– У них в Аргентине сильно развита историческая память.

Управляющий пожелал узнать, доволен ли доктор Сааведра тем, как стоит столик; метрдотель шепнул доктору Плarrу, что будет подано специальное блюдо, которого нет в

меню, – сегодня они получили из Игуазу свежую лососину; найдется и dorado [сорт рыбы (исп.)], если эту рыбу предпочитают гости доктора Пларра.

Когда служащие постепенно удалились, доктор Сааведра произнес:

– Какая глупость! Чего это они так суетятся?.. Я ведь только сказал, что намерен описать «Националь» в одном из эпизодов моего нового романа. И хотел объяснить, куда я хочу посадить своего героя. Мне нужно точно установить, что находится в поле его зрения, когда его враг, Фуэраббиа, ворвется с террасы с оружием в руках.

– Это будет детектив? – коварно спросил Хэмфрис. – Люблю хорошие детективы.

– Надеюсь, я никогда не стану писать детективов, доктор Хэмфрис, если под детективом вы подразумеваете эти абсурдные головоломки, нечто вроде литературных ребусов. В моей новой книге я исследую психологию насилия.

– Снова у гаучо?

– Нет, не у гаучо. Это современный роман – мой второй экскурс в политику. Действие происходит во времена диктатора Росаса [Росас, Хуан Мануэль Ортас де (1793-1877) – фактический диктатор Аргентины с 1835 по 1852 год].

– Вы же, по-моему, сказали, что роман современный.

– Идеи современные. Если бы вы, доктор Хэмфрис, были не преподавателем литературы, а писателем, вы бы знали, что романист должен несколько отдалиться от своей темы. Ничто не устаревает быстрее, чем сегодняшней день. Вы же не ожидаете от меня, чтобы я написал о похищении сеньора Фортнума. – Он повернулся к доктору Пларру. – Мне нелегко было освободиться вечером, произошла небольшая неприятность, но, когда вызывает мой врач, я должен повиноваться. Так в чем же дело?

– Мы с доктором Хэмфрисом решили учредить Англо-аргентинский клуб.

– Отличная идея. А какова будет сфера его деятельности?

– Разумеется, область культуры. Литература, археология... Мы бы просили вас стать его президентом.

– Вы оказываете мне честь, – произнес доктор Сааведра.

– Мне бы хотелось, чтобы одним из первых шагов нашего клуба стало обращение к прессе по поводу похищения Фортнума. Если бы он был здесь, он, конечно, тоже стал бы членом нашего клуба.

– Чем я могу вам помочь? – спросил доктор Сааведра. – С сеньором Фортнумом я был едва знаком. Встретился раз у сеньоры Санчес...

– Я кое-что тут набросал... наспех. Я ведь не писатель, выписываю только рецепты.

– Он сбежал. Только и всего, – вставил Хэмфрис. – Вероятно, сам все и подстроил. Лично я отказываюсь подписывать.

– Тогда нам придется обойтись без вас, Хэмфрис. Но после опубликования письма ваши друзья – если они у вас есть – могут задуматься, почему вы не являетесь членом Англо-аргентинского клуба. Еще решат, что вас забаллотировали.

– Вы же знаете, что никакого клуба нет.

– Нет, простите, такой клуб уже есть, и доктор Сааведра согласился быть его президентом. Это наш первый клубный обед. И нам подадут прекрасную лососину из Игуазу. Если не желаете стать членом клуба, ступайте есть гуляш в своем итальянском притоне.

– Вы что, меня шантажируете?

– Для благих целей.

– В моральном отношении вы ничуть не лучше этих похитителей.

– Может, и не лучше, а все же я бы не хотел, чтобы они убили Чарли Фортнума.

– Чарли Фортнум позорит свою родину.

– Не будет подписи – не будет и лососины.

– Вы не оставляете мне выбора, – сказал доктор Хэмфрис, разворачивая салфетку.

Доктор Сааведра, внимательно прочитав письмо, положил его рядом с тарелкой.

– Нельзя мне взять его домой и отредактировать? Здесь не хватает – не обижайтесь на критику, она продиктована чувством профессионального долга, – не хватает ощущения крайней насущности этого шага. Письмо оставляет читателя холодным, словно отчет какой-нибудь фирмы. Если вы поручите дело мне, я напишу письмо более яркое, полное драматизма. Такое, что его придется напечатать уже в силу его литературных достоинств.

– Я хотел бы сегодня же вечером передать письмо по телеграфу в лондонскую «Таймс» и поместить в завтрашние газеты Буэнос-Айреса.

– Такое письмо нельзя составлять наспех, доктор Плarr, к тому же я пишу медленно. Дайте мне время до завтра, обещаю, что это себя оправдает.

– Бедняге, может быть, осталось всего три дня жизни. Я бы предпочел протелеграфировать свой черновик сегодня, а не ждать до завтра. Там, в Англии, завтра уже наступило.

– Тогда вам придется обойтись без моей подписи. Очень сожалею, но для меня было бы ошибкой поставить свою подпись под письмом в его нынешнем виде. Никто в Буэнос-Айресе не поверит, что я к нему причастен. Оно содержит – простите меня – такие избитые фразы. Вы только послушайте...

– Поэтому я и хотел, чтобы вы его переписали. И уверен, что вы это можете сделать сейчас. Тут же, за столом.

– Неужели вы думаете, что писать так легко? А вы бы проделали сложную операцию с места в карьер, здесь, на столе? Если нужно, я просижу всю ночь. Литературные достоинства письма, которое я напишу, даже в переводе с лихвой искупят любую задержку. Кстати, кто его переведет – вы или доктор Хэмфрис? Я хотел бы просмотреть перевод, прежде чем вы отошлете его за границу. Я, конечно, доверяю вашей точности, но это вопрос стиля. Наше письмо должно дойти до сердца читателя, донести до него образ этого несчастного...

– Чем меньше вы донесете его образ, тем лучше, – заметил Хэмфрис.

– Насколько я понимаю, сеньор Фортнум человек простой – не очень мудрый или думающий, и вот он стоит перед угрозой насильственной смерти. Быть может, он прежде о смерти даже и не помышлял. В таком положении человек либо поддается страху, либо мужает как личность. Возьмите случай с сеньором Фортнумом. Он женат на молодой женщине, ожидает ребенка...

– У нас нет времени писать на этот сюжет роман, – сказал доктор Пларр.

– Когда я с ним познакомился, он был слегка пьян. Мне было не по себе в его обществе, пока я не обнаружил у него под маской веселья глубокую тоску.

– А вы недалеко от истины, – удивился доктор Пларр.

– Я думаю, он пил по той же причине, по какой я пишу, – чтобы не так страдать от душевного уныния. Он сразу мне признался, что влюблен.

– Влюблен в шестьдесят лет! – воскликнул Хэмфрис. – Пора бы ему быть выше подобных глупостей.

– Я вот их еще не преодолел, – сказал доктор Сааведра. – А если бы преодолел, то не смог бы больше писать. Половой инстинкт и инстинкт творческий живут и умирают вместе. Некоторые люди, доктор Хэмфрис, сохраняют молодость дольше, чем вы можете судить по своему опыту.

– Ему просто хотелось всегда иметь под рукой проститутку. Вы это называете любовью?

– Давайте вернемся к письму... – предложил доктор Пларр.

– А что вы называете любовью, доктор Хэмфрис? Свадьбу по расчету в испанском духе? Многодетное семейство? Позвольте вам сказать, что я и сам когда-то любил проститутку. Такая женщина может обладать большим великодушием, чем почтенная матрона из Буэнос-Айреса. Как поэту мне больше помогла одна проститутка, чем все критики, вместе взятые... или преподаватели литературы.

– Я думал, вы не поэт, а прозаик.

– По-испански «поэт» не только тот, кто пишет рифмами.

– Письмо! – прервал доктор Пларр. – Попытаемся закончить письмо прежде, чем мы покончим с лососиной.

– Дайте спокойно подумать... Вступительная фраза – ключ ко всему остальному. Надо найти верный тон, даже верный ритм. Верный ритм так же важен в прозе, как верный размер в стихотворении. Лососина отличная. Можно попросить еще бокал вина?

– Если напишете письмо, пейте хоть целую бутылку.

– Сколько шума из-за Чарли Фортнума, – сказал доктор Хэмфрис. Он доел свою лососину, допил вино, теперь ему больше нечего было бояться. – Знаете, возможна и другая причина его исчезновения: он не хочет стать отцом чужого ребенка.

– Я предпочел бы начать письмо с описания личности жертвы, – объявил доктор Сааведра, помахивая шариковой ручкой; кусочек лососины прилип к его верхней губе. – Но почему-то образ сеньора Фортнума от меня ускользает. Приходится вычеркивать чуть не каждое слово. В романе я бы мог создать его образ несколькими штрихами. Мне мешает то, что речь идет о живом человеке. Это подрезает мне крылья. Стоит написать фразу, как я чувствую, будто сам Фортнум хватается меня за руку и говорит: «Но я ведь совсем не такой».

– Позвольте мне налить вам еще вина.

– Он мне говорит и другое, что меня тоже смущает: «Почему вы пытаетесь вернуть меня к той жизни, которую я вел, к жизни унылой и лишенной достоинства?»

– Чарли Фортнума больше заботило, хватит ли ему виски, достоинство мало его заботило, – бросил доктор Хэмфрис.

– Вникните поглубже в чей-нибудь характер, пусть даже в свой собственный, и вы обнаружите там machismo.

Шел одиннадцатый час, и на террасу стали стекаться посетители ужинать. Они шли с разных сторон, оглядя столик доктора Пларра, словно кочевники, обходившие скалу в пустыне; некоторые из них несли детей. Ребенок, похожий на воскового божка, прямо сидел в коляске; бледная трехлетняя девочка в голубом нарядном платьице ступала по мраморной пустыне, пошатываясь от усталости, в ее крошечных ушках были продеты золотые серьги; шестилетний мальчик топал вдоль стены террасы, зевая на каждом шагу. Можно было подумать, что все они пересекли целый континент, прежде чем сюда попасть. На рассвете, опустошив это пастбище, кочевники соберут свой скарб и двинутся к новому привалу.

Доктор Пларр с нетерпением сказал:

– Верните мне письмо. Я хочу послать его таким, как есть.

– Тогда я не смогу поставить свою подпись.

– А вы, Хэмфрис?

– Я не подпишу. Теперь вы меня не запугаете. С лососиной я покончил.

Пларр взял письмо и разорвал его пополам. Он положил на стол деньги и поднялся.

– Доктор Пларр, я жалею, что вас рассердил. Стил у вас неплохой, но он сугубо деловой, и никто не поверит, что письмо писал я.

Пларр пошел в уборную. Умывая руки, он подумал: я похож на Пилата; но это была та тривиальность, которую доктор Сааведра не одобрил бы. Мыл руки он тщательно, словно собираясь обследовать больного. Вынув руки из воды, он посмотрел в зеркало и спросил свое озабоченное отражение: женюсь я на Кларе, если они убьют Фортнума? Это не обязательно: Клара вовсе не рассчитывает, что он на ней женится. Если она получит в наследство поместье, она сможет его продать и уехать домой в Тукуман. А может быть, снимет квартиру в Буэнос-Айресе и будет есть пирожные, как его мать. Для всех будет лучше, если Фортнум останется жив. Фортнум будет лучшим отцом ребенку, чем он: ребенку нужна любовь.

Вытирая руки, он услышал за спиной голос доктора Сааведры:

– Вы считаете, доктор, что я вас подвел, но вы не знаете всех обстоятельств.

Романист мочился, завернув правый рукав своего голубовато-серого пиджака, – он был человек брезгливый.

Доктор Пларр ответил:

– Мне казалось, что, давая вам на подпись письмо, пускай даже плохо написанное, я не прошу слишком многого. Ведь речь идет о человеческой жизни!

– Пожалуй, мне лучше объяснить вам подлинную причину моего отказа. Сегодня мне одной пилюли будет мало. Мне нанесли большой удар. – Доктор Сааведра застегнул брюки и повернулся. – Я говорил вам о Монтесе?

– О Монтесе? Нет, такого имени не помню.

– Это молодой прозаик из Буэнос-Айреса – теперь уже не такой молодой, кажется, старше вас, годы бегут. Я помог ему опубликовать первый роман. Очень необычный роман. Сюрреалистический, но превосходно написанный. Издательство «Эмесе» его забракowało. «Сур» отклонил, и мне удалось уговорить моего издателя принять рукопись, пообещав, что я напишу о ней положительную рецензию. В те дни я вел в газете «Насьон» еженедельную колонку, весьма и весьма влиятельную. Монтес мне нравился. У меня было к нему что-то вроде отеческого чувства. Несмотря на то, что последние годы в Буэнос-Айресе я встречался с ним очень редко. Пришел успех – и у него появились новые друзья. И все же при всякой возможности я хвалил его. А теперь взгляните, что он написал обо мне. – Он вынул из кармана сложенную газету.

Это была длинная, бойко написанная статья. Темой ее было отрицательное влияние эпической поэмы «Мартин Фьерро» [поэма Хосе Рафаэля Эрнандеса (1834-1886) о тяжелой доле гаучо] на аргентинский роман. Автор делал поблажку для Борхеса, нашел несколько хвалебных слов для Мальеа и Сабато, но жестоко насмеялся над романами Хорхе Хулио Сааведры. В тексте так и мелькал эпитет «посредственность», а слово «machismo» издевательски повторялось чуть не в каждом абзаце. Была ли это месть за покровительство, когда-то оказанное ему Сааведрой, за все назойливые советы, которые, вероятно, ему приходилось выслушивать?

– Да, это предательство, – сказал доктор Пларр.

– Он предал не только меня. Он предал родину. «Мартин Фьерро» – это и есть Аргентина. Мой дед был убит на дуэли. Он дрался голыми руками с пьяным гаучо, который нанес ему оскорбление. Что было бы с нами сегодня, – доктор Сааведра взмахнул руками, словно обнимая всю комнату от умывальника до писсуара, – если бы наши отцы не почитали machismo? Смотрите, что он пишет о девушке из Сальты. Он даже не понял символики того, что у нее одна нога. Представьте себе, как бы он издевался над стилем вашего письма, если бы я его подписал! «Бедный Хорхе Хулио! Вот что происходит с писателем, который бежит от своей среды и скрывается где-то в провинции. Он пишет, как конторщик». Как бы я хотел, чтобы Монтес был здесь, я бы показал ему, что значит machismo. Прямо здесь, на этом кафельном полу.

– У вас есть при себе нож? – спросил доктор Пларр, тщетно надеясь вызвать у него улыбку.

– Я дрался бы с ним, как мой дед, голыми руками.

– Ваш дед был убит, – сказал доктор Пларр.

– Я не боюсь смерти, – возразил доктор Сааведра.

– А Чарли Фортнум ее боится. Это такая мелочь – подписать письмо.

– Мелочь? Подписать такую прозу? Мне было бы легче отдать свою жизнь. О, я знаю, это невозможно понять, если человек не писатель.

– Я стараюсь понять, – сказал доктор Пларр.

– Вы хотите привлечь внимание к делу сеньора Фортнума? Правильно?

– Да.

– Тогда вот что я вам посоветую. Сообщите газетам и вашему правительству, что я предлагаю себя в заложники вместо него.

– Вы говорите серьезно?

– Совершенно серьезно.

А ведь это может подействовать, подумал доктор Пларр, есть маленькая возможность, что в такой сумасшедшей стране это подействует. Он был тронут.

– Вы храбрый человек, Сааведра, – сказал он.

– По крайней мере я покажу этому щенку Монтесу, что machismo не выдумка автора «Мартина Фьерро».

– Вы отдаете себе отчет, что они могут принять ваше предложение? – спросил Пларр. – И тогда больше не будет романов Хорхе Хулиа Сааведры, разве что вас читает Генерал и в Парагвае у вас много почитателей.

– Вы протелеграфируете в Буэнос-Айрес и в лондонскую «Таймс»? Про «Таймс» не забудете? Два моих романа были изданы в Англии. Да, еще и в «Эль литораль». Надо им позвонить. Похитители наверняка читают «Эль литораль».

Они вдвоем зашли в пустую комнату директора ресторана, и доктор Пларр набросал телеграммы. Повернувшись, он заметил, что глаза доктора Сааведры покраснели от непролитых слез.

– Монтес был мне все равно что сын, – сказал Сааведра. – Я восхищался его книгами. Они были так не похожи на мои собственные, но в них были свои достоинства... Я отдавал дань этим достоинствам. А он, как видно, всегда меня презирал. Я старый человек, доктор Пларр, так что смерть все равно от меня не так уж далека. История человека, рассказанная мной директору, – человека, который сюда врывается, должна была лечь в основу моего нового романа, я собирался назвать его «Незванный гость», но, вероятно, он так и не будет дописан. Даже когда я задумал роман, я знал, что это скорее его тема, а не моя. Когда-то я давал ему советы, а теперь, как видите, собрался ему подражать. Подражать – право молодости. Я предпочту смерть, но такую, какую даже Монтес должен будет уважать.

– Он скажет, что и вас в конце концов погубил «Мартин Фьерро».

– Большинство из нас в Аргентине губит «Мартин Фьерро». Но человек вправе сам выбрать день своей смерти.

– Чарли Фортнуму не дают этого выбора.

– Сеньор Фортнум стал жертвой непредвиденного стечения обстоятельств. Согласен, это не похоже на достойную смерть. Скорее, на уличную катастрофу или на тяжелый грипп.

Доктор Пларр предложил отвезти Сааведру домой на машине. Писатель еще ни разу не приглашал его к себе, и он воображал, что тот живет в каком-нибудь старинном доме в колониальном стиле с зарешеченными окнами, выходящими на тенистую улицу, с апельсиновыми деревьями и лапачо в саду, – в доме, таком же парадном и старомодном, как его одежда. Быть может, на стене висят портреты прадеда – губернатора провинции – и деда, убитого гаучо.

– Это недалеко. Мне нетрудно дойти пешком, – сказал Сааведра.

– Пожалуй, нам стоит еще немного обсудить ваше предложение, договориться, как получше его осуществить.

– Это уже от меня не зависит.

– Не совсем так.

В машине доктор Пларр объяснил писателю, что с того момента, как его предложение будет опубликовано в «Эль литораль», за ним станет следить полиция.

– Похитителям ведь надо с вами связаться и предложить какой-то способ обмена. Проще, если вы сегодня уедете, прежде чем полиция обо всем этом узнает. Вы можете скрыться у кого-нибудь из ваших приятелей за городом.

– А как похитители меня найдут?

– Ну, хотя бы через меня. Они, вероятно, знают, что мы с сеньором Фортнумом друзья.

– Не могу же я бежать и скрываться, как преступник.

– Иначе им будет трудно принять ваше предложение.

– Кроме того, – сказал доктор Сааведра, – я не могу бросить работу.

– Но вы же можете взять ее с собой.

– Вам легко так говорить. Вы можете лечить пациента где угодно, ваш опыт всегда при вас. А моя работа связана с моим кабинетом. Когда я приехал из Буэнос-Айреса, я почти год не мог взяться за перо. Моя комната казалась мне гостиничным номером. Чтобы писать, нужен домашний очаг.

Домашний очаг... Доктор Пларр был поражен, обнаружив, что писатель живет недалеко от тюремной стены, в доме даже более современном и убогом, чем тот, в котором жил он сам. Серые многоквартирные дома стояли квадратами и словно являлись продолжением тюрьмы. Так и казалось, что корпуса обозначены буквами А, Б и В для различных категорий преступников. Квартира доктора Сааведры находилась на третьем этаже, а лифта не было. У подъезда дети играли в нечто вроде кеглей консервными банками, и по всей лестнице Пларра преследовал запах кухни. Доктор Сааведра, видно, почувствовал, что тут нужны объяснения. Постояв на втором этаже, чтобы перевести дух, он сказал:

– Вы же знаете, что писатель не наносит визитов, как врач. Он постоянно живет со своей темой. Я пишу о народе, и мне было бы не по себе в буржуазной обстановке. Хорошая женщина, которая у меня убирает, – жена тюремного надзирателя. Здесь я чувствую себя в подходящем milieu [окружении (франц.)]. Я вывел ее в последней книге. Помните? Там ее зовут Катерина, она вдова сержанта. Кажется, мне удалось ухватить ее образ мыслей. – Он открыл дверь и сказал с вызовом: – Вот вы и попали в самую сердцевину того, что мои критики называют миром Сааведры.

Как выяснилось, это был очень маленький мир. У доктора Пларра создалось впечатление, что долгие занятия литературой не принесли писателю заметных материальных благ, если не считать приличного костюма, до блеска начищенных туфель и уважения директора ресторана. Столовая была узкой и длинной, как железнодорожное купе. Единственная полка с книгами (большинство из них самого Сааведры), ломберный стол, который, если его раздвинуть, занял бы почти всю комнату, картина XIX века, изображавшая гаучо на коне, кресло и два жестких стула – вот и вся обстановка, не считая громадного старинного шкафа красного дерева, который когда-то украшал более просторные покои, поскольку верхние завитушки в стиле барокко пришлось спилить из-за низкого потолка. Две двери, которые доктор Сааведра поспешил захлопнуть, на минуту приоткрыли Пларру монашескую кровать и кухонную плиту с выщербленной эмалью. В окно, затянутое ржавой противомоскитной сеткой, доносился лязг жестянок, которыми внизу играли дети.

– Могу я предложить вам виски?

– Совсем немного, пожалуйста.

Доктор Сааведра открыл шкаф – он был похож на огромный сундук, где в чайники отъезда сложили имущество, накопленное за целую жизнь. Там висели два костюма. На полках вперемешку лежали рубашки, белье и книги; в глубине среди каких-то вещей прислонился зонтик; с перекладины свисали четыре галстука; на дне лежала пачка фотографий в старомодных рамках вместе с двумя парами туфель и какими-то книгами, для которых не нашлось другого места. На полочке над костюмами стояли бутылка виски, наполовину пустая бутылка вина, несколько бокалов – один из них с отбитыми краями, хлебница и лежали ножи и вилки.

Доктор Сааведра сказал с вызовом:

– Тут тесновато, но, когда я пишу, я не люблю, чтобы было слишком просторно. Пространство отвлекает. – Он смущенно посмотрел на доктора Пларра и натянуто улыбнулся. – Это колыбель моих персонажей, доктор, поэтому для всего остального мало места. Вам придется меня извинить – я не могу предложить вам льда: утром испортился холодильник, а монтер еще не явился.

– После ужина я предпочитаю виски неразбавленным, – сказал доктор Пларр.

– Тогда я достану вам бокал поменьше.

Чтобы дотянуться до верхней полки, ему пришлось встать на носки своих маленьких сверкающих ботинок. Дешевый пластмассовый абажур, раскрашенный розовыми цветами, которые слегка побурели от жары, едва скрадывал резкость верхнего света. Глядя, как доктор Сааведра с его сединой, голубовато-серым костюмом и ослепительно начищенными ботинками достает бокал, доктор Пларр был так же удивлен, как когда-то, увидев девушку в ослепительно белом платье, выходящую из глинобитной лачуги в квартале бедноты, где не было водопровода. Он почувствовал к доктору Сааведре уважение. Каковы бы ни были его книги, его одержимость литературой не казалась бессмысленной. Ради нее он готов был терпеть бедность, а скрытую бедность куда тяжелее вынести, чем откровенную. Чего ему стоило навести лоск на ботинки, выгладить костюм... Он не мог позволить себе разгильдяйства, как молодые. Даже стричься полагалось регулярно. Оторванная пуговица обнаружила бы слишком многое. В истории аргентинской литературы он, вероятно, будет помянут только в подстрочном примечании, но это примечание он заслужил. Бедность комнаты была подтверждением неутомимой преданности литературе.

Доктор Сааведра засеменил к нему с двумя бокалами.

– Сколько, по-вашему, нам придется ждать ответа? – спросил он.

– Ответа может и не быть.

– Кажется, ваш отец числится в списке тех, кого они требуют освободить?

– Да.

– Представляю себе, как странно вам было бы увидеть отца после стольких лет. Какое счастье для вашей матери, если...

– По-моему, она предпочла бы знать, что он мертв. Ему нет места в той жизни, которую она ведет.

– А может быть, если сеньор Фортнум вернется, его жена тоже не будет ему рада?

– Почему я могу это знать?

– Бросьте, доктор Пларр, у меня же есть друзья в доме сеньоры Санчес.

– Значит, она была там опять? – спросил доктор Пларр.

– Я ходил туда сегодня под вечер, и она была там. Все с ней носились – даже сеньора Санчес. Может быть, она надеется ее вернуть. Когда доктор Беневенто пришел осматривать девушек, я проводил ее в консульство.

– И она вам рассказала обо мне?

Его раздосадовала ее несдержанность, но вместе с тем он почувствовал облегчение. Он избавлялся от необходимости соблюдать тайну. В городе не было никого, с кем бы он мог поговорить о Кларе, а где же найдешь лучшего наперсника, чем собственный пациент? Ведь и у доктора Сааведры есть тайны, которые он не захочет сделать общим достоянием.

– Она рассказала мне, как вы были к ней добры.

– И это все?

– Старые друзья понимают друг друга с полуслова.

– Она – одна из тех, с кем вы там бывали? – спросил доктор Пларр.

– По-моему, с ней я был только раз.

Доктор Пларр не почувствовал ревности. Представить себе, как обнаженная Клара при свете свечи ждет, пока доктор Сааведра вешает свой голубовато-серый костюм, было все равно что смотреть с верхнего ряда галерки грустную и в то же время комическую сцену. Расстояние так отдаляло от него действующих лиц, что он мог ощущать лишь легкое сочувствие.

– Значит, она вам не очень понравилась, раз вам не захотелось побыть с ней еще раз?

– Дело не в том, понравилась мне она или нет, – сказал доктор Сааведра. – Она славная девушка и к тому же довольно привлекательная, но в ней нет того

особенного, что мне требуется. Она никогда не производила на меня впечатление как личность – извините, если я выражаюсь языком критики, – личность из мира Хорхе Хулио Сааведры. Монтес утверждает, что этот мир не существует. Что он знает, сидя там, в Буэнос-Айресе? Разве Тереса не существует – помните тот вечер, когда вы с ней познакомились? Я не пробыл с нею и пяти минут, как она стала для меня девушкой из Сальты. Она что-то сказала – даже не помню, что именно. Я был с ней четыре раза, а потом мне пришлось от нее отказаться – слишком многое из того, что она говорила, не ложилось в мой образ. Мешало моему замыслу.

– Клара родом из Тукумана. Вы ничего от нее не почерпнули?

– Тукуман мне не подходит. Мое место действия – это районы контрастов. Монтес этого не понимает. Трелью... Сальта. Тукуман нарядный город, окруженный полумиллионом гектаров сахарного тростника. Сплошная еппи [тоска (франц.)]. Ее отец работал на уборке сахарного тростника, не так ли? А брат пропал.

– Мне казалось, что это подходящий для вас сюжет, Сааведра.

– Нет, он не для меня. И она не стала для меня живым существом. Там – уныние, бедность и

никакого machismo на полмиллиона гектаров. – Он храбро добавил, словно их не оглушал лязг жестянок, катавшихся взад-вперед по цементу: – Вы себе не представляете, какой тихой и унылой может быть неприкрытая бедность. Дайте я налью вам еще немного виски. Это настоящий «Джони Уокер».

– Нет, нет, спасибо. Мне пора домой. – Однако он медлил. Считается, что писатели обладают какой-то мудростью... Он спросил: – Как вы думаете, что будет с Кларой, если Фортнум умрет?

– Может быть, вы на ней женитесь?

– Разве я могу? Мне пришлось бы отсюда уехать.

– Вы легко сможете устроиться где-нибудь получше. В Росарио?..

– Здесь ведь и мой дом, – сказал доктор Пларр. – Во всяком случае, это больше похоже на дом, чем все, что было с тех пор, как я уехал из Парагвая.

– И тут вы чувствуете, что отец к вам ближе?

– А вы и в самом деле человек проницательный, Сааведра. Да, возможно, я переехал сюда потому, что здесь я ближе к отцу. Когда я лечу в квартале бедноты, я знаю, что он бы меня одобрил, но, когда я хожу к своим богатым пациентам, у меня такое чувство, будто я бросил его друзей, чтобы помогать его врагам. Бывает, что с кем-нибудь из них я даже пересплю, но когда проснусь и погляжу его глазами, на лицо рядом на подушке... Возможно, это одна из причин, почему мои связи никогда не длятся долго; а когда я пью чай с матерью на калье Флорида в обществе других дам Буэнос-Айреса... он тоже там сидит и осуждающе смотрит на меня своими голубыми английскими глазами. Мне кажется, Клара бы понравилась отцу. Она из его бедняков.

– Вы любите эту девушку?

– Любовь, любовь... Хотел бы я знать, что вы и все остальные понимаете под этим словом. Да, я ее хочу. Время от времени. Как известно, физическое влечение имеет свой ритм. – Он добавил: – Это длится дольше, чем с другими. Тереса стала для вас одноногой девушкой из Сальты. Пожалуй, Клара – просто одна из моих бедняков. Но я ни за что не хотел бы, чтобы она стала моей жертвой. Не это ли чувствовал Чарли Фортнум, когда на ней женился?

Доктор Сааведра сказал:

– Может, я больше вас не увижу. Я приходил к вам за пилюлями против меланхолии, но у меня есть по крайней мере моя работа. Кажется, эти пилюли нужнее вам.

Доктор Пларр рассеянно на него посмотрел. Мысли его были заняты другим.

Войдя дома в лифт, доктор Пларр вспомнил, с каким волнением поднималась в нем впервые Клара. А что, если позвонить в консульство и позвать ее сюда? Кровать в консульстве слишком узка для двоих, и, если он пойдет туда, ему придется рано уйти, прежде чем появится женщина, похожая на ястреба.

Он закрыл за собой дверь и раньше всего зашел в кабинет, чтобы взглянуть, не оставила ли секретарша Ана на столе какую-нибудь записку, но там ничего не было. Раздвинув шторы, он поглядел вниз на порт: у киоска с кока-колой стояли трое полицейских – может быть, потому, что к причалу подошел пароход, совершавший еженедельный рейс в Асунсьон. Сцена эта напоминала ему детство, но теперь он глядел на нее из окна пятого этажа с противоположной стороны реки.

Он произнес вслух: «Да поможет тебе бог, отец, где бы ты ни был». Легче было верить в бога с обычным человеческим слухом, чем во всемогущую силу, которая умеет читать в твоих мыслях. Как ни странно, когда он произносил эти слова, перед ним возникло лицо не его отца, а Чарли Фортнума. Почетный консул лежал вытянувшись на крышке гроба и шептал: «Тед». Отец доктора Пларра звал его Эдуардо в угоду жене. Он попытался подменить лицо Чарли Фортнума лицом Генри Пларра, но годы стерли отцовские черты. Как на древней монете, которая долго пролежала в земле, он мог различить только легкую неровность там, где когда-то были очертания щек или губ. И это был голос Чарли Фортнума, который снова звал его: «Тед!»

Он отвернулся – разве он не сделал все, что в его силах, чтобы помочь? – и открыл дверь спальни. При свете, падавшем из кабинета, он увидел под простыней тело жены Фортнума.

– Клара! – сказал он.

Она сразу проснулась и села. Он заметил, что она аккуратно сложила одежду на стуле – ее приучила к этому бывшая профессия. Женщина, которой приходится раздеваться несколько раз за ночь, должна тщательно складывать свои вещи, не то после двух или трех клиентов платье будет безнадежно измято. Как-то раз она ему рассказала, что сеньора Санчес заставляет девушек платить за стирку – это приучает к аккуратности.

– Как ты вошла?

– Попросила швейцара.

– Он тебе открыл?

– Он меня знает.

– Он тебя здесь видел?

– Да. И там тоже.

Значит, я делил ее и со швейцаром, подумал Пларр. Сколько же еще неизвестных солдат на этом поле боя рано или поздно оживут и обретут плоть? Ничего более чуждого жизни на калье Флорида, со звяканьем чайных ложечек в чашках и пирожным с белым как снег dulce de leche и представить себе невозможно. Какое-то время он делил Маргариту с сеньором Вальехо – большинство любовных историй набегает одна на другую в начале или в конце, – но он предпочитал швейцара сеньору Вальехо; запахом его бритвенного лосьона в течение последних затянувшихся месяцев иногда пахла кожа Маргариты.

– Я сказала, что ты дашь ему денег. Дашь?

– Конечно, сколько? Пятьсот песо?

– Лучше тысячу.

Он сел на край кровати и откинул простыню. Ему еще не надоела ее худоба и маленькая грудь, которая, как и живот, не показывала признаков беременности.

– Я очень рад, что ты пришла, – сказал он. – Сам хотел тебе позвонить, хотя это было бы не слишком разумно. Полиция считает, что я имею какое-то отношение к похищению...

Подозревают, что я мог пойти на него из ревности, – добавил он, улыбнувшись при одной мысли об этом.

– Они не посмеют тебя тронуть. Ты лечишь жену министра финансов.

– И все-таки они могут за мной следить.

– Ну и что? За мной же они следят.

– Они шли за тобой сюда?

– Ну, я знаю, как от них отделаться. Меня беспокоит не полиция, а этот подонок журналист. Он вернулся в усадьбу, как только стемнело. Предлагал мне деньги.

– За что? За сведения для газеты?

– Хотел со мной переспать.

– А что ты ему сказала?

– Сказала, что мне больше не нужны его деньги, и тогда он разозлился. Он поверил, что, когда я была у сеньоры Санчес, он и в самом деле мне нравился. Считает, что он потрясающий любовник. Ну и сбила же я с него спесь, – добавила она с явным удовольствием, – сказала, что как мужчина Чарли в тысячу раз лучше, чем он.

– Как ты от него избавилась?

– Позвала полицейского, – они оставили одного в усадьбе, сказали, что он будет меня охранять, но он все время за мной следит, – и, пока они спорили, села в машину и уехала.

– Но ты же не умеешь водить машину.

– Я часто смотрела, как это делает Чарли. Это нетрудно. Знаю, какие штучки надо толкать, а какие тянуть. Вначале я их перепутала, но потом все наладилось. До самой дороги машина шла рывками, но там я освоилась и поехала даже быстрее, чем Чарли.

– Бедная «Гордость Фортнума», – сказал Пларр.

– По-моему, я ехала чуть-чуть слишком быстро, раз не заметила грузовика.

– Что случилось?

– Авария.

– Тебя ранило?

– Меня – нет, а вот машина пострадала.

Глаза ее блестели, она была возбуждена непривычными событиями. Он еще никогда не слышал, чтобы она так много разговаривала. Клара все еще обладала для него привлекательностью незнакомки – словно девушка, которую он случайно встретил на вечеринке.

– Ты мне нравишься, – сказал он беспечно, не задумываясь, как сказал бы за коктейлем, причем оба понимали, что слова эти значат не больше, чем «давай пойдём со мной».

– Водитель грузовика меня подбросил, – сообщила она. – Конечно, он тоже стал приставать, я сказала, что согласна и, когда мы приедем в город, пойду с ним в один дом на улице Сан-Хосе, где он бывает, но у первого же светофора выскочила, прежде чем он успел опомниться, и пошла к сеньоре Санчес. Знаешь, как она мне обрадовалась, правда, обрадовалась, совсем не сердилась и сама сделала перевязку.

– Значит, тебя все-таки ушибло?

– Я ей сказала, что знаю хорошего врача, – ответила она с улыбкой и сдернула простыню, чтобы показать повязку на левом колене.

– Клара, я должен ее снять и посмотреть...

– Ну, это подождет, – сказала она. – Ты меня немножко любишь? – Она быстро поправилась:

– Ты меня хочешь?

– Успеется. Лежи спокойно, дай мне снять повязку.

Он старался дотрагиваться до раны как можно осторожнее, но видел, что причиняет ей боль. Она лежала тихо, не жалуясь, и он вспомнил некоторых своих богатых пациенток, которые убедили бы себя, что терпят невыносимую боль; они могли бы даже упасть в обморок со страха или чтобы обратить на себя внимание.

– Хорошая крестьянская порода, – с восхищением произнес он.

– Что ты сказал?

– Ты храбрая девушка.

– Но это же ерунда. Знал бы ты, как калечат себя мужчины в поле, когда рубят тростник. Я видела парня, у которого было отрезано полступни. – Тут же она спросила, словно из вежливости осведомляясь об общем родственнике: – Есть ли какие-нибудь новости о Чарли?

– Нет.

– Ты все еще думаешь, что он жив?

– Я в этом почти уверен.

– Значит, у тебя есть новости?

– Я снова говорил с полковником Пересом. А сегодня летал в Буэнос-Айрес, чтобы повидать посла.

– Но что мы будем делать, если он вернется?

– Что будем делать? Наверно, то же самое, что и сейчас. А что же еще? – Он кончил накладывать повязку. – Все пойдет по-прежнему. Я буду навещать тебя в поместье, а Чарли будет хозяйничать на плантации.

Он словно описывал жизнь, которая когда-то была довольно приятной, но в которую теперь мало верил.

– Я была рада повидать девушек у сеньоры Санчес. Сказала им, что у меня есть любовник. Конечно, я не сказала кто.

– Неужели они не знали? Кажется, это знает весь город, за исключением бедного Чарли.

– Почему ты называешь Чарли бедным? Ему было хорошо. Я всегда делала все, что он хотел.

– А чего он хотел?

– Не слишком много. Не слишком часто. Это было так скучно, Эдуардо. Не поверишь, как это было скучно. Он был добрый и заботился обо мне. Никогда не делал мне больно, как ты. Иногда я благодарю господу бога и нашу пресвятую деву, что ребенок твой, а не его. Что бы

это был за ребенок, будь он ребенком Чарли? Ребенок старика. Лучше бы я его задушила при рождении.

– Чарли был бы ему лучшим отцом, чем я.

– Он ни в чем не может быть лучше тебя.

Ну нет, подумал доктор Плarr, кое в чем может – например, лучше умереть, а это уже не так мало.

Она протянула руку и погладила его по щеке – через кончики пальцев он почувствовал, как она взволнована. Никогда еще она его так не ласкала. Лицо было местом, запретным для нежности, и чистота этого жеста поразила его не меньше, чем если бы какая-нибудь невинная девушка позволила себе что-нибудь чересчур интимное. Он сразу отодвинулся.

– Помнишь, тогда в поместье я говорила, что представляюсь, – сказала она. – Но, *caro* [милый (исп.)], я не представлялась. Это теперь я представляюсь, когда ты меня любишь. Представляюсь, будто ничего не чувствую. Кусаю губы, чтобы как следует представляться. Это потому, что я тебя люблю, Эдуардо? Как ты думаешь, я тебя люблю? – Она добавила со смирением, которое насторожило его не меньше, чем прямое требование: – Прости. Я не то хотела сказать... Какая разница, правда?

Какая разница? Как объяснить ей, что это огромная разница? Любовь была притязанием, которое он не мог удовлетворить, ответственностью, которую он не мог принять, требованием... Как часто его мать произносила это слово, когда он был маленьким; оно звучало как угроза вооруженного разбойника: «Руки вверх, не то...» В ответ всегда что-нибудь требовали: послушания, извинения, поцелуя, который не хотелось дарить. Быть может, он еще больше любил отца за то, что тот никогда не произносил слова «любовь» и ничего не требовал. Он помнил только один-единственный поцелуй на набережной в Асунсьоне, и тот поцелуй был такой, каким могут обменяться мужчины. Так лобызают друг друга французские генералы на фотографиях, когда их награждают орденом. Поцелуй, который ни на что не притязает. Отец иногда трепал его по волосам или похлопывал по щеке. Самым ласковым его выражением было английское «старик». Он вспомнил, как мать говорила ему сквозь слезы, когда пароход входил в фарватер: «Теперь ты один будешь меня любить». Она протягивала к нему со своей койки руки, повторяя «милый, милый мой мальчик», совсем как много лет спустя к нему тянулась с постели Маргарита, прежде чем появился сеньор Вальехо и занял его место; он припомнил, что Маргарита называла его «жизнь моя», совсем как мать иногда звала его «сынок мой, единственный». Юн совсем не верил в плотскую любовь, но, лежа без сна в перенаселенной квартире в Буэнос-Айресе и прислушиваясь к скрипу половиц под ногами матери, направлявшейся в уборную, порой вспоминал потаенные ночные звуки, которые слышал в поместье: приглушенный стук, незнакомые шаги на цыпочках этажом ниже, шепот в подвале, выстрел, прозвучавший неотложным предупреждением, посланным через поля, – все это были знаки подлинной нежности, сострадания достаточно глубокого, ибо отец был готов за него умереть. Было ли это любовью? Способен ли любить Леон? Или даже Акуино?

– Эдуардо! – Он вернулся издалека, услышав ее мольбу. – Я буду говорить все, как ты хочешь. Я не думала тебя рассердить. Чего ты хочешь, Эдуардо? Скажи. Пожалуйста. Чего ты хочешь? Мне надо знать, чего ты хочешь, но как же я могу это знать, если я тебя не понимаю?

– С Чарли проще, правда?

– Эдуардо, ты всегда будешь сердиться на то, что я тебя люблю? Клянусь, ты не заметишь никакой разницы. Я останусь с Чарли. Буду приходить, только когда ты меня захочешь, совсем как в доме сеньоры Санчес.

Звонок в дверь заставил его вздрогнуть – он прозвенел, смолк и прозвенел снова. Пларр не сразу решился открыть. Почему? Редкая неделя проходила без телефонного вызова или ночного звонка в дверь.

– Лежи спокойно, – сказал он, – это пациент.

Он пошел в переднюю и посмотрел в дверной глазок, но на темной площадке ничего не было видно. Ему показалось, что он вернулся в Парагвай своего детства. Сколько раз отцу приходилось спрашивать у запертой двери, как он спросил сейчас: «Кто там?» – стараясь, чтобы голос звучал уверенно.

– Полиция.

Он отпер дверь и очутился лицом к лицу с полковником Пересом.

– Можно войти?

– Как я могу ответить отказом, раз вы сказали «полиция»? – спросил доктор Пларр. – Если бы вы сказали «Перес», я бы вам мог предложить на правах друга зайти завтра утром, в более удобное время.

– Именно потому, что мы старые друзья, я и сказал «полиция», предупреждая вас, что визит официальный.

– Такой официальный, что и выпить рюмку нельзя?

– Нет, до этого еще не дошло.

Доктор Пларр провел полковника Переса в кабинет и принес два стакана виски аргентинской марки.

– У меня есть немного настоящего шотландского, – сказал он, – но я берегу его для неофициальных визитов.

– Понимаю. А ваша встреча с доктором Сааведрой сегодня вечером была, полагаю, сугубо неофициальной?

– Вы установили за мной наблюдение?

– Пока что нет. Пожалуй, мне следовало это сделать пораньше. Из «Эль литораль» мне сообщили о вашем телефонном звонке, ну а когда мне показали телеграммы, которые вы оставили в гостинице, они меня, конечно, заинтересовали. Ведь у нас в городе нет такой штуки, как Англо-аргентинский клуб?

– Нет. Телеграммы отправлены?

– Почему бы нет? Сами по себе они безобидны. Но вот вчера вы мне солгали... Доктор, вы, кажется, серьезно замешаны в этом деле.

– Вы, конечно, правы, если говорите о том, что я не жалею сил ради освобождения Фортнума, но ведь мы добиваемся этого оба.

– Тут есть разница, доктор. По существу, меня интересует не Фортнум, а только его похитители. Я бы предпочел, чтобы шантаж не удался, это стало бы уроком для других. Вы же хотите, чтобы шантаж увенчался успехом. Разумеется, и это естественно, я предпочел бы остаться в выигрыше вдвойне: и сеньора Фортнума спасти, и его похитителей поймать или убить, но второе для меня куда важнее жизни сеньора Фортнума. Вы здесь один?

– Да. А что?

– Я выглянул в окно, и мне показалось, что в соседней комнате погас свет.

– Это отсвет фар машины, проехавшей по набережной.

– Да. Может быть. – Он медленно потягивал виски. Как ни странно, доктору Пларру показалось, что он не находит нужных слов. – Доктор, вы в самом деле верите, что эти люди могут освободить вашего отца?

– Что ж, заключенных освобождали таким способом.

– Только не в обмен на какого-то почетного консула.

– Даже какой-то почетный консул – человек. Он имеет право на жизнь. Британское правительство не захочет, чтобы его убили.

– Это зависит не от британского правительства, а от Генерала, а я сильно сомневаюсь, чтобы Генерал так уж беспокоился о человеческой жизни. Разве что о своей собственной.

– Он зависит от американской помощи. Если американцы будут настаивать...

– Да, но он уже расплачивается с этими янки кое-чем, что для них много дороже жизни английского почетного консула. У Генерала есть одно великое достоинство, которым обладал и Папа Док в Гаити. Он антикоммунист... Вы совершенно уверены, доктор, что вы здесь один?

– Конечно.

– А мне... вроде бы слышалось... ладно, не имеет значения. А вы сами не коммунист, доктор?

– Нет. Я никогда не мог одолеть Маркса. Как и большинство литературы по экономике. Но вы в самом деле думаете, что похитители – коммунисты? Не одни только коммунисты против тирании и пыток.

– Кое-кто из тех, кого они хотят освободить, – коммунисты... Так по крайней мере утверждает Генерал.

– Мой отец не коммунист.

– Значит, вы действительно верите, что он еще жив?

Возле доктора Пларра зазвонил телефон. Он нехотя снял трубку. Голос Леона – он его узнал – произнес:

– У нас кое-что стряслось... Ты нам срочно нужен. Целый день дозванивались...

– Неужели-это так срочно? Мы тут пьем с приятелем.

– Тебя арестовали? – донесся по проводу шепот.

– Пока еще нет.

Полковник Перес наклонился вперед, напряженно вслушиваясь и не сводя с него глаз.

– Вы звоните слишком поздно. Да, да, понимаю. Естественно, что вы при этом напуганы, но у детей температура всегда бывает высокая. Дайте ей еще две таблетки аспирина.

– Я снова позвоню через пятнадцать минут.

– Надеюсь, в этом не будет необходимости. Позвоните завтра утром, только не слишком рано. У меня был трудный день, я ездил в Буэнос-Айрес. – Он добавил, косясь на полковника Переса: – Я хочу спать.

– Через пятнадцать минут, – повторил голос Леона.

Доктор Пларр положил трубку.

– Кто это звонил? – спросил Перес. – Ах, простите, у меня привычка задавать вопросы. Такой уж у полицейских порок.

– Всего только встревоженные родители, – сказал доктор Пларр.

– Мне слышался мужской голос.

– Да. Звонил отец. Мужчины всегда впадают в панику, когда болеют дети. Мать отправилась в Буэнос-Айрес за покупками. О чем бишь мы говорили, полковник?

– О вашем отце. Странно, что эти люди включили в свой список его имя. Ведь так много других, от кого им было бы куда больше пользы. Людей помоложе. Ваш отец теперь, наверно, уже совсем старик. Можно подумать, что они платят вам за какую-то помощь... – он закончил фразу неопределенным жестом.

– Чем бы я мог им помочь?

– Огласка, которую вы пытаетесь организовать, она им полезна. Это то, чего они не могут сделать сами. Они же не хотят убить этого человека. Его смерть стала бы для них чем-то вроде поражения. Но кроме того – мне это пришло в голову только сегодня, я тугодум, – они знали кое-что, чего не было в газетах: программу, составленную губернатором для визита посла. Забавно, как от меня ускользнула такая очевидная деталь. Наверно, они получили сведения, не подлежавшие оглашению.

– Возможно. Но не от меня. Я не принадлежу к числу доверенных лиц губернатора.

– Нет, но сеньор Фортнум программу знал и мог рассказать о ней вам. Или сеньоре Фортнум. Женщина нередко сообщает своему любовнику, когда будет отсутствовать муж.

– Вы изображаете меня каким-то донжуаном, полковник. В Англии я мог бы опасаться доноса супруга, но здесь английский медицинский кодекс не действует. Надеюсь, вы не вздумали доносить сеньору Фортнум?

– Я хотел с ней поговорить, но в поместье ее не оказалось. Вечером она наведальась к сеньоре Санчес. Потом отправилась в консульство, но сейчас ее там нет. Сперва я даже встревожился, потому что «джип» сеньора Фортнума стоит покалеченный у обочины дороги – бедняга, за два дня две его машины разбились. Я обрадовался, когда узнал, что она была у сеньоры Санчес и отделалась легкими ушибами. Кажется, вы только недавно оказывали помощь пациенту, доктор? У вас закатан правый рукав?

Доктор Пларр отодвинул подальше телефон. Он боялся, что тот слишком скоро снова зазвонит.

– Вы очень наблюдательны, полковник, – сказал он. – Я не доверяю медицинским познаниям сеньоры Санчес. Клара здесь, у меня.

– А я, оказывается, прав насчет того, что вы и вчера мне солгали.

– В любовной связи без лжи не обойтись.

– Жаль, что я помешал вам, доктор, но как раз ложь меня и смущала. В конце концов, мы же старые друзья. В свое время у нас и кое-какие приключения были общие. Ну хотя бы с сеньорой Эскобар.

– Да, помню. Я вам сказал, что с ней расстанусь и что путь почти свободен. Но так и не понял, почему она все же предпочла вам Вальехо.

– Не доверяла моим побуждениям. Такова уж участь полицейского. Видите ли, в имени сеньора Эскобара в Чако есть посадочная площадка. Вероятно, этим путем доставляются сигареты и виски из Парагвая.

– Спасибо этому благодетелю.

– Да, конечно, я никогда не стал бы ему мешать... Надеюсь, таблетки аспирина помогли. Вам ведь не хочется, чтобы нас снова прервали. – Полковник допил виски и поднялся. – Вы меня всерьез успокоили. Разумеется, я теперь понимаю, почему вы хотите, чтобы освободили сеньора Фортнума. В любовной связи муж играет очень важную роль. Он обеспечивает дорогу к свободе, когда связь начинает надоедать. Никому не хочется оставлять женщину совсем одну. Что ж, ради вас постараемся спасти сеньора Фортнума... а заодно поймать его похитителей. По ту сторону реки будут знать, как с ними поступить.

Доктор Пларр проводил его до двери.

– Рад, что вы теперь спокойны на мой счет.

– Для полицейского всякий секрет дурно пахнет, даже секрет вполне невинный. Мы натасканы их вынюхивать, как собака наркотики. Послушайтесь моего совета, доктор, вы сделали все, что могли, и, пожалуйста, больше не вмешивайтесь. Мы с вами были друзьями, но, если вы станете и дальше лезть в эту историю, пеняйте на себя. Я ведь сначала выстрелю, а потом пришлю венок.

– Речь, достойная Аль Капоне.

– А что? Капоне тоже по-своему поддерживал порядок. – Он открыл дверь и слегка помедлил на темной площадке, словно вспоминая что-то важное. – Кое-что мне, пожалуй, следовало сказать вам раньше. Я получил сведения о вашем отце. От начальника полиции в Асунсьоне. Мы, конечно, проверили с ним все имена, которые похитители включили в свой список. Ваш отец убит больше года назад. Он пытался бежать вместе с другим заключенным – неким Акуино Риберой, но был слишком стар и нерасторопен. Ему это оказалось не под силу, и его бросили. Видите, не надо думать, что вы можете ему чем-то помочь. Спокойной ночи, доктор. Жаль, что сообщил вам плохие вести, но я ведь оставляю вас с женщиной. Женщина – лучший утешитель для мужчины.

Не успела дверь за ним закрыться, как снова зазвонил телефон.

Доктор Пларр подумал: Леон меня обманул. Он мне лгал, чтобы заручиться моей помощью. Не подниму трубку. Пусть сами расхлебывают свою кашу. Ему ни на миг не пришло в голову, что солгать мог и полковник Перес. Полиция была достаточно сильна, чтобы говорить правду.

Звонок звонил и звонил, а он упрямо стоял в передней, пока тот, кто до него дозванивался, не сдался. На сей раз это мог быть кто-то из больных, и в наступившей, словно укор, тишине он устыдился своего эгоизма: казалось, эта тишина наступила в ответ на призыв самоубийцы о помощи. В спальне тоже было тихо. Раньше о какой-то помощи просила его Клара. Но он не

захотел слушать и ее.

Мраморный пол, на котором он стоял, казался краем пропасти; он не мог сделать шагу ни вперед, ни назад, не увязнув еще глубже в пучине соучастия или вины. Так он и стоял, прислушиваясь к тишине дома, где лежала Клара, полуночной улицы за окном, где теперь возвращалась к себе полицейская машина, и квартала бедноты, где в путанице хижин из глины и жести, как видно, что-то произошло. Тишина, словно мелкий дождик, уносилась через большую реку в забытую миром страну, где в тишине, тише которой не бывает, лежал его мертвый отец... «Он был слишком стар и нерасторопен. Ему это оказалось не под силу, и его бросили». Стоя на краю мраморного обрыва, он почувствовал головокружение. Но не может же он тут стоять вечно! Снова зазвонил телефон, и он двинулся назад, в кабинет.

Голос Леона спросил:

– Что случилось?

– У меня был посетитель.

– Полиция?

– Да.

– Сейчас ты один?

– Да. Один.

– Где ты был целый день?

– В Буэнос-Айресе.

– Но мы пытались связаться с тобой вчера вечером.

– Меня вызвали.

– И сегодня в шесть утра.

– У меня бессонница. Гулял по набережной. Ты сказал, что я вам больше не понадобится.

– Ты нужен твоему пациенту. Спустись к реке и встань у киоска кока-колы. Мы увидим, наблюдают за тобой или нет. Если нет, мы тебя подберем.

– Я только что получил известие об отце. От полковника Переса. Это правда?

– Что именно?

– Что он участвовал в побеге, но был нерасторопен, и вы его бросили.

Он подумал: если он сейчас мне солжет или хотя бы запнется, я повешу трубку и больше не стану им отвечать.

Леон сказал:

– Да. Прости. Это правда. Я не мог сказать тебе раньше. Нам нужна была твоя помощь.

– Отец убит?

– Да. Они его застрелили. Когда он лежал на земле.

– Ты должен был мне это сказать.

– Наверно, но мы не могли рисковать. – Голос Леона донесся к нему словно из немыслимого далека: – Ты придешь?

– Ладно, – сказал доктор Пларр, – приду.

Он положил трубку и пошел в спальню. Зажег свет и увидел Клару, смотревшую на него широко раскрытыми глазами.

– Кто к тебе приходил?

– Полковник Перес.

– У тебя будут неприятности?

– Не с его стороны.

– А кто звонил?

– Пациент. Клара, мне придется ненадолго уйти.

Он вспомнил, что их разговор прервали и какой-то вопрос так и повис в воздухе, но забыл, какой именно.

– Мой отец убит, – сказал он.

– Какая жалость! Ты его любил, Эдуардо?

Она, как и он, не считала любовь, даже любовь между отцом и сыном, чем-то само собой разумеющимся.

– Может, и любил.

Когда-то в Буэнос-Айресе он знал человека, который был незаконнорожденным. Его мать умерла, так и не сказав ему имени отца. Он рылся в ее письмах, расспрашивал ее друзей. Даже изучал банковские счета: мать от кого-то получала деньги. Он не сердился, не возмущался, но желание узнать, кто его отец, изводило его, как зуд. Он объяснял доктору Пларру: «Это как та головоломка со ртутью... Никак не забросишь в глазницы портрета ртуть, а отставить головоломку нет сил». Однажды он все-таки узнал, кто его отец: это был международный банкир, который давно умер. Он сказал Пларру: «Вы и представить себе не можете, какую я почувствовал пустоту. Что еще может меня теперь интересовать?» Вот такую же пустоту, подумал доктор Пларр, ощущаю сейчас и я.

– Пойди сюда, Эдуардо, ляг.

– Нет. Я должен идти.

– Куда?

– Сам еще не знаю. Это касается Чарли.

– Нашли его труп? – спросила она.

– Нет, нет, ничего подобного. – Она скинула простыню, и он накрыл ее снова. – Ты простудишься от кондиционера.

– Я пойду в консульство.

– Нет, оставайся здесь. Я ненадолго.

Когда ты одинок, радуешься всякому живому существу – мышонку, птице на подоконнике, хотя бы пауку, как Роберт Брюс [Брюс, Роберт (1274-1329), король Шотландии; в 1307 году прятался от врагов на острове, но, увидев, как упорно плетет свою паутину паук, устыдился, поднял войско и победил англичан]. Одиночество может породить даже нежность. Он сказал:

– Ты прости меня, Клара. Когда я вернусь... – но он не смог придумать ничего, что стоило бы ей обещать. Он положил ей руку на живот и произнес: – Береги его. Спи спокойно.

Он потушил свет, чтобы больше не видеть ее глаз, наблюдавших за ним с удивлением, словно его поступки были слишком сложными для понимания девушки из заведения сеньоры Санчес. На лестнице (лифт могли услышать соседи) он пытался вспомнить, на какой же ее вопрос он так и не ответил. Вопрос не мог быть таким уж важным. Важны только те вопросы, которые человек задает себе сам.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

Доктор Пларр вернулся из второй комнаты и сказал отцу Ривасу:

– Он поправится. Ваш человек словно нарочно целился в самое подходящее место. Он попал в ахиллесово сухожилие. Конечно, на поправку нужно время. Если вы дадите ему время. Как это произошло?

– Он пытался бежать. Акуино сперва выстрелил в землю, а потом ему в ноги.

– Лучше было бы отправить его в больницу.

– Ты же знаешь, что это невозможно.

– Все, что я могу, это наложить шину. Следовало бы наложить на лодыжку гипс. Почему бы вам не отказаться от всей этой затеи, Леон? Я могу продержать его три-четыре часа в машине, чтобы вы успели уйти, а полиции скажу, что нашел его у дороги. – Отец Ривас даже не потрудился ответить. Доктор Пларр продолжал: – Когда что-нибудь поначалу не удастся, всегда происходит одно и то же, это как ошибка в уравнении... Ваша первая ошибка была в том, что вы приняли его за посла, а теперь вышло вот что. Уравнения вам никогда не решить.

– Может, ты и прав, но пока мы не получим приказа от Эль Тигре...

– Так получите его.

– Невозможно. После того как мы объявили о похищении, мы прервали всякую связь. Мы предоставлены сами себе. Таким образом, если нас схватят, мы ничего не сможем рассказать.

– Я должен идти. Мне надо поспать.

– Ты останешься здесь с нами, – сказал отец Ривас.

– Нельзя. Если я уйду от вас днем, меня могут заметить...

– Твой телефон прослушивают, и они уже знают, что ты наш сообщник. Если ты уйдешь, тебя могут арестовать, и твой друг Фортнум останется без врача.

– Мне надо думать и о других больных, Леон.

– Ну, они-то могут найти и других докторов.

– Если вы добьетесь своего... или его убьете... что будет со мной?

Отец Ривас показал рукой на негра по имени Пабло у двери.

– Тебя похитили и держали здесь силой. И это чистая правда. Мы теперь не можем позволить тебе уйти.

– А что, если я просто выйду в эту дверь?

– Я прикажу ему стрелять. Будь благоразумен, Эдуардо. Разве мы можем быть уверены, что ты не отправишь сюда полицию?

– Я не гожусь в полицейские осведомители, Леон, хоть вы меня и обманули.

– Не знаю. Человеческая совесть не такая простая вещь. Я верю в твою дружбу. Но почему я знаю, что ты не уговоришь себя вернуться ради твоего пациента? Полиция тебя выследит, и твоя верность клятве Гиппократова обречет нас всех на смерть. А к тому же тут сыграет свою роль и чувство вины, которое, я думаю, ты испытываешь. По слухам, ты спишь с женой Фортнума. Если это правда, твое стремление искупить свою вину перед ним может стоить нам жизни.

– Я больше не христианин, Леон. И не осмысливаю жизнь в таких понятиях. У меня нет совести. Я человек простой.

– Никогда не встречал простых людей. Даже в исповедальне, хотя просиживал там целыми часами. Человек не создан простым. Когда я был молодым священником, я пытался разгадать побуждения мужчин или женщин, их искушения и самообман. Но скоро от этого отказался, потому что ответ никогда не бывал однозначным. Никто не был настолько прост, чтобы его понять. В конце концов я ограничился тем, что говорил: «Прочти три раза „Отче наш“, три раза „Богородице дево, радуйся“ и ступай с миром».

Доктор Пларр с досадой от него отошел. Он снова поглядел на своего пациента. Чарли Фортнум спал спокойно – мирным наркотическим сном. Откуда-то они раздобыли еще одеяла, чтобы ему спалось поудобнее. Доктор Пларр вернулся в проходную комнату и растянулся на полу. Ему казалось, что он провел очень длинный день. Трудно было поверить, что еще вчера днем он пил чай в кафе «Ричмонд» на калле Флорида и смотрел, как его мать ест эклеры.

Образ матери преследовал его, когда он заснул. Она привычно жаловалась, что отец не желает покоиться в гробу, как порядочный помещик. Его приходится все время заталкивать обратно, а разве приличному кабальеро пристало таким манером вкушать вечный покой? Отец Гальвао приехал из самого Рио-де-Жанейро, чтобы уговорить его лежать спокойно.

Доктор Пларр открыл глаза. Рядом с ним на полу спал индеец Мигель, а отец Ривас сидел вместо Пабло у двери с автоматом на коленях. Свеча, прилепленная к блюду, отбрасывала на стену тени от его ушей. Доктору Пларру вспомнились зайчики, которых изображал для

него отец на стенах детской. Некоторое время он лежал, разглядывая школьного товарища. Леон, Леон Ушастый, Отец Ушастый. Он вспомнил, как в одной из долгих серьезных бесед, которые они вели, когда им было лет по пятнадцать, Леон говорил, что есть только полдюжины профессий, достойных мужчины: профессия врача, священника, юриста (разумеется, всегда защищающего правое дело), поэта (если он пишет хорошие стихи) или земледельца. Он не смог вспомнить, какой была шестая профессия, но безусловно не похищение людей и не убийство.

Он спросил шепотом:

– Где Акуино и остальные?

– Это военная операция, – ответил Леон. – Нас обучал Эль Тигре. Мы расставляем посты, и часовые дежурят всю ночь.

– А твоя жена?

– Она в городе вместе с Пабло. Эта лачуга принадлежит ему, и его в городе знают. Так безопаснее. Тебе незачем шептать. Индейцы засыпают мгновенно, как только выпадает свободная минута. Единственное, что может его разбудить, – это если произнести его имя... или шум, предвещающий опасность. Посмотри, как он спокойно спит, хоть мы и разговариваем. Я ему завидую. Вот кто знает настоящий покой. Таким и должен быть сон у всех, но мы утратили звериные повадки.

– Расскажи мне об отце, Леон. Я хочу знать правду.

Сказав это, он тут же вспомнил, как доктор Хэмфрис постоянно требовал, чтобы ему сказали правду, даже от неаполитанского официанта, и получал туманные ответы.

– Твой отец и Акуино находились в одном и том же полицейском участке в ста километрах к юго-востоку от Асунсьона. Возле Вильяррики. Он просидел там пятнадцать лет, а Акуино всего десять месяцев. Мы сделали все, что могли, но он был старый и больной. Эль Тигре был против того, чтобы мы пытались спасти твоего отца, но он оказался в меньшинстве. И мы были не правы. Послушайся мы Эль Тигре, твой отец, пожалуй, был бы еще жив.

– Да. Возможно. В тюрьме. Умирая медленной смертью.

– Дело решали секунды. Рывок. Он бы легко его сделал тогда, когда ты его знал, но пятнадцать лет в полицейском участке... там гниешь быстрее, чем в настоящей тюрьме. Генерал знает – в тюрьме есть товарищество. Поэтому сажает своих жертв в тесные горшки со скудной землей, и они чахнут от отчаяния.

– Ты видел моего отца?

– Нет, я ждал беглецов в машине с гранатой на коленях и молился.

– Ты все еще веришь в молитвы?

Отец Ривас не ответил, и доктор Плarr заснул...

Был уже день, когда он проснулся и сразу пошел в соседнюю комнату посмотреть на больного. Увидев его, Чарли Фортнум сказал:

– Значит, вы действительно один из них.

– Да.

– Не пойму вас, Тед. Какое все это имеет к вам отношение?

– Я ведь не раз вам рассказывал о моем отце. Думал, что эти люди могут ему помочь.

– Вы же были другом мне... и Кларе.

– За их ошибку я не отвечаю. Как ваша лодыжка?

– Зубная боль донимала меня куда сильнее. Вы должны вызволить меня отсюда, Тед. Ради Клары.

Доктор Пларр рассказал ему о своем посещении посла. Он, конечно, сознавал, что эта история отнюдь не внушает надежд. Чарли Фортнум медленно обдумывал подробности.

– Вы действительно попали к самому старику?

– Да. Он делает все, что может.

– Ну, когда меня убьют, они там, в Буэнос-Айресе, только вздохнут с облегчением. Это уж я знаю. Им ведь тогда не придется меня увольнять. А это было бы не по-джентльменски. Они же там все такие джентльмены, черт бы их побрал.

– Полковник Перес тоже делает все, что может. Скоро они нас найдут.

– Тогда конец для меня будет все тот же. Разве эти парни отпустят меня живым? Вы говорили с Кларой?

– Да. Она здорова.

– А ребенок?

– Можете не беспокоиться.

– Вчера я пробовал написать ей письмо. Хотел оставить ей что-то на память, хоть и сомневаюсь, чтобы она там все поняла. Она еще читает с трудом. Думал, кто-нибудь прочтет ей письмо вслух, может вы, Тед. Конечно, в письме я не мог выразить все, что чувствую, но надеюсь, что, если произойдет самое худшее, вы ей расскажете.

– О чем?

– О моих чувствах к ней. Знаю, вы человек с рыбьей кровью, Тед. Я вам это не раз говорил. По-вашему, я чересчур сентиментален, но, лежа здесь, я многое передумал – времени на это у меня хватало. Мне кажется, что все эти годы – пока я не встретил Клару, пока я был, как выражаются идиоты, во цвете лет – это были пустые годы, и прожил я их бесцельно, просто выращивал проклятое матэ, чтобы заработать какие-то деньги. Деньги для чего, для кого? Мне нужен был кто-то, для кого я бы мог что-нибудь сделать, а не только зарабатывать на жизнь себе самому. Люди заводят кошек и собак, но я их никогда особенно не любил. И лошадей тоже. Лошади! Глаза бы мои на них не глядели! У меня была только «Гордость Фортнума». Я иногда воображал, что это живое существо. Кормил ее бензином и маслом, прислушивался, как стучит ее сердце, и все же знал, что она даже не такая настоящая, как кукла, которая говорит «папа, мама». Конечно, какое-то время у меня была жена, но она так задирала нос – я никогда не мог сделать для нее то, чего сама она не сделала бы лучше... Извините меня. Я слишком разболтался, но вы мне ближе всех, потому что знакомы с Кларой.

– Да говорите, пожалуйста, сколько хотите. Что нам еще делать в нашем положении? Я здесь такой же пленник, как вы.

– Они вас не отпускают?

– Да.

– А как же Клара – она теперь совсем одна?

– Денек-другой может позаботиться о себе сама, – рассердился доктор Плarr. – Ей куда легче, чем мне или вам.

– Вас-то они не убьют.

– Да, не убьют, если смогут.

– Знаете, еще до того, как я встретил Клару, мне показалось, что я нашел женщину, которую могу полюбить. Она тоже была девушкой матушки Санчес. Ее звали Мария, но это была нехорошая девушка.

– Кто-то ее даже зарезал.

– Да. Подумать, что вы и это знаете. Так вот, вскоре после этого я познакомился с Кларой. Не знаю, почему я не замечал ее раньше. Наверно, не так уж хорошо разбираюсь в женщинах, а Мария... понимаете, она меня вроде околдовала. Клара не такая красивая, как она, но зато честная. Ей можно верить. Сделать счастливой кого-нибудь вроде Клары – разве это не удача?

– Довольно скромная удача.

– Да, вам легко говорить, но я привык к неудачам и высоко не замахиваюсь. Если бы дела пошли лучше, кто знает... Когда меня сделали почетным консулом, я не пил почти целую неделю, но, конечно, надолго меня не хватило. У меня еще до сих пор хранится письмо, которое прислали мне из посольства. Я бы хотел, чтобы вы передали его Кларе, если я отсюда не выберусь. Оно в левом верхнем ящике стола в консульстве. Вы легко его найдете по гербу на конверте. Пусть она его сохранит, когда-нибудь покажет ребенку.

Он попробовал повернуться и сморщился от боли.

– Больно?

– Резануло. – Он негромко засмеялся. – Когда я думаю о моей жене и о Кларе – боже мой, до чего же разными могут быть две женщины! Жена как-то мне сказала, что вышла за меня из жалости. Чего было меня жалеть? В нашей семье она была мужчиной – знала все, даже насчет электричества. И прокладку в кране могла сменить. А уж если я чуточку переберу, и не надеюсь на снисхождение. Конечно, глупо было и ждать от нее многого. Она ведь верила в эту самую христианскую науку и не признавала даже раковой опухоли, хоть отец ее умер от рака, так что разве дождешься, чтобы она посочувствовала человеку в похмелье? Все равно, ей не следовало так вопить, когда я перепью. Голос ее так и сверлил мне мозги. А вот Клара – Клара настоящая женщина, она знает, когда надо помолчать, дай бог ей здоровья. Мне бы хотелось, чтобы она всю жизнь была счастлива.

– Это не так уж трудно. Кажется, характер у нее легкий.

– Да. Но я думаю, рано или поздно обязательно наступает проверка. Вроде тех проклятых экзаменов, которыми донимали нас в школе. Я не застрахован от провала.

Можно было подумать, размышлял доктор Пларр, что они говорят о двух разных женщинах – одна была той, кого любил Чарли Фортнум, другая проституткой из заведения матушки Санчес, которая накануне дожидалась его в постели. Она что-то у него спросила, но тут позвонил полковник Перес. Теперь уже не имело смысла вспоминать, о чем она спрашивала.

К полудню вернулась из города Марта с «Эль литораль», газеты из Буэнос-Айреса еще не пришли. Редактор дал предложение доктора Сааведры под крупными заголовками – более крупными, решил Пларр, чем вся эта история заслуживает. Пларр ждал, как отнесется к этому Леон, но тот, ничего не говоря, молча протянул газету Акуино.

Акуино спросил:

– Кто он, этот Сааведра?

– Писатель.

– Почему он думает, что мы обменяем консула на писателя? Кому нужен писатель? К тому же он аргентинец. Кого заинтересует, если умрет какой-то аргентинец? Уж во всяком случае, не Генерала. И даже не нашего собственного президента. Да и весь мир тоже не заинтересует. Одним из этих недоразвитых, на кого тратят деньги, будет меньше, и только.

В час дня отец Ривас включил радио и поймал последние известия из Буэнос-Айреса. О предложении доктора Сааведры даже не упоминалось. Прислушивается ли он, размышлял доктор Пларр, в своей комнатке возле тюрьмы к этому молчанию, которое должно казаться ему более унижительным, чем отказ? Похищение уже перестало интересовать аргентинскую публику. Внимания требовали другие, более волнующие события. Какой-то тип убил любовника своей жены (конечно, в драке на ножах) – подобный сюжет всегда вызывал живой отклик у латиноамериканцев; с Юга шли обычные сообщения о летающих тарелках; в Боливии произошел военный переворот; передавался и подробный отчет о выступлениях аргентинской футбольной команды в Европе (кто-то зарезал судью). В конце передачи ведущий сказал: «Все еще нет известий о похищенном британском консуле. Время, назначенное похитителями для выполнения их условий, истекает в воскресенье в полночь».

Кто-то постучал в дверь лачуги. Индеец, который снова стоял на посту, прижался к стене, спрятав автомат. В это время в комнате находились все шестеро: отец Ривас, Диего, водитель машины, негр Пабло с изрытым оспой лицом, Марта и Акуино. Двоим из них следовало стоять на часах снаружи, но теперь, при дневном свете, когда вокруг было спокойно, Леон разрешил им зайти, послушать известия по радио – ошибка, о которой он, наверно, уже сожалел. Стук повторился, и Акуино выключил радио.

– Пабло, – сказал отец Ривас.

Пабло нехотя подошел к двери. Он вытащил из кармана револьвер, но священник приказал ему:

– Спрячь.

С покорностью судьбе и даже с облегчением доктор Пларр подумал, не наступила ли развязка всей этой бессмысленной истории? Не раздастся ли ружейный залп, как только откроется дверь?

Может быть, отцу Ривасу пришла та же мысль, и он вышел на середину комнаты: если действительно наступит конец, он хотел умереть первым. Пабло распахнул дверь.

На пороге стоял старик. Покачиваясь в рассеянном солнечном свете, он молча уставился на них с каким-то неестественным любопытством – доктор Пларр потом понял, что он слепой, у

него катаракта. Старик ощупал дверной косяк тонкой, как бумага, рукой, покрытой узором жил, словно сухой лист.

– Ты зачем сюда пришел, Хосе? – воскликнул негр.

– Я ищу отца.

– Отца здесь нет, Хосе.

– Нет, он здесь, Пабло. Я вчера сидел у колонки и слышал, как кто-то сказал: «Отец, который живет у Пабло, хороший отец».

– Зачем тебе отец? Хотя он все равно уже ушел.

Старик покачал головой из стороны в сторону, словно прислушиваясь каждым ухом по очереди, кто как дышит в комнате – кто тяжело, кто приглушенно; кто-то из них дышал учащенно, другой – это был Диего – с астматическим присвистом.

– Жена моя умерла, – сообщил старик. – Проснулся утром, протянул руку, чтобы ее разбудить, а она холодная, как мокрый камень. А ведь вчера вечером еще была живая. Сварила мне суп, такой хороший суп. И ни слова не сказала, что собирается умирать.

– Ты должен позвать приходского священника, Хосе.

– Он нехороший священник, – сказал старик. – Он священник архиепископа. Ты сам это знаешь, Пабло.

– Отец, который здесь был, приходил только в гости. Он родственник моего двоюродного брата из Росарио. И уже уехал.

– А кто все эти люди в комнате, Пабло?

– Мои друзья. А ты что подумал? Когда ты пришел, мы слушали радио.

– Бог ты мой, у тебя есть радио, Пабло? С чего это ты так сразу разбогател?

– Оно не мое. Оно одного моего друга.

– Богатый у тебя друг. Мне нужен гроб для жены, Пабло, а денег у меня нет.

– Ты же знаешь, что все будет в порядке, Хосе. Мы в квартале об этом позаботимся.

– Хуан говорил, что ты купил у него гроб. А у тебя нет жены, Пабло. Отдай мне свой гроб.

– Гроб нужен мне самому, Хосе. Доктор сказал, что я очень болен. Хуан сделает тебе гроб, а мы все в квартале сложимся и ему заплатим.

– Но нужно еще отслужить мессу. Я хочу, чтобы отец отслужил мессу. Я не хочу священника архиепископа.

Старик, шагнув в комнату, пошел на них, вытянув руки, отыскивая людей ощупью.

– Здесь нет священника. Я же тебе сказал. Он вернулся в Росарио.

Пабло встал между стариком и отцом Ривасом, словно боясь, что даже слепота не помешает старику найти священника.

– Как ты отыскал сюда дорогу, Хосе? – спросил Диего. – Жена была твоими глазами.

– Это ты, Диего? Руки мне хорошо заменяют глаза.

Он вытянул руки, показывая пальцами сперва на Диего, потом туда, где стоял доктор, и наконец направил их на отца Риваса. Пальцы были как глаза на щупальцах каких-то неведомых насекомых. На Пабло старик даже не смотрел. Присутствие Пабло он считал само собой разумеющимся. Его руки и уши искали тех, других, чужаков. Можно было подумать, что он пересчитывает их, как тюремный надзиратель, а они молча выстроились на поверку.

– Здесь четверо чужих, Пабло.

Он сделал шаг в сторону Акуино, и Акуино, шаркая, попятился.

– Все это мои друзья, Хосе.

– Вот не знал, Пабло, что у тебя так много друзей. Они не из нашего квартала.

– Нет.

– Все равно я их приглашаю прийти посмотреть на мою жену.

– Они зайдут к тебе попозже, Хосе, а сейчас я провожу тебя домой.

– Дай мне послушать, как говорит радио, Пабло. Я никогда не слышал, как говорит радио.

– Тед! – послышался голос Чарли Фортнума из соседней комнаты. – Тед!

– Кто это зовет, Пабло?

– Больной.

– Тед! Где ты, Тед?

– Это гринго! – Старик с благоговением добавил: – Никогда еще не видел у нас в квартале гринго. Да и радио тоже. Ты стал большим человеком, Пабло.

Акуино повернул рычажок приемника на полную громкость, чтобы заглушить Чарли Фортнума, и женский голос принялся громко восхвалять хрустящие рисовые хлебцы Келлога. «Так и брызжут жизнью и энергией, – провозгласил голос, – золотистые, сладкие, как мед».

Доктор Плarr проскользнул в соседнюю комнату. Он прошептал:

– В чем дело, Чарли?

– Мне приснилось, будто в комнате кто-то есть. Он хочет перерезать мне горло. Я так испугался. И решил убедиться, что вы еще здесь.

– Больше не подавайте голоса. Здесь посторонний. Если вы заговорите, нам всем грозит опасность. Я приду к вам, как только он уйдет.

Когда Плarr вернулся в другую комнату, металлический женский голос произносил: «Ее будет пленять душистая нежность вашей щеки».

– Просто чудо, – сказал старик. – Подумать только, что ящик может так красиво говорить.

Тут кто-то запел романтическую балладу о любви и смерти.

– На, потрогай радио, Хосе. Возьми его в руки.

Им всем стало спокойнее: старик был чем-то занят и уже не тянул к ним свои всевидящие

руки. Старик прижал радиоприемник к уху, словно боялся упустить хоть одно из тех красивых слов, которые он произносил.

Отец Ривас, отведя Пабло в сторону, прошептал:

– Я пойду с ним, если ты думаешь, что так будет лучше.

– Нет, – сказал Пабло, – весь квартал соберется у его лачуги проститься с его женой. Они будут знать, что старик пошел за священником. А если придет священник архиепископа, он непременно спросит, кто ты такой. Захочет проверить твои документы. Того и гляди, вызовет полицию.

Акуино сказал:

– Когда старик будет возвращаться к себе, с ним по дороге может что-нибудь случиться...

– Нет, – сказал Пабло, – на это я не согласен. Я еще ребенком его знал.

– К тому же сейчас поздно затыкать ему рот, – угрюмо высказал свое мнение шофер Диего. – Откуда та женщина у колонки узнала, что здесь священник?

– Я никому ничего не говорил, – сказал Пабло.

– В квартале секреты долго не держатся, – заметил отец Ривас.

– Он теперь знает и про радио, и про гринго, – сказал Диего. – Это хуже всего. Нам надо поскорее убираться отсюда.

– Вам придется нести Фортнума на носилках, – напомнил доктор Пларр.

Старик потряс приемник и пожаловался:

– Он не трещит.

– А почему он должен трещать? – спросил Пабло.

– Там же внутри голос.

– Пойдем, Хосе, – сказал Пабло, – пора тебе вернуться к твоей бедной жене.

– А как же отец? – сказал Хосе. – Я хочу, чтобы отец отслужил панихиду.

– Говорю тебе, здесь нет никакого отца. Панихиду отслужит священник архиепископа.

– Когда мы за ним посылаем, он не приходит. Всегда на каком-то собрании. Через сколько часов он еще явится, а где в это время будет блуждать душа моей бедной жены?

– Ничего с ней не случится, старик, – сказал отец Ривас. – Господь не станет дожидаться священника архиепископа.

Руки старика сразу же потянулись к нему.

– Ты... ты там, тот, кто говорил... у тебя голос священника.

– Нет, нет, я не священник. Если бы ты не был слеп, ты бы видел мою жену рядом со мной. Поговори с ним. Марта.

Она тихо сказала:

– Да, старик. Это мой муж.

– Пойдем, – сказал Пабло. – Я отведу тебя домой.

Старик упорно не выпускал приемник. Музыка ревела вовсю, но для него это было недостаточно громко. Он прижал приемник к уху.

– Он говорит, что пришел сюда один, – прошептал Диего. – Как же он смог? А что, если кто-то нарочно привел его сюда и оставил у двери...

– Он уже был здесь два раза со своей женой. Слепые хорошо запоминают дорогу. Если я поведу его домой, то, уж во всяком случае, узнаю, не ждет ли его кто-нибудь и не следит ли за нами.

– Если через два часа ты не вернешься, – сказал Акуино, – если тебя задержат... мы убьем консула. Можешь им так и сказать. – Он добавил: – Если бы я целился ему вчера в спину, мы бы сейчас были уже далеко.

– Я слышал радио, – с изумлением сказал старик. Он осторожно положил приемник, как что-то очень хрупкое. – Если бы я мог рассказать жене...

– Она знает, – сказала Марта, – она все знает.

– Пойдем, Хосе. – Негр взял старика за правую руку и потянул к двери, но тот заупрямился. Он вывернулся и снова стал как бы пересчитывать их свободной рукой.

– Как много у тебя гостей, Пабло, – сказал он. – Дай мне выпить. Дай мне глоточек сапа [здесь: самогона из сахарного тростника (исп.)].

– У нас тут нечего выпить, Хосе.

Негр вытащил слепого из хижины, а индеец быстро закрыл за ними дверь. На миг они почувствовали облегчение, как от свежего порыва ветра перед грозой.

– Как считаешь, Леон? – спросил доктор Пларр. – Это был шпион?

– Почем я знаю?

– Думаю, тебе надо было пойти с этим беднягой, отец мой, – заметила Марта. – Жена его умерла, и тут нет священника, чтобы ему помочь.

– Если бы я пошел, всем нам грозила бы опасность.

– Ты же слышал, что он сказал. Священнику архиепископа нет дела до бедняков.

– Ты что же, думаешь, что и мне до них нет дела? Ведь я рискую жизнью ради них.

– Знаю. Я не обвиняю тебя. Ты человек хороший.

– Вот уже несколько часов, как она умерла. Что могут дать несколько капель елея? Спроси у доктора.

– Ну, я имею дело только с живыми, – сказал доктор Пларр.

Марта дотронулась до руки мужа.

– Я не хотела тебя обидеть, отец мой. Я твоя женщина.

– Ты не моя женщина. Ты моя жена, – сердито поправил ее отец Ривас.

– Как скажешь.

– Сколько раз я тебе это объяснял.

– Я глупая женщина, отец мой. Не всегда понимаю. Разве это так важно? Женщина, жена...

– Важно. Человеческое достоинство – вот что важно. Мужчина, который чувствует похоть, берет женщину на время, пока ее желает. Я взял тебя на всю жизнь. Это брак.

– Как скажешь, отец мой.

Отец Ривас устало произнес – видно, ему надоело бесконечно втолковывать одно и то же:

– Дело не в том, как я скажу. Марта. Это так и есть.

– Да, отец мой. Мне было бы лучше, если бы я хоть иногда слышала, что ты молишься...

– Может, я молюсь чаще, чем ты думаешь.

– Пожалуйста, не сердись на меня, отец мой. Я очень горжусь тем, что ты выбрал меня. – Она обернулась к остальным. – В нашем квартале в Асунсьоне он мог спать с любой женщиной, стоило только ему захотеть. Он человек хороший. Если он не пошел со стариком, значит, у него были на то причины. Только, пожалуйста, отец мой...

– Я не хочу, чтобы ты постоянно называла меня отцом. Я твой муж. Марта. Твой муж.

– Да, но я бы так гордилась, если бы могла хоть раз увидеть тебя таким, каким ты был раньше... в облачении у алтаря... готовым благословить нас, отец мой...

У нее снова вырвалось это слово; она прикрыла рот рукой, но было уже поздно.

– Ты же знаешь, что я не могу этого сделать.

– Если бы я могла увидеть тебя таким, каким ты был в Асунсьоне... на пасху... в белом облачении...

– Таким ты меня больше никогда не увидишь.

Леон Ривас отвернулся.

– Акуино, Диего, – сказал он, – ступайте на свой пост. Через два часа мы вас сменим. Ты, Марта, снова иди в город и узнай, не пришли ли газеты из Буэнос-Айреса.

– Купите-ка лучше для Фортнума еще виски, – вставил доктор Пларр. – При его норме он быстро приканчивает бутылку.

– На этот раз никто ее с ним не разделит, – сказал отец Ривас.

– На что ты намекаешь? – спросил Акуино.

– Я ни на что не намекаю. Думаешь, я не заметил, как от тебя вчера несло?

В четыре часа Акуино снова включил радио, но на этот раз о заложнике даже не упомянули. Как видно, мир о них забыл.

– Они ни слова не сказали, что исчез ты, – заметил Акуино доктору Пларру.

– Они могут пока об этом и не знать, – ответил доктор Пларр. – Я потерял счет дням. Сегодня четверг? Помню, я отпустил секретаршу на весь конец недели. Она наверняка собирает индульгенции для душ, попавших в чистилище. Надеюсь, нам они не понадобятся.

Через час вернулся Пабло. Похоже, что никто ничего не заподозрил, но он отсутствовал дольше, чем собирался, ему пришлось постоять в очереди, чтобы почтить умершую, – собралось много народу. Когда он уходил, священник архиепископа все еще не появился. Единственное, что его тревожило, – это болтовня Хосе насчет радио. Старик был безмерно горд, ведь, кроме него, никто никогда не слышал здесь радио, а он даже держал его в руках. Пока что он, кажется, забыл о гринго.

– Скоро он о нем вспомнит, – сказал Диего. – Нам следовало бы отсюда уйти.

Пабло возразил:

– Как мы можем уйти? С раненым?

– Эль Тигре сказал бы: «Убейте его сейчас», – возразил Акуино.

– Ты ведь уже мог это сделать, – вставил Диего.

– Где отец Ривас? – спросил Пабло.

– На посту.

– Там должны быть двое.

– Человеку надо выпить. Мое матэ кончилось. Марта должна была принести еще, но отец Ривас послал ее в город купить виски для гринго. Он-то не должен испытывать жажды.

– Акуино, ступай на пост.

– Не тебе мне приказывать, Пабло.

Если такое бездействие будет продолжаться, подумал доктор Пларр, они перегрызутся.

Марта вернулась под вечер. Газеты из Буэнос-Айреса пришли; в «Насьон» несколько строк были посвящены доктору Сааведре, хотя автору и пришлось напомнить читателям, кто он такой. "Писатель, – сообщал он, – главным образом известен своей первой книгой – «Молчаливое сердце», название при этом он перепутал.

Казалось, вечер тянется бесконечно. Словно сидя тут часами в молчании, они стали частью окружающего их молчания радио, молчания властей, даже молчания природы. Собаки не лаяли. Птицы перестали петь, а когда пошел дождь, он падал тяжелыми редкими каплями, такими же несчастными, как их слова, в промежутках между каплями тишина казалась еще глуше. Где-то вдали бушевала буря, но она разразилась по ту сторону реки, в другой стране.

Стоило кому-нибудь из них заговорить, как ссора назревала из-за самого невинного замечания. Один только индеец оставался безучастным. Старательно смазывая автомат, он сидел, кротко улыбаясь. Затвор он прочищал нежно, с чувственным удовольствием, словно женщина, ухаживающая за своим первенцем. Когда Марта разлила суп, Акуино пожаловался, что он недосоленный, и доктору Пларру показалось, что она вот-вот швырнет ему в лицо тарелку с обруганным супом. Он ушел от них и отправился в смежную комнату.

– Было бы у меня хоть что-нибудь почитать... – сказал Чарли Фортнум.

– Для чтения тут мало света, – сказал доктор Пларр.

Комнату освещала всего одна свеча.

– Конечно, они могли бы дать мне еще свечей.

– Они не хотят, чтобы свет был виден снаружи. Когда наступает темнота, люди в квартале спят... или занимаются любовью.

– Слава богу, у меня все еще много виски. Налейте себе. Странные отношения, правда? Подстрелили как собаку, а потом дают виски. На этот раз я за него даже не заплатил. Что нового? Когда они заводят радио, они приглашают звук, и я ни черта не слышу.

– Ничего нового. Как вы себя чувствуете?

– Довольно скверно. Как вы думаете, успею я прикончить эту бутылку?

– Конечно, успеете.

– Тогда будьте оптимистом и налейте себе побольше.

Они выпили в тишине. Нарушили они ее лишь ненадолго. Доктор Пларр спрашивал себя, где сейчас Клара. В поместье? В консульстве? Наконец он спросил:

– Чарли, что заставило вас жениться на Кларе?

– Я же вам говорил – мне хотелось ей помочь.

– Для этого не обязательно жениться.

– Если бы я не женился, то после моей смерти она бы много потеряла из-за налога на наследство. Кроме того, я хотел ребенка. Я люблю ее, Тед. Хочу, чтобы она не боялась за будущее. Жаль, что вы ее мало знаете. Врач ведь видит пациента только снаружи... ну и, конечно, изнутри тоже, но вы же понимаете, что я хочу сказать. Для меня она как... как...

Он не находил нужного слова, и у доктора Пларра было искушение его подсказать. Она как зеркало, подумал он, зеркало, сфабрикованное матушкой Санчес, чтобы отражать каждого мужчину, который в него смотрит, – отражать неуклюжую нежность Чарли, подражая ей, и мою... мою... Но нужное слово ускользало и от него. Конечно, это была не страсть. Какой все-таки вопрос она ему задала перед тем, как он с ней расстался? В ней как в зеркале отражались даже его подозрения на ее счет. Он сердился на нее, будто она неведомо как причинила ему обиду. Ею можно пользоваться, как зеркалом при бритье, подумал он, вспомнив солнечные очки от Грубера.

– Вы будете надо мной смеяться, – несвязно говорил Чарли Фортнум, – но она немножко напоминает мне Мэри Пикфорд в тех старых немых фильмах... Я имею в виду, конечно, не лицо, но, знаете, что-то вроде... это можно назвать невинностью.

– В таком случае надеюсь, что ребенок будет девочкой. Мальчик, похожий на Мэри Пикфорд, вряд ли преуспеет в нашем мире.

– Мне все равно, кто родится, но Клара, кажется, хочет мальчика. – Он добавил с насмешкой над собой: – Может, она хочет, чтобы он был похож на меня.

Доктор Пларр почувствовал дикое желание сказать ему правду. Его остановил только вид раненого, беспомощно распростертого на крышке гроба. Волновать пациента было бы

непрофессионально. Чарли Фортнум поднял стакан с виски и пояснил:

– Конечно, не на такого, каким я стал. Ваше здоровье.

Доктор Пларр услышал в соседней комнате громкие голоса.

– Что там происходит? – спросил Чарли Фортнум.

– Ссорятся.

– Из-за чего?

– Наверно, из-за вас.

2

В пятницу утром в начале десятого над кварталом появился низко летевший вертолет. Неутомимый и пытливый, он сновал то туда, то сюда, как карандаш вдоль линейки, чуть не над самыми деревьями, исследуя каждый проселок. Доктору Пларру это напомнило, как он сам прощупывает пальцами тело пациента в поисках болевой точки.

Отец Ривас велел Пабло присоединиться к Диего и Марте, которые стояли снаружи на часах.

– Весь квартал выйдет наружу, – сказал он. – Им бросится в глаза, если люди из этой лачуги не проявят интереса.

Он приказал Акуино караулить Фортнума в соседней комнате. Хотя Фортнум никак не мог сообщить о своем присутствии, отец Ривас не хотел рисковать.

Доктор Пларр и священник молча сидели, глядя в потолок, как будто в любой момент вертолет мог с грохотом свалиться им на голову. Когда машина пролетела, они услышали шорох листьев, падавших на землю, подобно дождю. А когда замер и этот звук, они продолжали безмолвно сидеть, ожидая возвращения вертолета.

Пабло и Диего вошли в комнату. Пабло доложил:

– Они фотографировали.

– Эту хижину?

– Весь квартал.

– Тогда они наверняка заметили вашу машину, – сказал доктор Пларр. – Их должно заинтересовать, что она здесь делает.

– Мы хорошо ее спрятали, – отозвался отец Ривас. – Мы можем только надеяться.

– Они искали очень упорно, – сообщил Пабло.

– Лучше сейчас же пристрелить Фортнума, – заметил Диего.

– Срок нашего ультиматума истекает только в воскресенье в полночь.

– Они его уже отклонили. Это доказывает вертолет.

– Продлите на несколько дней срок вашего ультиматума, – сказал доктор Пларр. – Дайте сработать моему обращению к общественности. Пока опасность вам не грозит. Полиция не посмеет на вас напасть.

– Срок назначил Эль Тигре, – сказал отец Ривас.

– Что бы вы ни говорили, должен же у вас быть какой-то способ с ним связаться.

– Такого способа нет.

– Вы же сообщили ему о Фортнуме.

– Та линия связи сразу же прервалась.

– Тогда действуйте сами. Пусть кто-нибудь позвонит в «Эль литораль». Дайте им еще неделю.

– Еще неделю, чтобы полиция за это время могла нас найти, – сказал Диего.

– Перес не решится искать слишком настойчиво. Он не хочет найти труп.

Снова слышался шум вертолета. Они уловили его приближение издалека, звук был не громче бормотания под нос. В первый раз вертолет шел с востока на запад. Теперь он летел над верхушками деревьев с севера на юг и обратно. Пабло и Диего вновь вышли во двор, их долгое бдение снова возобновилось под шелест падающих листьев. Наконец опять наступила тишина.

Часовые вошли обратно в хижину.

– Опять фотографировали, – сказал Диего. – Наверно, засняли каждую тропинку и каждую хижину в квартале.

– А вот муниципалитет никогда этого не делал, – сказал негр. – Может, теперь-то они поймут, как нам не хватает водопроводных колонок.

Отец Ривас вызвал со двора Марту и стал шепотом давать ей какие-то указания. Доктор Пларр пытался расслышать, что он говорит, но ничего не разобрал, пока оба не повысили голос.

– Нет, – говорила Марта, – нет, отец мой, я тебя не оставлю.

– Это приказ.

– Что ты мне говорил – я твоя жена или твоя женщина?

– Конечно, жена.

– Ну да, ты так говоришь, говорить тебе легко, но обращаешься со мной, будто я твоя женщина. Ты сказал «уйди», потому что бросаешь меня. Теперь я знаю, что я только твоя женщина. Ни один священник не захотел нас повенчать. Все тебе отказали. Даже твой друг отец Антонио.

– Я объяснял тебе десятки раз, что для брака священник не обязателен. Священник – только свидетель. Вступают в брак человек с человеком. Наш обет – только он имеет значение. Наши намерения.

– Откуда мне знать твои намерения? Может, тебе просто нужна была женщина, чтобы с ней спать. Может, для тебя я просто шлюха. Ты обращаешься со мной как со шлюхой, когда велишь мне уйти и оставить тебя.

Отец Ривас занес было руку, словно хотел ее ударить, потом отвернулся.

– Если ты не совершил из-за меня смертного греха, отец, почему ты не хочешь отслужить для нас мессу? Всем нам грозит смерть. Нам нужна месса. И той бедной женщине, которая умерла... Даже этому гринго здесь... Ему тоже нужна твоя молитва.

К доктору Пларру вернулась школьная привычка подшучивать над Леоном.

– Обидно, что ты покинул церковь, – сказал он. – Видишь, люди теряют к тебе доверие.

Отец Ривас посмотрел на него злыми глазами собаки, у которой хотят отнять кость.

– Я никогда тебе не говорил, что покинул церковь. Как я могу покинуть церковь? Церковь – это весь мир. Церковь – этот квартал, даже эта комната. У каждого из нас есть только одна возможность покинуть церковь – это умереть. – Он устало махнул рукой, его утомил этот бесполезный спор. – Да и той возможности нет, если правда то, во что мы порой верим.

– Она ведь только просила тебя помолиться. Ты забыл, как молятся? Я-то забыл. Все, что помню, «Богородице дево, радуйся», да и то путаю слова с английским детским стишком.

– Я никогда не умел молиться, – сказал отец Ривас.

– Что ты говоришь, отец мой? Он сам не знает, что говорит! – воскликнула Марта, словно защищая ребенка, который повторил похабное слово, подхваченное на улице.

– Молитва об исцелении болящих. Молитва о ниспослании дождя. Ты хочешь таких молитв? Что ж, их я знаю наизусть, только это не молитвы. Назови их прошениями, если уж хочешь как-то назвать эти шаманские причитания. С тем же успехом можешь подать их в письменном виде, да еще попросить соседа поставить подпись и бросить в почтовый ящик, адресовав господу богу. Но письма никто не доставит. Никто никогда его не прочтет. Ну конечно, время от времени бывают совпадения. Врач в виде исключения правильно прописал лекарство, и ребенок выздоровел. Или разразилась гроза, когда она тебе нужна. Или ветер переменялся.

– А я все равно молился в полицейском участке, – заметил Акуино с порога соседней комнаты. – Молился о том, чтобы снова лечь в постель с женщиной. И не говори, что это была не настоящая молитва. Она была услышана. В первый же день на свободе я спал с женщиной. В поле, пока ты ходил в деревню покупать еду. Моя молитва исполнилась, отец мой. Хоть это было в поле, а не в постели.

Он пикадор, как и я, подумал доктор Пларр. Покалывает быка, чтобы придать ему резвости перед смертью. Это бесконечное повторение слова «отец» пронзало кожу, как стрелы. Почему мы так хотим его казнить – или мы казним самих себя?.. Какой жестокий спорт!

– Что ты здесь делаешь, Акуино? Я же сказал, чтобы ты пошел туда и караулил пленного.

– Вертолет ушел. Что он может сделать, этот гринго? Он только пишет письмо своей женщине.

– Ты дал ему ручку? Я забрал у него ручку, как только его сюда привели.

– А какой вред может быть от письма?

– Но я тебе приказал. Если все вы начнете нарушать приказы, никому из нас несдобровать.

Диего, Пабло, ступайте на пост. Будь здесь Эль Тигре...

– Но его здесь нет, отец мой, – сказал Акуино. – Он где-то в безопасности, ест и пьет вволю. Не было его и у полицейского участка, когда ты меня спасал. Что же, он так никогда и не рискнет своей жизнью, как рискует нашей?

Отец Ривас оттолкнул его и пошел в соседнюю комнату. Доктору Пларру трудно было узнать в нем мальчика, который когда-то объяснил ему таинство троицы. Преждевременные морщины, избороздившие его лицо, выдавали запутанный клубок мучительных сомнений, похожий на клубок змей.

Чарли Фортнум лежал, опираясь на левый локоть. Забинтованная нога торчала над краем гроба; он писал медленно, с трудом и не поднял головы, когда отец Ривас спросил:

– Кому вы пишете?

– Жене.

– Вам, должно быть, трудно писать в таком положении.

– За четверть часа написал две фразы. Я просил вашего Акуино писать под мою диктовку. Он отказался. Сердится с тех пор, как меня подстрелил. Не желает со мной разговаривать. За что? Можно подумать, это я его ранил.

– Может быть, и ранили.

– Как?

– Вероятно, он считает, что вы его подвели. Он не думал, что у вас хватит храбрости его обмануть.

– Храбрости? У меня? Да у меня не больше храбрости, чем у зайца. Просто хотелось повидать жену, вот и все.

– А кто передаст ей это письмо?

– Может быть, доктор Пларр. Если после моей смерти вы его отпустите. Прочтет его жене вслух. Она не очень-то хорошо умеет читать, а почерк у меня хромал даже в лучшие дни.

– Если хотите, я напишу письмо под вашу диктовку.

– Большое спасибо. Я был бы вам очень благодарен. Я бы даже предпочел, чтобы это сделали вы, а не кто-нибудь другой. Такое письмо ведь все-таки секрет. Вроде исповеди. А вы все же священник.

Отец Ривас взял письмо и сел на пол возле гроба.

– Забыл, на чем я остановился.

Отец Ривас прочел:

– «Не беспокойся, детка, что ты останешься одна с ребенком. Ему лучше быть с матерью, чем с отцом. Я хорошо это знаю. Сам остался один с отцом, и это было совсем невесело. Одни только лошади, лошади...» Вот и все. Вы остановились на лошадях.

– «Наверно, ты подумаешь, – продолжал Чарли Фортнум, – что в том положении, в каком я

нахожусь, надо уметь прощать. Даже отца. Пожалуй, он был не такой уж плохой. Дети чересчур легко ненавидят...» Лучше вычеркните там, где насчет лошадей, отец.

Отец Ривас зачеркнул указанные слова.

– Напишите вместо этого... но что? Я отвык откровенничать в письмах, вот в чем беда. Налейте мне капельку виски, отец. Может, мозги заработают или то, что от них осталось... я, конечно, говорю о своих мозгах.

Отец Ривас налил ему виски.

– Я предпочитаю «Лонг Джон», – сказал Чарли Фортнум, – но пойло, которое вы принесли, не такая уж дрянь. Если долго здесь пробуду, может, войду во вкус этого вашего аргентинского виски, однако с ним мне блюсти норму куда сложнее, чем с шотландским. Вам этого не понять, отец мой, но у всякого питья своя норма, кроме воды, разумеется. Вода вообще не для питья. От воды ржавеют внутренности, а то еще и брюшной тиф подхватишь. Нет от нее пользы ни человеку, ни животным, только этим чертовым лошадям. А что, если я вас попрошу выпить со мной по маленькой?

– Нет. Я, можно сказать, при исполнении служебных обязанностей. Будете продолжать письмо?

– Да, конечно. Я просто переждал, чтобы виски подействовало. Вы вычеркнули тот кусок насчет лошадей? Что же мне сказать еще? Понимаете, я хочу поговорить с ней просто, как если бы мы сидели вдвоем на веранде у нас в поместье, но слова никогда не давались мне легко – на бумаге. Надеюсь, вы меня понимаете. В конце концов, вы тоже вроде как женаты, отец мой.

– Да, я тоже женат, – сказал отец Ривас.

– Но там, куда я отправлюсь, никаких браков не бывает, так по крайней мере вы, священники, нам всегда толкуете. Это немножко обидно теперь, когда я так поздно нашел наконец подходящую девушку. Следовало бы завести на небесах посетительские дни, чтобы можно было чего-то ожидать, хотя бы время от времени. Как это делают в тюрьме. Какой же это рай, если не ждешь ничего хорошего? Видите, выпив свою норму виски, я даже ударился в богословие... На чем же я остановился? Ах да, на лошадях. Вы уверены, что мы вычеркнули лошадей этого старого ублюдка?

Из другой комнаты появился доктор Плarr; он ступал бесшумно по земляному полу, и ни тот, ни другой не подняли головы. Оба были заняты письмом. Он молча постоял у двери. На вид это была парочка старых друзей.

– «Пусть ребенок поступит в местную школу, – диктовал Чарли Фортнум, – а если это будет мальчик, только не посылай его в ту шикарную английскую школу в Буэнос-Айресе, где я учился. Мне там было нехорошо. Пусть он станет настоящим аргентинцем, как ты сама, а не серединкой на половинку вроде меня». Написали, отец мой?

– Да. Не написать ли ей что-нибудь о том, почему письмо написано разными почерками? Она может удивиться...

– Вряд ли она это заметит. Да и Плarr сумеет ей объяснить, как было дело. Бог ты мой, сочинять письмо все равно что запускать в ход «Гордость Фортнума» в дождливое утро. Рывок за рывком. Только покажется, что мотор заработал, а он тут же глохнет. Ну ладно... Пишите, отец: «Лежа здесь, я больше всего думаю о тебе, и о ребенке тоже. Дома ты всегда лежишь справа от меня, и я могу положить правую руку тебе на живот и почувствовать, как брыкается оголец, но здесь справа ничего нет. Кровать слишком узкая. Впрочем, довольно

удобная. Мне не на что жаловаться. Я счастливее многих других». – Он сделал паузу. – Счастливее... – И тут он закусил удила: – «До того как я встретил тебя, детка, я был человек конченный. Каждый должен хоть к чему-то стремиться. Даже миллионер хочет нажать еще миллион. Но до того, как ты у меня появилась, к чему мне было стремиться – разве что выпить свою норму. Моим матэ я, в сущности, никогда особенно похвастать не мог. Потом я нашел тебя, и у меня появилась какая-то цель. Мне захотелось сделать так, чтобы ты была довольна, обеспечить тебе будущее, а тут вдруг появился еще и этот наш ребенок. Теперь у нас с тобой одна и та же забота. Я не собирался жить долго. Все, чего мне хотелось, – это сделать так, чтобы первые годы были у него хорошие – первые годы так важны для ребенка, они вроде бы закладывают основу. Ты не думай, что я оставил всякую надежду, я еще отсюда выберусь, несмотря на них всех». – Он снова сделал паузу. – Конечно, это только шутка, отец мой. Как я могу выбраться? Но я не хочу, чтобы она думала, будто я отчаялся... Ах ты, господи, «Гордость Фортнума» на какое-то время заработала, мы чуть не выбрались из кювета, но больше я не могу. Просто напишите: «Дорогая моя девочка, люблю тебя».

– Вы что, кончили письмо?

– Да. Пожалуй, да. Чертовски трудное дело – писать письма. Подумать только, бывает, увидишь на библиотечной полке чьи-то «Избранные письма». Вот бедняга! А то и два тома писем!.. Кое-что я все-таки позабыл сказать. Впишите в самом конце. Как постскриптум. Понимаете, отец мой, это же у нее первый ребенок. У нее нет никакого опыта. Люди говорят, что у женщины действует инстинкт. Но лично я в этом сомневаюсь. Напишите так: «Пожалуйста, не давай ребенку сладостей. Это вредно для зубов, они совсем мне зубы испортили, а если что-нибудь тебе будет неясно, спроси у доктора Пларра. Он хороший врач и верный друг...» Вот и все, что я могу придумать. – Он закрыл глаза. – Может, попозже добавлю что-нибудь еще. Хотелось бы дописать два-три слова, прежде чем вы меня убьете, те самые знаменитые предсмертные слова, но сейчас я слишком устал, чтобы еще что-нибудь сочинять.

– Не теряйте надежды, сеньор Фортнум.

– Надежды на что? С тех пор как я женился на Кларе, я стал бояться смерти. Есть только одна счастливая смерть – это смерть вдвоем, но, даже если бы вы не вмешались, я слишком стар, чтобы так умереть. Подумать страшно, что она останется одна и будет бояться, когда наступит ее очередь умирать. Я хотел бы находиться рядом, держать ее за руку, утешать: ничего, Клара, я ведь тоже умираю, не бойся, и не так уж плохо умереть. Вот я и заплакал, теперь вы сами видите, какой я храбрец. Только мне не себя жалко, отец. Просто мне не хочется, чтобы она была одинока, когда станет умирать.

Отец Ривас неопределенно взмахнул рукой. Может быть, хотел его благословить, но забыл, как это делается.

– Господь да пребудет с вами, – сказал он без особой уверенности.

– Оставьте его себе, вашего господа. Простите, отец, но я что-то не вижу даже и признаков его присутствия, а вы?

Доктор Пларр ушел в другую комнату, бешено злясь неизвестно на что. Каждое слово письма, продиктованного Фортнумом, он почему-то воспринимал как упрек, несправедливо направленный в его адрес. Он был так разъярен, что зашагал прямо к выходу, но, почувствовав, что автомат индейца упирается ему в живот, остановился. Ребенок, думал он, что ни слово – ребенок, верный друг, не давай ребенку сладостей, чувствую, как он брыкается... Он постоял на месте, хотя автомат все так же упирался ему в живот, и желчно сплюнул на пол.

– В чем дело, Эдуардо? – спросил Акуино.

– До смерти надоело сидеть здесь, как в клетке. Какого черта, неужели вы не можете мне поверить и меня отпустить?

– Нам нужен врач для Фортнума. Если ты уйдешь, ты не сможешь вернуться.

– Я ничем больше не могу помочь Фортнуму, а здесь я как в тюрьме.

– Ты не говорил бы так, если побывал бы в настоящей тюрьме. Для меня это свобода.

– Сто квадратных метров земляного пола...

– Я привык к девяти. Так что мир для меня намного расширился.

– Ты, наверно, можешь сочинять стихи в любой дыре, а мне здесь нечего, абсолютно нечего делать. Я врач. Одного пациента мне мало.

– Теперь я больше не сочиняю стихов. Они были частью тюремной жизни. Я сочинял стихи, потому что их легче запомнить. Это был способ общения, и все. А теперь, когда у меня есть сколько угодно бумаги и ручка, я не могу написать ни строки. Ну и плевать. Зато я живу.

– Ты зовешь это жизнью? Вам даже нельзя прогуляться в город.

– Я никогда не любил гулять. Всегда был лентяем.

Вошел отец Ривас.

– Где Пабло и Диего? – спросил он.

– На посту, – сказал Акуино. – Ты их сам послал.

– Марта, захвати одного из них и ступай в город. Может, это наша последняя возможность. Купи как можно больше продуктов. Чтобы хватило на три дня. И чтобы их нетрудно было нести.

– Отчего ты встревожился? – спросил Акуино. – Ты узнал плохие новости?

– Меня беспокоит вертолет... и слепой старик тоже. Ультиматум истекает в воскресенье вечером, а полиция может быть здесь задолго до этого.

– И что тогда? – спросил доктор Плarr.

– Мы его убьем и попытаемся скрыться. Надо запастись провизией. Придется обходить города стороной.

– Ты играешь в шахматы, Эдуардо? – спросил Акуино.

– Да. А что?

– У меня есть карманные шахматы.

– Давай их скорей сюда, сыграем.

Они уселись на земляном полу по обе стороны крохотной доски; расставляя фигурки, доктор Плarr сказал:

– Я играл почти каждую неделю в «Боливаре» с одним стариком по фамилии Хэмфрис. Мы играли с ним и в тот вечер, когда вы дали такую промашку.

– Хороший шахматист?

– В тот вечер он меня обыграл.

Акуино играл небрежно, торопился делать ходы, а когда доктор Пларр задумывался, напевал себе под нос.

– Помолчи, – попросил его доктор Пларр.

– Ха-ха. Прижал я тебя, а?

– Напротив. Шах.

– С этим мы живо справимся.

– Опять шах. И мат.

Доктор Пларр выиграл подряд две партии.

– Ты для меня слишком сильный игрок, – сказал Акуино. – Лучше бы мне сразиться с сеньором Фортнумом.

– Никогда не видел, чтобы он играл в шахматы.

– Вы с ним большие друзья?

– В некотором роде.

– И с его женой тоже?

– Да.

Акуино понизил голос:

– Этот младенец, о котором он все время говорит, – он твой?

– Мне до смерти надоели разговоры об этом младенце. Хочешь еще партию?

Когда они расставляли фигуры, они услышали ружейный выстрел, он донесся издалека. Акуино схватил автомат, но больше выстрелов не последовало. Доктор Пларр сидел на полу с черной ладьей в руке. Она взмокла от пота. Все молчали. Наконец отец Ривас сказал:

– Кто-то просто стрелял в дикую утку. Нам начинает чудиться, что все имеет к нам отношение.

– Да, – сказал Акуино, – и даже вертолет мог принадлежать городскому муниципалитету, если бы не военные опознавательные знаки.

– Сколько времени до следующей передачи известий по радио?

– Еще два часа. Хотя могут передать и экстренное сообщение.

– Нельзя, чтобы радио было все время включено. Это единственный приемник во всем квартале. И так уже о нем слишком много знают.

– Тогда мы с Акуино можем сыграть еще партию, – сказал доктор Пларр. – Я даю ему ладью фору.

– Не нужна мне твоя ладья. Я побью тебя на равных. У меня просто не было практики.

За спиной Акуино доктор Пларр видел отца Риваса. Маленький, пропыленный, он был похож на усохшую мумию, выкопанную из земли с дорогими реликвиями, захороненными вместе с нею, – револьвером и потрепанным томиком в бумажном переплете. Что это – требник? – спросил себя доктор Пларр. Или молитвенник? С чувством безысходной скуки он опять повторил:

– Шах и мат.

– Ты играешь слишком хорошо для меня, – сказал Акуино.

– Что ты читаешь, Леон? – спросил доктор Пларр. – Все еще заглядываешь в требник?

– Уже много лет как бросил.

– А что у тебя в руках?

– Детектив. Английский детектив.

– Интересный?

– Тут я не судья. Перевод не очень хороший, да и в книгах такого рода всегда угадываешь конец.

– Тогда что же там интересного?

– Ну, все же приятно читать повесть, когда заранее знаешь, чем она кончится. Повесть о вымышленном царстве, где всегда торжествует справедливость. Во времена, когда господствовала вера, детективов не было – вот что любопытно само по себе. Господь бог был единственным сыщиком, когда люди в него верили. Он был законом. Порядком. Добром. Как ваш Шерлок Холмс. Бог преследовал злодея, чтобы его наказать и раскрыть преступление. А теперь закон и порядок устанавливают люди вроде Генерала. Электрические удары по половым органам. Пальцы Акуино. Держат бедняков впроголодь, чтобы у них не было энергии бунтовать. Я предпочитаю сыщика. Я предпочитаю бога.

– Ты все еще в него веришь?

– Относительно. Иногда. Не так-то просто ответить – да или нет. Конечно, уже не в того бога, о котором нам говорили в школе или в семинарии.

– В своего личного бога, – сказал доктор Пларр, снова его поддразнивая. – Я-то думал, что это протестантская ересь.

– А почему бы и нет? Разве та вера хуже? Разве она менее истинная? Мы больше не убиваем еретиков – только политических узников.

– Чарли Фортнум – тоже твой политический узник.

– Да.

– Значит, ты и сам немножко похож на Генерала.

– Я его не пытаю.

– Ты в этом уверен?

Марта вернулась из города одна. Она спросила:

– Диего здесь?

– Нет, – ответил отец Ривас, – он ведь пошел с тобой... или ты взяла с собой Пабло?

– Диего остался в городе. Сказал, что меня догонит. Ему нужно забрать бензин. Бензина в машине, говорит он, почти не осталось и запаса нет.

Акуино сказал:

– Это неправда.

– Его очень напугал вертолет, – сказала Марта. – И старик тоже.

– Вы думаете, он пошел в полицию? – спросил доктор Пларр.

– Нет, – сказал отец Ривас, – в это я никогда не поверю.

– Тогда где же он? – спросил Акуино.

– Его вид мог показаться подозрительным, вот его и задержали. Мог пойти к женщине. Кто знает? Мы, во всяком случае, ничего не можем поделать. Только ждать. Сколько времени до последних известий?

– Двадцать две минуты, – сказал Акуино.

– Скажи Пабло, чтобы он вернулся в дом. Если нас засекали, ему нет смысла находиться снаружи, где его схватят в одиночку. Лучше всем держаться вместе до конца.

Отец Ривас взялся за свой детектив.

– Все, что нам остается, – это надеяться, – сказал он. И добавил: – До чего же удивительно спокоен там мир. Все так разумно устроено. Никаких сложностей. На каждый вопрос есть ответ.

– О чем ты говоришь? – спросил доктор Пларр.

– О том, каким выглядит мир в этом детективе. Можешь объяснить, что такое Бредшоу?

– Бредшоу?

Доктору Пларру казалось, что впервые с тех пор, как они еще ребятами вели долгие споры, Леон так спокоен. Не теряет ли он по мере того, как положение все больше осложняется, чувства ответственности, подобно игроку в рулетку, который, отбросив свою систему игры, даже не старается следить за шариком. Ему не следовало заниматься такими делами – он больше на своем месте в роли священника у одра больного, покорно ожидающего его конца.

– Бредшоу – английская фамилия, – сказал доктор Пларр. – У моего отца был приятель Бредшоу, он писал ему письма из города под названием Честер.

– А этот Бредшоу знает наизусть расписание поездов по всей Англии. Поезда там идут всего по несколько часов в любую сторону. И всегда прибывают вовремя. Сыщику только надо справиться у Бредшоу, когда именно... До чего же странный мир, откуда вышел твой отец! Здесь мы всего в каких-нибудь восьмистах километрах от Буэнос-Айреса, а поезд по расписанию идет сюда полтора дня, но чаще всего опаздывает на двое, а то и на трое суток. Этот английский сыщик – человек очень нетерпеливый. Ожидая поезда из Эдинбурга – а это ведь примерно такое же расстояние, как отсюда до Буэнос-Айреса? – он шагает взад-вперед по перрону лондонского вокзала; если верить тому Бредшоу, поезд опаздывает всего на полчаса, а сыщик почему-то решает, что там наверняка что-то случилось. Всего на полчаса! –

воскликнул отец Ривас. – Помню, когда я в детстве опаздывал из школы домой, мать волновалась, а отец говорил: «Ну что может случиться с ребенком по дороге из школы?»

Акуино прервал его с раздражением:

– А как насчет Диего? Он тоже опаздывает, и надо прямо сказать, меня это беспокоит.

Вошел Пабло. Акуино сразу же ему сообщил:

– Диего ушел.

– Куда?

– Может быть, в полицию.

Марта сказала:

– Всю дорогу до города он только и говорил что о вертолете. А когда мы подошли к реке, нет, он тогда ничего не сказал, но какое у него было лицо! У пристани, где останавливается паром, он мне говорит: «Странно. Не видно полицейских, которые проверяют пассажиров». А я ему говорю: «Разве ты не видишь, что на той стороне делается? И разве можно узнать полицейского, если он не в форме?»

– Как ты думаешь, отец мой? – спросил Пабло. – Это же я познакомил его с тобой. И мне стыдно. Я сказал тебе, что он хорошо водит машину. И что он храбрый.

– Пока нет оснований тревожиться, – ответил отец Ривас.

– Как я могу не тревожиться? Он мой земляк. Вы, остальные, пришли с той стороны границы. Вы можете доверять друг другу. У меня такое чувство, будто Диего мой брат, и мой брат вас предал. Не надо было вам обращаться ко мне за помощью.

– Что бы мы без тебя делали, Пабло? Где бы мы спрятали посла в Парагвае? Даже переправить его через реку было бы слишком опасно. Вероятно, мы зря включили в нашу группу одного из твоих соотечественников, но Эль Тигре никогда не считал, что мы здесь, в Аргентине, иностранцы. Он не делит людей на парагвайцев, перуанцев, боливийцев, аргентинцев. Мне кажется, что он предпочел бы всех звать американцами, если бы не та страна там, к северу.

– Как-то раз Диего меня спросил, – сказал Пабло, – почему в вашем списке узников, которых надо освободить, одни парагвайцы? Я ему объяснил, что они больше всего в этом нуждаются, потому что сидят в тюрьме больше десяти лет. В следующий раз, когда мы нанесем удар, мы потребуем освободить наших, как тогда в Сальте. Тогда нам помогали парагвайцы... Я не верю, что он пойдет в полицию, отец мой.

– Да и я не верю, Пабло.

– Нам недолго осталось ждать, – сказал Акуино. – Они должны уступить... или мы бросим в реку мертвого консула.

– Сколько еще до последних известий?

– Десять минут, – сказал доктор Пларр.

Отец Ривас взялся за детектив, но, следя за ним, доктор Пларр видел, что читает он как-то медленно. Он долго не сводил глаз с какой-нибудь фразы, прежде чем перевернуть страницу. Губы его чуть-чуть шевелились. Словно он молился тайком, ведь молитва священника у

постели умирающего – это последняя просьба о помощи, и больной не должен ее слышать. Все мы его больные, подумал доктор Плarr, всем нам скоро суждено умереть.

Доктор не верил в благополучный исход. Сделав ошибку в уравнении, вы получаете цепь ошибок. Его собственная смерть может стать одной из этих ошибок; люди скажут, будто он пошел по стопам отца, но они будут не правы – это не входило в его намерения.

С тягостным ощущением тревоги и любопытства он подумал о своем ребенке. Ребенок тоже был следствием ошибки, неосторожности с его стороны, но раньше он никогда не чувствовал за это ответственности. Он считал ребенка бесполезной частицей Клары, подобно ее аппендиксу – скорее больному аппендиксу, который следует удалить. Он предложил сделать аборт, но эта мысль ее напугала – вероятно, потому, что в доме у матушки Санчес делали слишком много абортaв без помощи врача. Теперь, ожидая последних известий по радио, он говорил себе: бедный маленький ублюдок, жаль, что я никак о нем не позаботился. Какая же Клара мать? Небось вернется к матушке Санчес, и ребенок вырастет баловнем публичного дома. А может, это и лучше, чем жить с его матерью в Буэнос-Айресе и уплетать пирожные на калье Флорида, прислушиваясь к многоязычному гомону богатеньких дамочек. Он задумался о путаной родословной ребенка, и впервые, на фоне этой путаницы, ребенок стал для него реальностью, а не просто мокрым кусочком мяса, вырванным из тела вместе с пуповиной, которую надо перерезать. Эту пуповину перерезать невозможно. Она соединяет ребенка с двумя такими разными дедами – рубщиком сахарного тростника в Тукумане и старым английским либералом, пристреленным во дворе полицейского участка в Парагвае. Пуповина соединяла ребенка с отцом – врачом из провинции, матью из публичного дома, с дядей, сбежавшим когда-то с плантации сахарного тростника, чтобы пропасть в просторах континента, с двумя бабками... Нет, этим нитям, опутывающим крохотное существо как свивальники, которыми в старину пеленали ручки и ножки новорожденного, не было конца. «Холодный, как рыба», – отозвался о нем Чарли Фортнум. Что передаст ребенку холодный, как рыба, отец? Хорошо, если бы можно было менять отцов. Холодный, как рыба, отец был бы и для него самого куда более подходящим родителем, чем тот, который из одного сострадания умер за других. Ему хотелось бы, чтобы маленький ублюдок во что-то верил, но не тот он отец, который может передать в наследство веру в бога или в идею. Он крикнул в другой конец комнаты:

– Ты и правда веришь во всемогущего бога, Леон?

– Что? Прости, я не расслышал. Этот сыщик такой хитрец – видно, поезд из Эдинбурга не зря опаздывает на полчаса.

– Я спросил, веришь ли ты иногда в бога-отца?

– Ты меня уже об этом спрашивал. И тебе это вовсе не интересно. Ты только смеешься надо мной, Эдуардо. И все-таки я тебе отвечу, когда исчезнет последняя надежда. Тогда тебе не захочется смеяться. Извини меня на минутку – детектив становится все интереснее: эдинбургский экспресс подходит к станции под названием Кингс-Кросс. Королевский Крест. Это что, какой-нибудь символ?

– Нет. Просто название одного из вокзалов в Лондоне.

– Тише вы оба.

Акуино включил приемник, и они стали слушать зарубежные новости, которые в этот час передавались из Буэнос-Айреса. Диктор сообщил о визите Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Западную Африку; полсотни хиппи были насильно высланы с Майорки; снова поднялись пошлины на автомобили, импортируемые в Аргентину; в Кордове в возрасте восьмидесяти лет умер какой-то генерал в отставке; в Боготе взорвалось несколько бомб, и, конечно, аргентинская футбольная команда продолжала свое

триумфальное шествие по Европе.

– О нас позабыли, – сказал Акуино.

– Если бы можно было в это поверить, – отозвался отец Ривас. – Остаться здесь... и чтобы о нас позабыли... навсегда. Не такая уж плохая участь, а?

3

В субботу в полдень передали сообщение, которого они так долго ждали, но им пришлось терпеливо выслушать последние известия до самого конца. Задачей всех заинтересованных правительств было всячески умалить значение дела Фортнума. Буэнос-Айрес приводил весьма сдержанные высказывания британской прессы. Лондонская «Таймс», например, сухо сообщила, что один аргентинский писатель (имя не называлось) предложил себя в обмен на консула, а передача Би-би-си, по выражению аргентинского комментатора, дала всему этому делу должную оценку. Некий заместитель министра кратко коснулся этого вопроса в телевизионной дискуссии, посвященной политическому насилию, в связи с трагической гибелью свыше ста шестидесяти пассажиров одного из самолетов Британской авиационной корпорации: «Я знаю об этом происшествии в Аргентине не больше любого нашего телезрителя. Мне некогда читать романы, но сегодня, прежде чем выйти из дома, я позвонил в книжный магазин, которым пользуется жена, и навел справки о господине Савиндре, но, к сожалению, они знают о нем не больше моего». Заместитель министра добавил: «Как бы я ни сочувствовал мистеру Фортнуму, я хочу подчеркнуть, что мы не можем рассматривать похищение такого рода как удар по британской дипломатической службе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мистер Фортнум никогда не был членом дипломатического корпуса. Он родился в Аргентине и, насколько мне известно, даже никогда не посещал нашу страну. Когда произошло это печальное событие, мы как раз собирались освободить его от должности почетного консула, поскольку он давно достиг пенсионного возраста, к тому же у нас не было необходимости его заменить, так как число британских подданных в этой провинции за последние десять лет сильно упало. Вы, несомненно, знаете, что наше правительство не щадит усилий по сокращению расходов на содержание нашей дипломатической службы за рубежом».

Отвечая на вопрос, заняло бы правительство другую позицию, если бы жертвой оказался сотрудник дипломатического корпуса, заместитель министра заявил: «Конечно, мы заняли бы точно такую же позицию. Мы не намерены уступать шантажу где бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах. В данном конкретном случае мы имеем все основания полагать, что мистер Фортнум будет освобожден, когда эти безрассудные люди убедятся в тщетности своей попытки. В этом случае президент Аргентины будет решать, намерен ли он проявить к преступникам милосердие. А теперь, если председатель позволит, мне бы хотелось вернуться к основной теме сегодняшней передачи. Могу вас заверить, что на борту самолета не было охраны, и, следовательно, вопрос о вооруженном столкновении...»

Пабло выключил радио.

– Что все это значит? – спросил отец Ривас.

Доктор Плarr объяснил:

– Они предоставили вам самим решать участь Фортнума.

– Если они отклонили ультиматум, – сказал Акуино, – чем скорее мы его уьем, тем лучше.

– Наш ультиматум был адресован не британскому правительству, – заметил отец Ривас.

– Ну конечно, – поспешил поправиться доктор Пларр, – им приходится говорить все это на публику. Мы не знаем, какое давление они негласно оказывают в Буэнос-Айресе и Асунсьоне.

– Даже ему самому эти слова показались недостаточно убедительными.

Не считая тех, кто стоял на посту, все после обеда пили матэ, кроме доктора Пларра – он унаследовал от отца вкус к обычному чаю. Сыграв еще одну партию с Акуино, Пларр притворился, что допустил ошибку, потерял королеву и дал Акуино одержать победу, но, когда тот произнес «шах и мат», в его угрюмом голосе звучало недоверие.

Доктор Пларр дважды навестил своего пациента и оба раза застал его спящим. Его раздражало спокойное выражение лица приговоренного к смерти. Консул даже слегка улыбался – может, ему снилась Клара или ребенок, а может, он просто видел во сне, как принимает свою «норму». Доктор Пларр задумался о будущем – на тот маловероятный случай, если им суждено будущее. О Кларе он не беспокоился: эта связь – если ее можно назвать связью – все равно скоро кончилась бы. Его тревожил ребенок, который будет расти под надзором Чарли Фортнума. Непонятно почему, но он представлял себе его мальчиком – мальчиком, похожим на две ранние фотографии его самого: на одной он был снят в возрасте четырех, на другой – восьми лет. Мать все еще хранила их в своей захлавленной квартире среди фарфоровых попугаев и старья из антикварных лавок, но серебряные рамки почернели – их, видно, давно не чистили.

Он был уверен, что Чарли воспитает ребенка католиком – и с тем большей строгостью, что сам уже давно нарушил церковный закон; он представлял себе, как Чарли сидит у кровати мальчика и с умилением внимает усилиям ребенка пролепетать «Отче наш». Потом он выйдет на веранду к Кларе и к бару. Чарли будет очень добрым отцом. Он не станет заставлять мальчика ездить верхом. Он даже бросит пить или по крайней мере решительно сократит свою «норму». Чарли будет называть мальчика «старина», трепать по щеке и перед сном перелистывать с ним «Панораму Лондона». Доктор Пларр вдруг увидел, как мальчик сидит в постели, будто это был он сам, прислушиваясь к отдаленным звукам запираемых дверей, к тихим голосам этажом ниже, к осторожным шагам. Он вспомнил ночь, когда со страха прокрался в комнату отца, и теперь всматривался в бородатое лицо этого отца, растянувшегося на крышке гроба, – четырехдневная щетина стала похожа на бороду.

Тут доктор Пларр поспешил вернуться в компанию будущих убийц Чарли Фортнума.

Караульная служба возобновилась. На посту стоял Акуино, а Пабло заменил индейца у двери. Гуарани тихо спал на полу, а Марта гремела тарелками на заднем дворе. Отец Ривас сидел, прислонившись спиной к стене. Он забавлялся сухими горошинами, перебрасывая их из одной руки в другую, как бусины разорванных четок.

– Ты дочитал свою книгу? – спросил доктор Пларр.

– Ну да, – ответил отец Ривас. – Конец был именно такой, как я ожидал. Всегда можно предсказать, чем все кончится. Убийца взял и покончил с собой в эдинбургском экспрессе. Вот почему экспресс опоздал на полчаса и этот Бредшоу ошибся. Как консул?

– Спит.

– А его рана?

– В порядке. Но доживет ли он до того, чтобы она зажила?

– Мне казалось, что ты веришь в закулисное давление.

– Мне казалось, будто и ты во что-то веришь, Леон. В такие вещи, как милосердие и сострадание. Священник всегда остается священником – так ведь утверждают, верно? Не говори мне об отце Торресе [Торрес Рестрепо, Камило (1929-1966) – национальный герой Колумбии, священник, автор «Революционной платформы Единого народного фронта», убит в стычке с правительственными войсками] или о епископах, которые шли на войну в средние века. Сейчас не средневековье, и тут не воюют. Вы готовы убить человека, который не причинил вам никакого зла, человека, который по годам годится мне в отцы – да и тебе тоже. Где отец твой, Леон?

– В Асунсьоне под мраморным памятником величиной с эту лачугу.

– Кажется, все мы не можем расстаться со своими мертвыми отцами. Фортнум ненавидел своего. Пожалуй, моего я любил. Возможно. Откуда мне знать? Само слово «любовь» звучит так фальшиво. Мы ставим любовь себе в заслугу, словно выдержали экзамен с хорошими отметками. Каким был твой отец? Я его ведь даже не видел.

– Он был таким, каким и полагалось быть одному из богатейших людей в Парагвае. Ты, наверное, помнишь наш дом в Асунсьоне с большой галереей, белыми колоннами, мраморными ваннами и сад со множеством апельсиновых и лимонных деревьев. И лапачо, осыпавшими дорожки своими розовыми лепестками. Вероятно, ты никогда не бывал в самом доме, но я твердо помню, что ты как-то раз приходил на мой день рождения, который устраивали в саду. Моих друзей в дом не пускали – там было столько вещей, которые они могли сломать или запачкать. У нас было шестеро слуг. Они мне нравились куда больше моих родителей. Там был садовник Педро – он все время подметал лепестки: мать говорила, что они замусоривают сад. Я очень любил Педро, но отец его выгнал, потому что он украл несколько песо, забытых на садовой скамейке. Отец ежегодно давал кучу денег партии Колорадо, поэтому у него не было неприятностей, когда после гражданской войны к власти пришел Генерал. Он был хорошим адвокатом, но никогда не защищал бедных. Он до самой смерти верно служил богачам, и все говорили, какой он хороший отец, потому что он оставил много денег. Ну ладно, может, он и был хорошим отцом в этом смысле. Одна из обязанностей отца – обеспечивать семью.

– А бога-отца, Леон? Я что-то не вижу, чтобы он так уж щедро нас обеспечивал. Вчера вечером я спросил, веришь ли ты еще в него. Мне всегда казалось, что в нем есть что-то крайне неприятное. Скорее я поверил бы в Аполлона. Тот по крайней мере был красив.

– Беда в том, что мы потеряли способность верить в Аполлона, – сказал отец Ривас. – Иегова вошел в нашу плоть и кровь. Тут уж ничего не поделаешь. Прошли века, и Иегова живет во тьме нашей души, как глист в кишечнике.

– Тебе нельзя было идти в священники, Леон.

– Может, ты и прав, но теперь уже поздно об этом думать. Который час? Мне до смерти надоело это радио, но надо послушать известия – а вдруг они еще уступят.

– Мои часы остановились. Забыл завести.

– Тогда лучше не выключать радио, хоть это и опасно, пока все-таки еще не отпала возможность...

Он совсем приглушил звук, и все равно они уже не были в одиночестве. Кто-то едва слышно играл на арфе, кто-то шепотом пел, будто они сидели в огромном зале, где артистов не видно и не слышно.

Оставалось только разговаривать, разговаривать о чем попало, кроме ночи с субботы на воскресенье.

– Я часто замечал, – сказал доктор Плarr, – когда мужчина бросает женщину, он начинает ее ненавидеть. Может, он ненавидит собственную неудачу? Или же мы просто хотим уничтожить свидетеля, который точно знает, что мы собой представляем, когда перестаем разыгрывать комедию. Наверно, я возненавижу Клару, когда с ней расстанусь.

– Клару?

– Жену Фортнума.

– Значит, правда, что про тебя говорят?

– В нашем положении, Леон, вряд ли есть смысл лгать. Близкая смерть – отличное лекарство от лжи, лучше пентотала. Вы, священники, всегда это знали. Когда приходит священник, я всегда оставляю умирающего с ним наедине, чтобы он мог говорить свободно. Большинство хочет говорить, если только еще в силах.

– Ты собираешься бросить эту женщину?

– Ничего я не собираюсь. Но это неизбежно. Если останусь жив. В этом я уверен. Ничто на свете не вечно, Леон. Разве, когда тебя рукополагали в священники, ты в душе не был уверен, что в один прекрасный день перестанешь им быть?

– Нет. Никогда я так не думал. Ни на минуту. Я думал, что церковь и я хотим одного и того же. Понимаешь, в семинарии я был просто счастлив. Можно сказать, это был мой медовый месяц... Хотя и там случалось... Наверно, так бывает и в медовый месяц... вдруг по какой-то мелочи почувствуешь – что-то обстоит не так... Помню одного старого священника... он преподавал богословскую этику. Никогда не видел человека, настолько знавшего истину в конечной инстанции... и уверенного в своей правоте. Конечно, богословская этика – это кошмар каждой семинарии. Учишь правила и находишь, что в жизни они неприменимы... Ну ничего, думал я, маленькая разница во взглядах, какое это имеет значение? В конце концов муж и жена принаравливаются друг к другу. Церковь будет мне ближе по мере того, как я буду ближе к ней.

– Но когда ты оставил церковь, ты стал ее ненавидеть, верно?

– Я же сказал тебе – церкви я никогда не оставлял. У меня это не развод, Эдуардо, а только разлука, разлука по взаимному соглашению. Я никогда не буду всецело принадлежать никому другому. Даже Марте.

– Но и разлука часто приносит ненависть, – сказал доктор Плarr. – Я замечал это не раз у моих пациентов в этой проклятой стране, где не разрешен развод.

– Со мной этого не случится. Даже если я не могу любить, я не вижу причин для ненависти. Я никогда не забуду тот долгий медовый месяц в семинарии, когда я был так счастлив. Если я теперь и питаю какое-то чувство к церкви, это не ненависть, а сожаление. Думаю, она могла бы использовать меня для благой цели, если бы ей было дано понимать – я хочу сказать, понимать мир, какой он есть.

Радио продолжало шептать, и они напряженно вслушивались, ожидая, когда им объявят, сколько сейчас времени. В этой глиняной хижине, которая легко могла сойти за первобытную гробницу для целой семьи, доктор Плarr больше не чувствовал ни малейшего желания мучить Леона Риваса. Если он и хотел кого-то мучить, то только себя. Он подумал: как бы мы ни притворялись друг перед другом, оба мы потеряли надежду. Вот почему мы можем

разговаривать как друзья, какими были когда-то. Я прежде времени постарел, раз больше не могу издеваться над человеком за его убеждения, какими бы они ни были нелепыми. Я могу только ему завидовать.

Немного погодя любопытство заставило его снова вернуться к этому разговору. Он вспомнил, что, когда он шел к первому причастию в Асунсьоне, одетый как маленький монах и подпоясанный веревкой, он еще во что-то верил, хотя теперь уже не мог вспомнить – во что.

– Мне давно не приходилось слышать священников, – сказал он Леону. – А я-то думал, вы учите, что церковь непогрешима, как Христос.

– Христос был человеком, – сказал отец Ривас, – хотя кое-кто из нас верит, что он был и богом. Но римляне убили не бога, а человека. Плотника из Назарета. Некоторые правила, которые он установил, были просто правилами поведения хорошего человека. Человека своего времени и своей страны. Он понятия не имел о том мире, в котором мы теперь живем. Отдавайте кесарево... но если наш кесарь применяет напалм и осколочные бомбы... Церковь тоже не живет вне времени. Лишь иногда, на короткий срок, отдельные люди... себя я к ним не причисляю, я не обладаю таким провидением, но думаю, что, может быть... как бы мне это тебе объяснить, если и сам я недостаточно верю?... Думаю, что память о том человеке, о плотнике, может возвысить каких-то людей над теперешней церковью наших страшных лет, когда архиепископ садится обедать за стол с Генералом, – может возвысить этих людей до великой церкви вне времени и пространства, и тогда... этим счастливым... не хватит слов, чтобы описать красоту той церкви.

– Я ничего не понял из того, что ты сказал, Леон. Прежде ты все объяснял яснее. Даже трицу.

– Прости. Я так давно не читал подходящих книг.

– У тебя здесь нет и подходящих слушателей. Церковь интересует меня теперь не больше, чем марксизм. Библию я так же не хочу читать, как и «Капитал». Лишь иногда по дурной привычке пользуюсь примитивным словом «бог». Вчера вечером...

– Любое слово, которым пользуются по привычке, ровно ничего не значит.

– И все же ты уверен, что ни на секунду не убоишься гнева старого Иеговы, когда выстрелишь Фортному в затылок? «Не убий».

– Если мне придется его убить, бог будет виноват не меньше, чем я.

– Бог будет виноват?

– Он сделал меня тем, что я есть. Он зарядит мой револьвер и заставит мою руку не дрогнуть.

– А я-то думал, что церковь учит, будто бог – это любовь.

– Разве любовь посылала в газовые камеры миллионы людей? Ты врач, ты часто видел невыносимые страдания... ребенка, умирающего от менингита. Это любовь? Нет, не любовь отрезала пальцы у Акуино. Полицейские участки, где такое происходит... Он создал их.

– Вот уж не ожидал, чтобы священник винил во всем этом бога!

– Я его не виню, я его жалею, – сказал отец Ривас, и в темноте раздался едва слышный радиосигнал.

– Жалеешь бога?

Священник положил пальцы на рычажок приемника. Прежде чем его повернуть, он минуту помедлил. Да, подумал доктор Пларр, есть своя прелесть в том, чтобы не знать самого худшего. Я еще никогда не говорил больному раком, что у него нет надежды.

Голос произнес столь же равнодушно, как если бы передавал бюллетень биржевых курсов:

– Главное полицейское управление сообщает: «Вчера в семнадцать часов человек, отказавшийся себя назвать, был арестован при попытке сесть на паром, отплывавший к парагвайскому берегу. Он пытался бежать, бросившись в реку, но был застрелен полицейскими. Труп вытащили из воды. Беглец оказался водителем грузовика с консервной фабрики Бергмана. Его не было на работе с понедельника – кануна того дня, когда похитили британского консула. Его зовут Диего Корредо, возраст тридцать пять лет. Холост. Полагают, что опознание его личности будет способствовать поимке других участников банды. Считают, что похитители все еще находятся в пределах провинции, и сейчас их энергично разыскивают. Командующий 9-й пехотной бригадой предоставил в распоряжение полиции роту парашютистов».

– Ваше счастье, что его не успели допросить, – сказал доктор Пларр. – Не думаю, чтобы на данном этапе Перес стал бы с ним миндальничать.

Пабло ответил:

– Они очень скоро дознаются, кто были его друзья. Еще год назад я работал на той же фабрике. Все знали, что мы приятели.

Диктор снова заговорил об аргентинской футбольной команде. Во время ее выступлений в Барселоне произошли беспорядки, ранено двадцать человек.

Отец Ривас разбудил Мигеля и послал его сменить на посту Акуино, а когда Акуино вернулся, старый спор разгорелся с новой силой. Марта приготовила безмянное варево, которое она подавала вот уже два дня. Интересно, уж не вкушал ли отец Ривас это блюдо ежедневно всю свою семейную жизнь, подумал доктор Пларр, впрочем, оно, вероятно, было не хуже того, что он привык есть в бедняцком квартале Асунсьона.

Размахивая ложкой, Акуино требовал немедленно застрелить Чарли Фортнума.

– Они же убили Диего!

Чтобы хоть на время от них избавиться, доктор Пларр понес в соседнюю комнату тарелку с похлебкой. Чарли Фортнум взглянул на нее с отвращением.

– Я бы не отказался от хорошей отбивной, – сказал он, – но они, должно быть, боятся, что я воспользуюсь ножом для побега.

– Все мы едим то же самое, – сказал доктор Пларр. – Жаль, что здесь нет Хэмфриса. Это еще больше возбудило бы его аппетит к гуляшу в Итальянском клубе.

– «В чем бы ни была твоя вина, пищу всем дают одну и ту же».

– Это цитата?

– Это стихотворение Акуино... Что нового?

– Человек по имени Диего пытался бежать в Чако, но полиция его застрелила.

– Десять негритят пошли купаться в море, и вот – осталось девять. Следующая очередь моя?

- Не думаю. Ты ведь единственный козырь в их игре. Даже если полиция обнаружит это убежище, она побоится атаковать, пока ты жив.
- Вряд ли она станет обо мне заботиться.
- Полковник Перес будет заботиться о своей карьере.
- Тебе так же страшно, как и мне, Тед?
- Не знаю. Может быть, у меня немного больше надежды. Или мне меньше терять, чем тебе.
- Да. Это верно. Ты счастливеец – тебе не надо беспокоиться о Кларе и о ребенке.
- Да.
- Ты все знаешь о таких вещах, Тед. Будет очень больно?
- Говорят, что, если рана серьезная, люди почти ничего не чувствуют.
- Моя рана будет самая что ни на есть серьезная.
- Да.
- Клара будет страдать дольше моего. Хорошо бы наоборот.

Когда доктор Пларр вернулся в другую комнату, спор все еще продолжался. Акуино говорил:

- Но что он знает о нашем положении? Сидит себе спокойно в Кордове или... – он спохватился и взглянул на доктора Пларра.
- Не обращайтесь на меня внимания, – сказал доктор Пларр, – вряд ли я вас переживу. Если только вы не откажетесь от вашей безумной затеи. У вас еще есть время скрыться.
- И признать поражение перед лицом всего мира, – сказал Акуино.
- Ты был поэтом. Разве ты боялся признать неудачу, если стихотворение было плохим?
- Мои стихи не печатались, – возразил Акуино. – Никто не знал, когда меня постигала неудача. Мои стихи никогда не читали по радио. И запросов в британском парламенте о них не делали.
- Значит, в тебе опять заговорил этот проклятый machismo. Кто изобрел этот machismo? Банда головорезов вроде Писарро и Кортеса. Неужели никто из вас не может хоть на время забыть о вашей кровавой истории? Разве вы ничему не научились на примере Сервантеса? Он досыта хлебнул machismo под Лепанто.
- Акуино прав, – сказал отец Ривас. – Мы не можем позволить себе признать неудачу. Однажды наши люди отпустили человека вместо того, чтобы его убить, – это был парагвайский консул, и Генерала он так же мало интересовал, как Фортнум, но, когда дошло до дела, мы не решились его убить. Если мы снова проявим малодушие, никакие угрозы смертью на нашем континенте больше не подействуют. Пока более безжалостные люди, чем мы, не начнут убивать всех подряд. Я не хочу нести ответственность за те убийства, которые последуют за нашей неудачей.
- У тебя сложно работает совесть, – сказал доктор Пларр. – Тебе будет жаль бога и за те убийства?

– Ты совсем не понял того, что я хотел сказать?

– Совсем. Ведь иезуиты в Асунсьоне не учили меня жалеть бога. Я этого, во всяком случае, не помню.

– Пожалуй, у тебя было бы больше веры, если бы ты это помнил.

– У меня много работы, Леон, я стараюсь лечить больных. И не могу перепоручить это богу.

– Может, ты и прав. У меня всегда было слишком много свободного времени. Две мессы по воскресеньям. Несколько праздников. Два раза в неделю исповеди. Исповедоваться приходили большей частью старухи... ну и, конечно, дети. Их заставляли приходиться. Били, если они не являлись, а я к тому же давал им конфеты. Вовсе не в награду. Плохие дети получали столько же конфет, сколько и хорошие. Мне просто хотелось, чтобы они чувствовали себя счастливыми, когда стояли на коленях в этой душной коробке. И когда я назначал им епитимью, я старался превратить это в игру, в награду, а не в наказание. Они сосали конфеты, произнося «Богородице дево, радуйся». Пока я был с ними, я тоже радовался. Я никогда не чувствовал себя счастливым с их отцами... или матерями. Не знаю почему. Может, если б у меня самого был ребенок...

– Какой долгий путь ты прошел, Леон, с тех пор, как покинул Асунсьон.

– Жизнь там была не такой уж непорочной, как ты думаешь. Как-то раз восьмилетний ребенок признался мне, что утопил свою младшую сестренку в Паране. Люди думали, что она сорвалась с утеса. Он мне сказал, что она слишком много ела и ему доставалось меньше еды. Меньше маниоки!

– Ты дал ему конфету?

– Да. И три «Богородицы» в наказание.

Пабло отправился на пост, чтобы подменить Мигеля. Марта дала индейцу похлебки и перемыла посуду.

– Отец мой, завтра воскресенье, – сказала она. – Право же, в такой день ты мог бы отслужить для нас мессу.

– Я уже больше трех лет не служил мессы. Вряд ли я сумею даже припомнить слова.

– У меня есть молитвенник, отец мой.

– Тогда прочитай себе мессу сама. Польза будет та же.

– Ты слышал, что они сказали по радио. Нас ищут солдаты. Это может быть последняя месса, которую нам доведется услышать. А тут еще и Диего... надо отслужить мессу за упокой его души.

– Я не имею права служить мессу. Когда я на тебе женился, Марта, я отлучил себя от церкви.

– Никто не знает, что ты женился.

– Знаю я.

– Отец Педро спал с женщинами. В Асунсьоне все это знали. А он служил мессу каждое воскресенье.

– Он не был женат. Марта. Он мог пойти на исповедь, и снова согрешить, и снова сходить на исповедь. Я за его совесть не отвечаю.

– Для человека, который замышляет убийство, у тебя, по-моему, какие-то странные угрызения совести, Леон, – заметил доктор Пларр.

– Да. Возможно, это не совесть, а всего лишь предрассудки. Видишь ли, когда я беру в рот облатку, я все еще немножко верю, что вкушаю тело господне. Впрочем, что тут спорить! У нас нет вина.

– Нет есть, отец мой, – заявила Марта. – Я нашла на свалке пустую бутылочку из-под лекарства и, когда была в городе, наполнила ее в cantina [трактире (исп.)].

– Ты ничего не забываешь, – грустно сказал отец Ривас.

– Отец мой, ты же знаешь, что все эти годы я хотела снова услышать, как ты служишь мессу, и видеть, как люди молятся вместе с тобой. Конечно, без красивых риз это будет не так хорошо. Жаль, что ты их не сохранил.

– Они мне не принадлежали. Марта. Да и ризы – это еще не месса. Думаешь, апостолы облачались в ризы? Я терпеть не мог их носить, люди передо мной были одеты в лохмотья. Рад был повернуться к ним спиной, забыть о них и видеть перед собой только алтарь и свечи, но на деньги, которых стоили свечи, можно было накормить половину этих людей.

– Ты не прав, отец мой. Мы все так радовались, когда видели тебя в облачении. Оно было такое красивое – ярко-красное с золотым шитьем.

– Да. Наверно, это помогало вам хоть на какое-то время уйти от действительности, но для меня это была одежда каторжника.

– Но ты же не побоишься нарушить правила архиепископа, отец мой. Ты отслужишь для нас завтра мессу?

– А если то, что они говорят, правда, и я обреку себя на вечное проклятие?

– Господь бог никогда не обречет на проклятие такого человека, как ты, отец мой. А бедному Диего и жене Хосе... и всем нам... нужно твое заступничество перед богом.

– Хорошо. Я отслужу мессу, – сказал отец Ривас. – Ради тебя. Марта. Я так мало для тебя сделал за все эти годы. Ты дала мне любовь, а все, что я дал тебе, – это постоянную опасность и земляной пол вместо ложа. Я отслужу мессу, как только рассветет, если солдаты отпустят нам на это время. У нас еще остался хлеб?

– Да, отец мой.

Какая-то неясная обида заставила доктора Пларра сказать:

– Ты и сам не веришь во всю эту галиматью, Леон. Ты их дурачишь, как дурачил того ребенка, который убил свою сестру. Хочешь раздать им на причастии конфеты, утешить перед тем, как убьешь Чарли Фортнума. Я видел своими глазами такие же гнусности, как те, о которых ты слышал в исповедальне, но меня не утетишь конфетой. Я видел ребенка, родившегося без рук и ног. Я бы его убил, останься я с ним наедине, но родители не сводили с меня глаз – они хотели сохранить в живых это несчастное, искалеченное туловище. Иезуиты твердили нам, что наш долг возлюбить господа. Любить бога, который производит на свет таких недоносков! Это все равно что считать долгом немцев любить Гитлера. Разве не лучше просто не верить в то чудовище, которое сидит там на облаках, чем делать вид, будто его любишь?

– Может, лучше и не дышать, но я волей-неволей дышу. Кое-кто из людей, как видно, приговорен неким судьей к тому, чтобы верить, точно так же как приговаривают к тюремному заключению. У них нет выбора. Нет избавления. Они посажены за решетку на всю жизнь.

– «Отца я вижу только сквозь решетку», – с мрачным удовлетворением процитировал Акуино.

– Вот я и сижу на полу моей тюремной камеры, – сказал отец Ривас, – пытаюсь что-то понять. Я не богослов, почти по всем предметам я был последним в классе, но я всегда старался понять того, кого ты зовешь чудовищем, и почему я не могу перестать его любить. Совсем как родители, которые любили то изувеченное, жалкое туловище. Что ж, я с тобой согласен, он выглядит довольно уродливо, но ведь и я тоже урод, а все-таки Марта меня любит. В моей первой тюрьме – я имею в виду семинарию – было множество книг, где я мог прочесть все насчет любви к богу, но они мне не помогли. Не помог и никто из святых отцов. Ведь они никогда не единым словом не обмолвились, что он чудовище: ты совершенно прав, что так его зовешь. Им все было ясно. Они удобно рассаживались в присутствии такого чудовища, как старый архиепископ за столом Генерала, и болтали об ответственности человека и о свободе воли. Свобода воли служила оправданием всему. Это было алиби господ бога. Фрейда они не читали. Зло творил человек или сатана. Поэтому все выглядело просто. Но я никогда не мог поверить в сатану. Куда легче было поверить, что зло – от бога.

– Ты сам не знаешь, что говоришь, отец мой! – воскликнула Марта.

– Я говорю сейчас не как священник, Марта. Мужчина вправе размышлять вслух в присутствии жены. Даже сумасшедший, а может быть, я и в самом деле немного сошел с ума. Может, в те годы в бедных кварталах Асунсьона я и свихнулся и поэтому сижу сейчас в ожидании часа, когда мне придется убить безвинного человека...

– Ты не сумасшедший, Леон, – сказал Акуино. – Напротив, ты взялся за ум. Мы еще сделаем из тебя хорошего революционера. Разумеется, бог – это зло, бог – это капитализм. «Собирайте себе сокровища на небе» [Евангелие от Матфея, 6:20], и они стократно окупятся в вечности.

– Я верю, что бог – это зло, – сказал отец Ривас, – но я верю и в его добро. Он сотворил нас по своему образу и подобию, как гласит древнее поверье. Ты отлично знаешь, Эдуардо, сколько истинной пользы в старых медицинских поверьях. Лечение змеиным ядом открыла не современная лаборатория. И старуха пользовалась плесенью с перезревших апельсинов задолго до пенициллина. Вот и я верю в древнее, почти позабытое поверье. Он сотворил нас по своему образу и подобию, значит, наши грехи – это и его грехи. Разве я мог бы любить бога, если бы он не был похож на меня? Раздвоен, как я. Подвергается искушениям, как я. Если я люблю собаку, то только потому, что вижу в ней нечто человеческое. Я могу почувствовать ее страх, и ее благодарность, и даже ее предательство. Когда она спит, то видит сны, как и я. Не думаю, чтобы я мог полюбить жабу, хотя порой, когда мне приходилось дотронуться до жабы, ее кожа напоминала мне кожу старика, который провел суровую голодную жизнь, работая в поле, и я подумываю...

– Право же, мое неверие куда легче понять, чем такую веру, как твоя. Если твой бог – зло...

– Я провел больше двух лет в подполье, – сказал отец Ривас, – и нам приходилось ездить налегке. В наших рюкзаках богословские книги не помещаются. Только Марта сохранила молитвенник. Свой я потерял. Иногда мне попадался роман в бумажной обложке, вроде того, что я здесь читал. Какой-нибудь детектив. Такая жизнь оставляет много времени для раздумья, и, быть может, Марта права, у меня зашел ум за разум. Но иначе верить в бога я не могу. Бог, в которого я верю, должен нести ответственность за все творимое зло так же, как и за своих святых. Он должен быть богом, созданным по нашему подобию, с темной стороной наряду со стороной светлой. Когда ты, Эдуардо, говоришь о чудовище, ты говоришь о темной стороне бога. Я верю, что придет время, когда эта темная сторона рассеется, как и твои коммунистические бредни, Акуино, и мы сможем видеть лишь светлую сторону доброго бога. Ты веришь в эволюцию, Эдуардо, хотя бывает, что целые поколения людей

скатываются назад, к зверью. Это долгая борьба и мучительно долгая эволюция; я верю, что и бог проходит такую же эволюцию, как мы, только, пожалуй, с большими муками.

– Не очень-то я верю в эволюцию. Ведь ухитрились же мы породить Гитлера и Сталина за одно поколение. А что если темная сторона твоего бога поглотит его светлую сторону? Представь себе, что исчезнет именно добро. Если бы я разделял твою веру, мне иногда казалось бы, что это уже произошло.

– Но я верю в Христа, – продолжал отец Ривас, – я верю в крест и верю в искупление. В искупление бога и человека. Верю, что светлая сторона бога в какой-то счастливый миг творения произвела совершенное добро, так же как человек может написать хоть одну совершенную картину. В тот раз бог полностью воплотил свои добрые намерения, поэтому темная сторона может одерживать то там, то тут лишь временные победы. С нашей помощью. Потому что эволюция бога зависит от нашей эволюции. Каждое наше злое дело укрепляет его темную сторону, а каждое доброе – помогает его светлой стороне. Мы принадлежим ему, а он принадлежит нам. Но теперь мы хотя бы твердо знаем, к чему когда-нибудь приведет эволюция – она приведет к благодати, подобной благодати Христовой. И все же это ужасный процесс, и тот бог, в которого я верю, страдает, как и мы, борясь с самим собой – со своим злом.

– А что, убийство Чарли Фортнума поможет его эволюции?

– Нет. Я все время молюсь, чтобы мне не пришлось его убить.

– И все же ты его убьешь, если они не уступят?

– Да. Потому же, почему ты спишь с чужой женой. Десять человек подымают в тюрьме медленной смертью, и я говорю себе, что борюсь за них и люблю их. Я знаю, что эта моя любовь – слабое оправдание. Святому достаточно было бы сотворить молитву, а мне приходится носить револьвер. Я замедляю эволюцию.

– Тогда почему же?..

– Святой Павел ответил на этот вопрос: «Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» [Послание Павла к Римлянам, 7:15]. Он знал все о темной стороне бога. Он был одним из тех, кто побил камнями первомученика Стефана.

– И, веря во все это, ты все еще называешь себя католиком?

– Да. Я называю себя католиком, что бы ни говорили епископы. И даже сам папа.

– Отец мой, ты меня пугаешь, – сказала Марта. – Ведь всего этого нет в катехизисе?

– В катехизисе этого нет, но катехизис – это еще не вера, Марта. Это нечто вроде графика движения. В том, что я говорил, нет ничего, что противоречило бы катехизису. Когда ты была ребенком, ты учила про Авраама и Исаака, и как Иаков обманул своего брата, и как был разрушен Содом, вроде той деревни в Андах в прошлом году. Когда бог – зло, он требует, чтобы и люди творили зло; он может создавать таких чудовищ, как Гитлер; он губит детей и города. Но когда-нибудь с нашей помощью он сумеет навсегда сорвать свою злую личину. Ведь злую личину иногда носили и святые, даже Павел. Господь связан с нами чем-то вроде общего кровообращения. Его здоровая кровь течет в наших жилах, а наша зараженная – в его. Ладно, знаю – я болен или сошел с ума. Но только так я могу верить в благодать Божию.

– Куда проще вообще не верить в бога.

– Ты в этом уверен?

– Ну, может, иезуиты и заронили в меня микроб этой болезни, но я его выделил. И слежу, чтобы он не размножился.

– Я никогда еще не говорил таких вещей вслух... Не знаю, почему заговорил сейчас.

– Может, потому, что потерял надежду?

– Тед! – позвал из соседней комнаты голос, который доктор Пларр начинал ненавидеть. – Тед!

Доктор Пларр не двинулся с места.

– Твой больной, – напомнил отец Ривас.

– Я сделал для него все, что мог. И какой смысл чинить его лодыжку, если ты собираешься пустить ему пулю в лоб?

– Тед! – раздался снова тот же голос.

– Наверно, хочет меня спросить, какие витамины Клара должна давать его ребенку. Или когда его лучше отнять от груди. Его ребенку! Темная сторона господа бога, наверное, смеется до упаду. Я никогда не хотел ребенка. Если бы она позволила, я бы от него избавился.

– Говори потише, – сказал отец Ривас, – хоть ты и ревнуешь к этому бедняге.

– Ревную к Чарли Фортнуму? С чего это мне ревновать? – Он выкрикнул: – Ревновать из-за ребенка? Но ребенок-то мой. Ревновать его к жене? Но она ведь тоже моя. Пока я ее хочу.

– Ты ревнуешь, потому что он любит ее.

Пларр чувствовал, как на него смотрит Марта. Даже в молчании Акуино было осуждение.

– Опять эта любовь! Такого слова нет в моем словаре.

– Дай мне твою рубашку, отец, – сказала Марта. – Я хочу ее выстирать к мессе.

– Немножко грязи не помешает.

– Ты не снимал ее три недели, отец мой. Нехорошо идти к алтарю, если от тебя пахнет псиной.

– Здесь нет алтаря.

– Дай рубашку, отец мой.

Он послушно снял рубашку, синяя краска вылиняла от солнца и была в пятнах от пищи и известки множества стен.

– Делай как знаешь, – сказал священник. – А все-таки жалко попусту тратить воду. Она еще может напоследок понадобиться.

Стемнело так, что хоть глаз выколи, и негр зажег три свечи. Одну он понес в соседнюю комнату, но тут же вернулся с нею и погасил.

– Он спит, – сказал он.

Отец Ривас включил радио, и по комнате понеслись печальные звуки музыки гуарани – музыки народа, обреченного на гибель. Треск атмосферных помех был похож на ожесточенную пулеметную стрельбу. Наверху в горах по ту сторону реки к концу подходило лето, и отблески молний дрожали на стенах.

– Пабло, выставь наружу все ведра и кастрюли, – сказал отец Ривас.

Внезапно налетел ветер, зашелестел по жестяной крыше листьями авокадо, но тут же стих.

– Если не удастся убедить Марту, что богу не противно голое человеческое тело, придется служить мессу в мокрой рубашке, – сказал отец Ривас.

Вдруг с ними заговорил голос, словно кто-то стоял в самой хижине, рядом.

– Управление полиции уполномочило нас зачитать следующее сообщение. – Наступила пауза, диктор искал нужное место. Им даже было слышно, как шуршит бумага. – «Теперь известно, где банда похитителей держит пленного британского консула. Ее обнаружили в квартале бедноты, где...»

Дождь из Парагвая обрушился на крышу и заглушил слова диктора. Вбежала Марта, держа в руках мокрую тряпку – это была рубашка отца Риваса. Она закричала:

– Отец мой, что делать? Дождь...

– Тише, – сказал священник и усилил звук.

Дождь прошел над ними по направлению к городу, а комната почти непрерывно освещалась молнией. С той стороны реки, из Чако, доносился гром, он придвигался все ближе, как огневой вал перед атакой.

– «У вас больше нет надежды на спасение, – в перерыве между атмосферными помехами медленно, внушительно продолжал голос, отчетливо выговаривая слова, как учитель, объясняющий математическую задачу школьникам; доктор Пларр узнал голос полковника Переса. – Мы точно знаем, где вы находитесь. Вы окружены солдатами 9-й бригады. До восьми часов завтрашнего утра вам надлежит выпустить из дома британского консула. Он должен выйти один и пройти в полной безопасности под укрытие деревьев. Через пять минут после этого вы выйдете сами по одному, с поднятыми руками. Губернатор гарантирует, что вам будет сохранена жизнь и вас не вернут в Парагвай. Не пытайтесь бежать. Если кто-нибудь выйдет из хижины прежде, чем консула отпустят целым и невредимым, он будет застрелен. Белый флаг принят во внимание не будет. Вы окружены со всех сторон. Предупреждаю, если консула не отпустят целым и...»

В приемнике так завывало и затрещало, что слов уже нельзя было расслышать.

– Берут на пушку! – сказал Акуино. – Просто берут на пушку. Если бы они были здесь, Мигель бы нас предупредил. Он видит даже муравья впотьмах. Убьем Фортнума, а потом будем тянуть жребий, кому выходить первому. В такую темень разве разглядишь, кто отсюда выйдет – консул или кто другой? – Он распахнул дверь и позвал индейца: – Мигель!

В ответ на его оклик полукругом вспыхнули прожектора – они загорелись между деревьями дугой в каких-нибудь ста шагах. Через открытую дверь доктор Пларр видел, как мошकारа тучей летит на огонь прожекторов, бьется о стекла и сгорает. Индеец плашмя лежал на земле, тень же доктора откинулась назад, в глубь хижины, и растянулась на полу как мертвец. Доктор отошел в сторону. Интересно, заметил ли его Перес, узнал ли?

– Они не посмеют стрелять в хижину, – сказал Акуино, – побоятся убить Фортнума.

Огни снова погасли. В затишье между раскатами грома послышался слабый шорох, словно забегали крысы. Акуино, стоя у косяка двери, направил автомат в темноту.

– Не надо, – сказал отец Ривас, – это Мигель.

Новая волна дождя окатила крышу; ветер во дворе опрокинул ведро, и оно с грохотом покатилося.

Темнота длилась недолго. Может быть, молния вызвала короткое замыкание, которое теперь починили. Из хижины им было видно, как индеец поднялся на ноги, хотел побежать, но его ослепил свет. Он завертелся, прикрыв рукой глаза. Раздался одинокий выстрел, он упал на колени. Казалось, что солдаты 9-й бригады не желают тратить боеприпасы на такую ничтожную мишень. Индеец стоял на коленях, опустив голову, как набожный прихожанин во время вознесения даров. Он покачивался из стороны в сторону, словно совершая какой-то первобытный обряд. Потом с огромным усилием стал поднимать автомат, но повел его совсем не туда, куда следовало, пока не нацелил на открытую дверь хижины. Доктор Пларр наблюдал за ним, прижавшись к стене, ему казалось, что парашютисты злорадно ожидают, что произойдет дальше. Тратить еще одну пулю они не собирались. Индеец не представлял для них опасности: прожектора слепили так, что цель он не мог разглядеть. Им было безразлично, умрет он сейчас или несколько позже. Пусть валяется хоть до утра. Автомат пролетел по воздуху несколько футов к хижине. Но упал так, что его было не достать, а Мигель остался лежать на земле.

Акуино сказал:

– Надо втащить его сюда.

– Он мертв, – заверил его доктор Пларр.

– Почему вы знаете?

Свет снова погас. Люди, укрывшиеся за деревьями, словно играли с ними в жестокую игру.

– Рискните вы, доктор, – сказал Акуино.

– Что я могу сделать?

– Верно, – кивнул отец Ривас. – Они хотят выманить наружу кого-нибудь из нас.

– Ваш друг Перес может не открыть огня, если выйдете вы.

– Мой пациент находится здесь, – сказал доктор Пларр.

Акуино потихоньку растворил дверь пошире. Еще чуть-чуть, и можно было дотянуться до автомата. Акуино протянул к нему руку. Вспыхнул свет, пуля вошла в косяк двери, которую он едва успел захлопнуть. Должно быть, тот, кто ведал прожекторами, услышал скрип дверных петель.

– Закрой ставни, Пабло.

– Хорошо, отец мой.

Отгородившись от спящего света, они почувствовали себя хоть в какой-то безопасности.

– Что нам делать, отец мой? – спросил негр.

– Убить Фортнума немедленно, – отозвался Акуино, – а когда свет снова потухнет, попытаться бежать.

Пабло сказал:

– Двое из нас уже мертвы. Будет лучше, отец мой, если мы сдадимся. Ведь тут есть еще Марта.

– А как же месса, отец мой?

– Кажется, мне придется отслужить заупокойную мессу, – сказал отец Ривас.

– Отслужи какую хочешь мессу, – сказал Акуино, – но сперва убей консула.

– Разве я могу служить мессу, убив человека?

– А почему бы и нет, если ты можешь служить мессу, собираясь убить человека? – сказал доктор Пларр.

– Эх, Эдуардо, значит, ты все еще католик, если умеешь поворачивать в ране нож. Ты еще будешь моим исповедником.

– Можно мне приготовить стол, отец мой? У меня есть вино. У меня есть хлеб.

– Я отслужу мессу, когда начнет светать. Я должен подготовиться сам, Марта, а это дольше, чем накрыть на стол.

– Позволь мне убить его, пока ты будешь молиться, – сказал Акуино. – Делай свое дело и предоставь мне делать мое.

– Я думал, твое дело – писать стихи, – сказал доктор Пларр.

– Все мои стихи были о смерти, так что по этой части я знаток.

– Чего дальше тянуть, это же бессмыслица, – сказал Пабло. – Прости меня, отец мой, но Диего правильно поступил, когда пытался спастись. С ума надо сойти, чтобы убить одного человека, если за это наверняка убьют пятерых. Отец мой...

– Давайте голосовать, – нетерпеливо перебил его Акуино. – Решим голосованием.

– Ты уверовал в парламентскую систему, Акуино? – спросил доктор Пларр.

– Не говори о том, чего не знаешь, доктор. Троцкий считал, что споры можно разрешить голосованием.

– Я голосую за то, чтобы сдаться, – сказал Пабло. Он закрыл лицо руками. Плечи его дрожали, видно было, что он плачет. Кого он оплакивал? Себя? Мертвых? Или плакал от стыда?

Доктор Пларр подумал: головорезы! Вот как их окрестят газеты. Поэт-неудачник, отлученный от церкви священник, набожная женщина, человек, который плачет. Господи, пусть эта комедия кончится как комедия. Никто из нас не рожден для трагедии.

– Я люблю этот дом, – сказал Пабло. – Когда умерли мои жена и ребенок, у меня не осталось ничего, кроме этого дома.

Вот и еще один отец, сказал себе доктор Пларр, прямо спасу нет от отцов!

– Я голосую за то, чтобы убить Фортнума сейчас же, – заявил Акуино.

– Ты же сказал, что они берут нас на пушку, – сказал отец Ривас. – Может, ты и прав.

Допустим, что вот уже восемь часов, а мы так ничего и не сделали, – они все равно не смогут на нас напасть. Пока он жив.

– Тогда за что же ты голосуешь? – спросил Акуино.

– За отсрочку. Мы же назначили срок – он истекает завтра в полночь.

– А ты, Марта?

– Я голосую, как мой муж, – гордо ответила она.

Громкоговоритель – его было слышно так хорошо, что он, вероятно, был установлен тут же между деревьями, – заговорил с ними, как и прежде, голосом Переса:

– Правительство Соединенных Штатов и британское правительство отказались посредничать в этом деле. Если вы слушали радио, вы знаете, что я говорю правду. Ваш шантаж не удался. Вы ничего не выиграете, продолжая задерживать консула. Если хотите спасти себе жизнь, выпустите его из хижины до восьми ноль-ноль.

– Они чересчур настойчивы, – сказал отец Ривас.

Кто-то шептался рядом с микрофоном. Слова были неразборчивыми – они звучали, как шелест гальки при откате волны. Потом Перес продолжал:

– У вашего порога лежит умирающий. Выпустите сейчас же к нам консула, и мы постараемся спасти вашего друга. Неужели вы обречете одного из ваших товарищей на медленную смерть?

Даже клятва Гиппократов не обязывает идти на самоубийство, сказал себе доктор Пларр. Когда он был ребенком, отец читал ему о героях, о спасении раненых под огнем, о том, как капитан Отс [участник экспедиции Р.Скотта к Южному полюсу; в надежде спасти своих товарищей ушел в метель из палатки и погиб] уходит из палатки в метель. «Стреляйте, хоть я и стара, коль так велит вам долг» [строки из баллады американского поэта Д.Г.Уитьера (1807-1892) «Барбара Фритчи», героиня которой, девяностолетняя старуха, несмотря на угрозы южан, отказывается снять флаг северных штатов] – в те дни это было одним из его любимых стихотворений.

Он вышел в соседнюю комнату. В темноте ничего нельзя было разглядеть. Он прошептал:

– Вы не спите?

– Нет.

– Как ваша лодыжка?

– Ничего.

– Я принесу свечу и сменю повязку.

– Не надо.

– Солдаты нас окружили, – сказал доктор Пларр. – Не теряйте надежду.

– Надежду на что?

– Только один из них действительно хочет вашей смерти.

– Да? – равнодушно откликнулся голос из темноты.

– Акуино.

– И вы, – сказал Чарли Фортнум, – вы! Вы тоже ее хотите.

– Чего ради?

– Вы слишком громко разговариваете, Пларр. Не думаю, чтобы вы так громко говорили в поместье, даже когда я был в поле, за милю оттуда. Вы всегда были чертовски осторожны – боялись, чтобы не услышали слуги. Но наступает минута, когда даже у мужа открываются уши. – В темноте послышался шорох, словно он пробовал приподняться. – Я ведь думал, Пларр, что у врачей должен быть кодекс чести, но это, конечно, чисто английское представление, а вы ведь только наполовину англичанин, ну а другая половина...

– Не знаю, что вы подслушали, – сказал доктор Пларр. – Вы либо неправильно поняли, либо вам что-то приснилось.

– Наверно, вы думали, какое, черт побери, это имеет значение, она ведь всего только проститутка из дома матушки Санчес? Сколько она вам стоила? Что вы ей подарили, Пларр?

– Если хотите знать, – вспыхнув от злости, сказал доктор Пларр, – я подарил ей солнечные очки от Грубера.

– Те самые очки? Она их очень берегла. Считала шикарными, ну вот, а теперь ваши друзья разбили их вдребезги. Какая вы свинья, Пларр. Ведь это все равно что изнасиловать ребенка.

– Ну, положим, это было куда легче.

Доктор Пларр не сообразил, что стоит рядом с гробом. И не заметил в темноте, что на него занесли кулак. Удар пришелся по шее и заставил поперхнуться. Доктор Пларр отступил и услышал, как заскрипел гроб.

– Боже мой, – сказал Чарли Фортнум, – я опрокинул бутылку. – И добавил: – А там еще оставалась целая норма. Я берег ее для...

Рука зашарила по полу, дотронулась до туфли доктора Пларра и отдернулась.

– Я принесу свечу.

– Ну нет, не надо. Не хочу больше видеть вашу подлую рожу.

– Вы смотрите на такие вещи слишком серьезно. Все ведь в жизни бывает, Фортнум.

– Вы даже не делаете вид, что ее любите.

– Не делаю.

– Наверно, вы бывали с ней в публичном доме, вот и думали...

– Я же говорил вам – я ее там видел, но никогда с ней не был.

– Я спас ее оттуда, а вы стали толкать ее назад.

– Я этого не хотел, Фортнум.

– Не хотели и того, чтобы вас вывели на чистую воду. Думали устроиться подешевле, не платить денег за свои удовольствия.

– Какой смысл закатывать сцену? Я считал, что все быстро кончится и вы ничего не узнаете. Ведь ни она, ни я не любим друг друга. Любовь – вот единственная опасность, Фортнум.

– Я любил.

– Вы же получили бы ее обратно. И никогда бы ничего не узнали.

– Когда же это началось, Пларр?

– Когда я во второй раз ее встретил. У Грубера. И подарил ей солнечные очки.

– Куда вы ее повели? Назад к мамаше Санчес?

Эти настойчивые вопросы напомнили доктору Пларру, как пальцами выжимают из нарыва гной.

– Я повел ее к себе домой. Пригласил на чашку кофе, но она отлично понимала, что я под этим подразумеваю. Если бы не я, рано или поздно был бы кто-нибудь другой. Ее и мой швейцар знал.

– Слава богу, – сказал Фортнум.

– Почему?

– Нашел бутылку. Ничего не пролилось.

Было слышно, как Фортнум пьет. Доктор Пларр заметил:

– Лучше бы вы оставили немножко на тот случай...

– Я знаю, вы считаете меня трусом, но теперь я не очень-то боюсь умереть. Это куда легче, чем вернуться назад в поместье и дожидаться, когда у нее родится похожий на вас ребенок.

– Я этого не хотел, – повторил доктор Пларр. Злости больше не было, и защищаться он уже не мог. – Никогда ничего не выходит так, как хочется. Они же не собирались вас похитить. А я не собирался иметь ребенка. Можно подумать, что где-то сидит большой шутник, которому нравится из всего устраивать ералаш. Может, у темной стороны господ бога такое чувство юмора.

– У какой еще темной стороны?

– Это сумасшедшая выдумка Леона. Вот что вам следовало бы услышать, а вовсе не то, что вы слышали.

– Я не собирался подслушивать, просто хотел слезть с этого проклятого ящика и побыть с вами. Мне было тоскливо, а ваши наркотики больше не действуют. Я уже почти добрался до двери, когда услышал, как священник говорит, что вы ревнуете. Ревнует, подумал я, к кому же он ревнует? А потом услышал и вернулся на этот чертов ящик.

Однажды в дальней деревне доктору Пларру пришлось сделать срочную операцию, которой он делать еще не умел. Перед ним был выбор – пойти на риск или предоставить женщине умереть. Потом он испытывал такую же усталость, какую чувствовал теперь, а женщина все равно умерла. В изнеможении он опустился на пол. И подумал: я сказал все, что мог. Что еще я могу сказать? А женщина умирала долго – или так ему тогда показалось.

Фортнум сказал:

– Подумать только, я ведь написал Кларе, что вы будете присматривать за ней и за

ребенком.

– Знаю.

– Откуда, черт возьми, вы можете это знать?

– Не только вы один здесь слушаете то, что не надо. И тут вмешался шутник. Я слышал, как вы диктовали Леону. Это меня разозлило.

– Разозлило? Почему?

– Наверно, Леон был прав – я и в самом деле ревную.

– Кого?

– Еще одна забавная неразбериха, а?

Он услышал, что Чарли Фортнум снова пьет.

– Даже вашей нормы вам не хватит на целую вечность, – сказал доктор Пларр.

– Вечность мне и не грозит. Почему я не могу вас ненавидеть, Пларр? Неужели из-за виски? Но я еще не пьян.

– Может, вы и пьяны. Немножко.

– Это ужасно, Пларр, но ведь мне больше не на кого их оставить. Хэмфрису я не доверяю...

– Если хотите уснуть, я сделаю вам укол морфия.

– Лучше не спать. Мне еще о многом надо подумать, а времени мало. Дайте мне побыть одному. Пора к этому привыкать, правда?

4

Доктору Пларру казалось, что их оставили совершенно одних. Враги от них отступились: громкоговоритель молчал, дождь прекратился, и, несмотря на тревожные мысли, доктор Пларр заснул, хотя то и дело просыпался. В первый раз он открыл глаза потому, что его разбудил голос отца Риваса. Священник стоял на коленях у двери, прижав губы к трещине в доске. Он, казалось, разговаривал с мертвым или с умирающим за порогом. Что это было: слова утешения, молитва, отпущение грехов? Доктор Пларр повернулся на другой бок и снова заснул. Когда он проснулся во второй раз, в соседней комнате храпел Чарли Фортнум – хриплым, скрипучим, пьяным храпом. Может, ему снилось, как он блаженствует у себя дома в большой кровати после того, как прикончил у бара бутылку? Неужели Клара терпит его храп? О чем она думает, вынужденная лежать рядом с ним без сна? Вспоминает ли с сожалением о своей камерке у мамы Санчес? Там с наступлением рассвета она могла спокойно спать одна. Грустит ли о простоте своей тогдашней жизни? Он всего этого не знал. Отгадать ее мысли было все равно что понять мысли какого-нибудь странного зверька.

Свет прожекторов, проникавший под дверь, стал тускнеть. Наступал последний день. Он вспомнил, как много лет назад сидел с матерью на представлении son-et-lumiere [звука и света (франц.)] в окрестностях Буэнос-Айреса. Лучи прожекторов появлялись и исчезали, как

слова, которые мелом писал на доске учитель, выхватывая из темноты то дерево, под которым однажды кто-то сидел – уж не Сан-Мартин ли? – то старую конюшню, где какая-то другая историческая личность привязывала коня, а то и окна комнаты, где что-то подписывали – договор или конституцию, он не мог припомнить. Чей-то голос рассказывал эту историю прозой, отмеченной величием невозвратного прошлого. Он устал от медицинских размышлений и заснул. Когда он проснулся в третий раз, Марта уже хлопотала, накрывая скатертью стол, а сквозь щели в окне и двери просачивался дневной свет. На столе стояли на блюдцах две незажженные свечи.

– Это все свечи, какие у нас остались, отец мой, – сказала Марта.

Отец Ривас еще спал, свернувшись, как зародыш.

Марта снова окликнула его:

– Отец мой!

От ее голоса навстречу новому дню стали просыпаться остальные – Леон, Пабло, Акуино.

– Который час?

– Что?

– Что ты сказала?

– Не хватает свечей, отец мой.

– Дело не в свечах. Марта. Что ты так суетишься?

– Рубашка твоя еще мокрая. Ты помрешь от простуды.

– Вряд ли от нее, – сказал отец Ривас.

Она досадливо ворчала, ставя на стол пузырек из-под лекарства с вином, бутылку из тыквы, которая должна была служить потиром, расстилая дырявое кухонное полотенце вместо салфетки.

– Не того я хотела, – жаловалась она. – Не о том мечтала. – Она положила на стол карманный молитвенник с рваным переплетом и раскрыла его. – Какое сегодня воскресенье, отец мой? – спросила она, листая страницы. – Двадцать пятое воскресенье после троицына дня или двадцать шестое? А может быть, сегодня рождественский пост, отец мой?

– Понятия не имею, – сказал отец Ривас.

– Как же я тогда найду нужное послание и главу из Евангелия?

– Прочту что попадется, наугад.

– Было бы хорошо отпустить Фортнума сейчас, – сказал Пабло. – Уже почти шесть, и через два часа...

– Нет, – возразил Акуино, – мы проголосовали за то, чтобы подождать.

– А вот он не голосовал, – сказал Пабло, указывая на доктора Пларра.

– У него нет права голоса. Он не с нами.

– Он умрет вместе с нами.

Отец Ривас взял у Марты мокрую рубашку.

– Нам некогда спорить, – сказал он. – Я отслужу мессу. Если сеньор Фортнум захочет ее послушать, помогите ему войти. Я отслужу мессу по Диего, по Мигелю, по всем нам, кто сегодня может умереть.

– Только не по мне, – заявил Акуино.

– Ты не можешь мне указывать, за кого надо молиться. Я знаю, что ты ни во что не веришь. Ладно. Не верь. Встань в тот угол и ни во что не верь. Кому какое дело, веришь ты или нет. Даже твой Маркс знает не больше моего, что истинно и что ложно.

– Терпеть не могу, когда попусту тратят время. У нас его не так много осталось.

– А как бы ты хотел его употребить?

Акуино рассмеялся.

– Конечно, я бы так же его потратил, как и ты. «Когда о смерти речь, то говорит живой». Если бы я все еще хотел писать стихи, я бы сделал эту строчку чуть яснее – я уже начинаю понимать ее сам.

– Ты примешь мою исповедь, отец мой? – спросил негр.

– Конечно. погоди минутку. Давай выйдем на задний двор. А ты. Марта?

– Как я могу тебе исповедоваться, отец мой?

– А почему бы нет? Ты достаточно близка к смерти, чтобы дать любое обещание – даже покинуть меня.

– Я никогда...

– Об этом позаботятся парашютисты.

– А ты сам, отец мой?

– Ну, мне придется обойтись без исповеди. Не всем так везет, что перед смертью у них под рукой священник. Я рад принадлежать к большинству. Слишком долго был одним из привилегированных.

Доктор Пларр оставил их и пошел в другую комнату.

– Леон собирается служить мессу, – сказал он. – Хотите присутствовать?

– Который час?

– Не знаю. Кажется, начало седьмого. Уже взошло солнце.

– Что они намерены делать?

– Перес велел им освободить вас до восьми.

– А они не хотят?

– Думаю, что нет.

– Значит, они убьют меня, а Перес убьет их. Только у вас есть шанс уцелеть, да?

– Может быть. Хотя и этот шанс невелик.

– Мое письмо Кларе... как бы там ни было, возьмите его у меня.

– Как хотите.

Чарли Фортнум вынул из кармана сверток бумаги.

– Здесь главным образом счета. Неоплаченные. Все торговцы жульничают, кроме Грубера... Куда, черт возьми, я его дел? – В конце концов он нашел письмо в другом кармане. – Нет, – сказал он, – теперь уже нет смысла его передавать. Зачем ей мои нежности, если у нее будете вы? – Он разорвал письмо на мелкие клочки. – Да я и не хотел бы, чтобы его прочла полиция. У меня есть еще и фотография, – добавил он, роясь в бумажнике. – Единственная моя фотография «Гордости Фортнума», но на ней и Клара тоже. – Он кинул взгляд на фотографию, потом порвал и ее. – Обещайте, что не расскажете ей, что я все о вас знал. Не хочу, чтобы она чувствовала себя виноватой. Если она на это способна.

– Обещаю, – сказал доктор Пларр.

– Эти счета... лучше займитесь ими сами. – Чарли Фортнум передал их Пларру. – На моем текущем счету, наверно, найдется, чем их оплатить. Если нет, эти жулики и так достаточно меня надували. Я уйду с корабля, – добавил он, – но не хочу, чтобы пострадал экипаж.

– Сейчас отец Ривас начнет служить мессу. Если хотите послушать, я вас туда отведу.

– Нет, я никогда не был, что называется, человеком религиозным. Пожалуй, останусь здесь со своим виски. – Он смерил взглядом то, что осталось в бутылке. – Может, хлебну глоточек сейчас, тогда напоследок еще останется настоящая норма. Даже больше шкиперской.

Из соседней комнаты доносился тихий голос. Чарли Фортнум сказал:

– Знаю, что если во все это верить, люди под конец получают какое-то утешение. А вы вообще во что-нибудь верите?

– Нет. – Теперь, когда в их отношения была внесена ясность, доктор Пларр испытывал странную потребность выразиться предельно точно. Он добавил: – Думаю, что нет.

– Я тоже... хотя... Это страшно глупо, но, когда со мной тот тип, я говорю о священнике... ну о том, кто собирается меня убить... я чувствую... Знаете, была даже минута, когда мне показалось, что он хочет мне исповедаться. Мне, Чарли Фортнуму! Можете себе представить? И ей-богу, я бы отпустил ему грехи... Когда они убьют меня, Пларр?

– Не знаю, который сейчас час. У меня нет часов. Наверно, около восьми. Перес даст тогда команду парашютистам. Что будет дальше, один бог знает.

– Опять бог! Никуда от этого дурацкого слова не денешься, верно? Может, все-таки пойти и немного послушать? Вреда от этого не будет. А ему приятно. Я имею в виду священника. Да и делать все равно нечего... Если вы мне поможете.

Он оперся рукой на плечо доктора Пларра. Весил он на удивление мало для своей комплекции – будто его тело было надуто воздухом. Он старик, жить ему все равно осталось недолго, подумал Пларр и вспомнил тот вечер, когда встретил его в первый раз и они с Хэмфрисом тащили его, несмотря на все протесты, через дорогу в «Боливар». Тогда он весил куда больше. Они не сделали и двух шагов к двери, как Чарли Фортнум остановился и будто застыл на месте.

– Не могу, – сказал он. – Да и к чему это? Не хочу в последнюю минуту подлизываться. Проводите меня назад, к моему виски. Это и будет мое причастие.

Доктор Пларр вернулся в соседнюю комнату. Он встал рядом с Акуино, тот сидел на полу, недоверчиво наблюдая за движениями священника. Словно опасаясь, что, двигаясь взад и вперед возле стола и делая таинственные жесты руками, отец Ривас готовит ловушку, замышляет измену. Доктор Пларр вспомнил, что все стихи Акуино были о смерти. Видно, он не хотел, чтобы под конец ее у него отобрали.

Отец Ривас читал отрывок из Евангелия. Читал он не по-испански, а по-латыни; доктор Пларр давно забыл те немногие латинские слова, которые когда-то знал. Пока голос торопливо произносил фразы на этом мертвом языке, он следил за Акуино. Быть может, остальные думали, что, опустив глаза, он молится; у него и в самом деле промелькнула в голове какая-то молитва – или по крайней мере мольба, полная недоверия к себе, мольба о том, чтобы в нужный момент у него хватило сил и решимости действовать быстро. Если бы я был с ними по ту сторону границы, подумал он, как бы я поступил, когда мой отец молил о помощи во дворе полицейского участка? Вернулся бы я назад к нему или спасался бы сам, как они?

Отец Ривас стал совершать последование мессы и освящение хлеба. Марта смотрела на мужа с гордостью. Священник поднял тыквенный сосуд и произнес единственную фразу из всей службы, которую доктор Пларр почему-то еще помнил: «...сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» [Евангелие от Луки, 22:19]. Сколько поступков совершал он в своей жизни в память о чем-то забытом или почти забытом?

Священник опустил сосуд. Он встал на колени и сразу поднялся. Казалось, ему не терпится поскорее закончить службу. Он был как пастух, который спешит загнать стадо в коровник до начала грозы, но пустился домой он слишком поздно. Репродуктор гаркнул свое сообщение голосом полковника Переса: «Торопитесь выслать к нам консула и спасти свою жизнь. У вас остался ровно час». Доктор Пларр заметил, что рука Акуино крепче сжала автомат. Голос продолжал: «Повторяю, у вас остался всего один час. Освободите консула и спасите свою жизнь».

– «...ради того, кто взял на себя грехи всего мира, да дарует он им вечный покой».

Отец Ривас начал: «Domine, non sum dignus» [владыка, я недостойн (лат.)]. Ему вторил только голос Марты. Доктор Пларр оглянулся, чтобы посмотреть, где Пабло. Негр стоял у задней стены на коленях, с опущенной головой. Смогу ли я, подумал доктор Пларр, пока их внимание отвлечено мессой, выхватить у Акуино автомат и продержат их под дулом достаточно долго, чтобы Чарли Фортнум успел сбежать? Я бы спас жизнь им всем, не только Чарли, думал он. Он посмотрел на Акуино, а тот, словно угадав его мысли, покачал головой.

Отец Ривас взял кухонное полотенце и стал вытирать бутылку так тщательно, словно стоял в приходской церкви Асунсьона.

– *Ite Missa est* [идите, месса свершилась (лат.)].

Голос из репродуктора откликнулся, словно литургическое ответствие: «У вас осталось пятьдесят минут».

– Отец мой, – произнес Пабло, – месса кончена. Лучше сдать сейчас. Или давайте проголосуем снова.

– Я голосую как прежде, – сказал Акуино.

– Ты ведь священник, отец мой, тебе нельзя убивать, – сказала Марта.

Отец Ривас протянул ей кухонное полотенце:

– Ступай во двор и сожги его. Больше оно не понадобится.

– Это будет смертный грех, если ты убьешь его сейчас, отец мой. После мессы.

– Убивать когда бы то ни было – смертный грех для любого человека. Все, что мне остается, – это молить господу смилостивиться надо мной, как молил бы всякий другой.

– Так вот что ты делал там, у алтаря? – спросил доктор Пларр.

Он был измучен спорами и тем, как медленно тянулось отпущенное им краткое время.

– Я молился о том, чтобы мне не пришлось его убивать.

– Письмо туда послал? – сказал доктор Пларр. – А мне казалось, ты не веришь, что на такие письма получают ответ.

– Может, я надеялся на счастливое совпадение.

Репродуктор объявил: «У вас осталось сорок пять минут».

– Хоть бы они оставили нас в покое... – пожаловался Пабло.

– Действуют нам на психику, – пояснил Акуино.

Отец Ривас внезапно вышел в соседнюю комнату. Револьвер он взял с собой.

Чарли Фортнум лежал на крышке гроба. Глаза его были открыты, он смотрел на глиняный потолок.

– Вы пришли со мной покончить, отец мой? – спросил он.

Вид у отца Риваса был смущенный, а может, и пристыженный. Он сделал несколько шагов в комнату и сказал:

– Нет, нет. Не это. Еще нет. Я подумал, может быть, вам что-нибудь нужно.

– У меня есть еще немножко виски.

– Вы слышали, что сказал их громкоговоритель. Скоро они за вами придут.

– И тогда вы меня убьете?

– Так мне приказано, сеньор Фортнум.

– А я думал, что священник повинуется только церкви. Ах да, забыл. Вы ведь больше в ней не состоите? Тем не менее вы служили мессу. Я не бог весть какой верующий, но мне не захотелось на ней присутствовать. Это ведь не такой праздник, когда надо быть в церкви. Во всяком случае, мне.

– Я помянул вас в своей молитве, – неловко произнес заученную фразу отец Ривас, словно обращаясь к богатому прихожанину; но за последние годы он отвык от этого языка.

– Я предпочел бы, чтобы вы обо мне забыли, отец мой.

– Вот это мне не будет дозволено, – сказал отец Ривас.

Чарли Фортнум с удивлением заметил, что священник вот-вот заплачет.

– Что с вами, отец мой? – спросил он.

– Я не думал, что до этого дойдет. Понимаете, если бы вы были американским послом, они бы уступили. И я бы спас десять человеческих жизней. Я никогда не думал, что мне придется отнять у кого-то жизнь.

– Почему вас вообще назначили главным?

– Эль Тигре считал, что может мне доверять.

– А что, разве это не так?

– Теперь не знаю. Не знаю.

Неужели приговоренный к смерти должен утешать своего палача? – подумал Чарли Фортнум.

– Могу я чем-нибудь вам помочь, отец мой? – спросил он.

Священник смотрел на него с надеждой, как собака, которой послышалось слово «гулять». Он продвинулся на шаг ближе. Чарли Фортнум вспомнил мальчика с оттопыренными ушами в школе, которого изводил Мейсон. Он пробормотал:

– Простите меня...

За что он просил прощения? За то, что не был американским послом?

– Я знаю, как вам тяжело, – сказал Ривас. – Лежать здесь. Ждать. Может, если бы вы смогли немножко подготовиться... это вас отвлекло бы...

– Вы хотите сказать – исповедаться?

– Да. – Он объяснил: – В чрезвычайных обстоятельствах... даже я...

– Но я не гожусь в кающиеся грешники, отец мой. Я не исповедовался лет тридцать. Во всяком случае, со времени моего первого брака... который и браком-то не был. Лучше займитесь другими.

– Для них я сделал все, что мог.

– После такого долгого перерыва... это невозможно... и нет у меня достаточной веры. Мне было бы стыдно произносить все те благочестивые слова, даже если бы я их и вспомнил.

– Вам не было бы стыдно, если бы вы совсем не верили. И слова эти вовсе не нужно произносить вслух. Только совершите обряд покаяния. Молча. Про себя. Этого достаточно. У нас так мало времени. Просто акт покаяния, – уговаривал он, словно просил дать ему денег на обед.

– Но я же говорю, что забыл слова.

Ривас приблизился еще на два шага, словно вдруг обрел не то смелость, не то надежду. Быть может, надежду на то, что ему подадут на кусок хлеба.

– Просто скажите, что вы сожалеете, и постарайтесь это прочувствовать.

– Ну, я о многом жалею, отец. Вот только не насчет виски. – Он поднял бутылку, посмотрел, сколько в ней осталось, и снова поставил на пол. – Жизнь – штука нелегкая. Вот человек и лечится то одним, то другим лекарством.

– Не думайте сейчас о виски. Есть ведь и другое, о чем стоит подумать. Прошу вас просто сказать: я жалею, что нарушал правила.

– А я даже не припомню, какие правила нарушал. Их так много, этих проклятых правил.

– Я тоже нарушал правила, сеньор Фортнум. Но я не жалею, что выбрал Марту. Не жалею, что я здесь, с этими людьми. Вот у меня револьвер... нельзя ведь всю жизнь только помахивать кадиллом или кропить святой водой. И все же, если бы здесь был другой священник, я бы сказал ему: да, я сожалею. Сожалею, что не живу в тот век, когда, как видно, было легче соблюдать церковные правила, или в каком-то будущем, когда их то ли изменят, то ли они перестанут быть такими жестокими. Кое-что я могу сказать без натяжки. Может, скажете это и вы. Я жалею, что у меня не хватало терпения. Неудачи вроде нашей – иногда это просто крушение надежды... Пожалуйста... ну разве вы не можете сказать, как вам жаль, что у вас не хватало надежды?

Этот человек явно нуждался в утешении, и Чарли Фортнум утешил его как мог:

– Ну, это я, кажется, мог бы сказать, отец мой.

Отец, отец, отец. Мысленно он повторял это слово. Ему привиделось, как отец сидит возле бара, он тупо смотрит, не узнает его, а сам он лежит на земле, и над ним лошадь. Вот бедняга, подумал он.

Отец Ривас произнес отпущение грехов.

– Пожалуй, – сказал он, – теперь я бы выпил с вами по маленькой.

– Спасибо, отец мой, – откликнулся Чарли Фортнум. – Мне повезло больше, чем вам. Здесь нет никого, кто отпустил бы грехи вам.

– Я видел твоего отца только по нескольку минут в день, – сказал Акуино, – когда мы ходили вокруг двора. Иногда... – Он замолчал, прислушиваясь к громкоговорителю, вещавшему из купы деревьев.

Голос произнес:

– У вас осталось только пятнадцать минут.

– Последняя четверть часа, на мой взгляд, пробежала слишком быстро, – заметил доктор Плarr.

– Неужели они теперь начнут отсчитывать минуты? Я бы хотел, чтобы они дали нам спокойно умереть.

– Расскажи мне еще немного о моем отце.

– Он был хороший старик.

– О чем вы говорили в те минуты, когда бывали вместе? – спросил доктор Плarr.

– У нас никогда не было времени толком поговорить. Рядом всегда был охранник. Он шагал тут же. Твой отец здоровался со мной очень вежливо и ласково – как отец с сыном... а я... ну

я, сам понимаешь, очень его уважал. Сперва всегда немного помолчим... знаешь, как это бывает, когда имеешь дело с настоящим caballero. Я ждал, чтобы он заговорил первый. А потом охранник, бывало, закричит на нас и растолкает в разные стороны.

– Его пытали?

– Нет. Во всяком случае, не так, как меня. Людям из ЦРУ это бы не понравилось. Он ведь был англичанин. Все равно пятнадцать лет в полицейской тюрьме – долгая пытка. Легче потерять несколько пальцев.

– Как он выглядел?

– Стариком. Что еще тебе сказать? Ты должен знать, как он выглядел, лучше, чем я.

– В последний раз, когда я его видел, он стариком не был. Жаль, что у меня нет хотя бы фотографии, где он лежит мертвый. Знаешь, такой, какие снимает полиция, чтобы подшить к делу.

– Зрелище было бы не из приятных.

– Зато заполнило бы пробел в памяти. Может, мы и не узнали бы друг друга, если бы ему удалось бежать. И он был бы сейчас здесь, с тобой.

– Волосы у него были совсем седые.

– Таким я его не видел.

– И он очень горбился. Его мучил ревматизм в правой ноге. Можно сказать, что ревматизм его и убил.

– Я помню его совсем другим человеком. Тот был высокий, худой и стройный. Он быстро шел от пристани в Асунсьоне. Только раз обернулся, чтобы нам помахать.

– Странно. Мне он казался невысоким и толстым, и он хромал.

– Я рад, что его не пытали – как тебя.

– Кругом постоянно были охранники, и мне даже не удалось предупредить его насчет нашего плана. Когда время настало – он даже не знал, что охранник подкуплен, – я крикнул ему «беги», а он растерялся. И замешкался. Это промедление да еще и ревматизм...

– Ты сделал все, что мог, Акуино. Никто не виноват.

– Как-то раз я прочитал ему стихотворение, – сказал Акуино, – но, по-моему, он не очень любил стихи. А все равно стихотворение было хорошее. Конечно, о смерти. Оно начиналось так: «Смерть имеет привкус соли...» Знаешь, что он мне как-то сказал? И даже сердито – уж не знаю, на кого он сердился. Он сказал: «Я здесь не страдаю, мне просто скучно. Скучно. Хоть бы бог послал мне немножко страданий». Какие странные слова.

– Кажется, я их понимаю, – сказал доктор Плarr.

– Под конец он настрадался вдоволь, как хотел.

– Да. Под конец ему повезло.

– Что касается меня, я не знал, что такое скука, – сказал Акуино. – Боль знал. Страх. Мне и сейчас страшно. А скуки не знал.

– Может, ты не узнал себя до конца, – заметил доктор Пларр. – Хорошо, когда это происходит в старости, как у моего отца.

Он подумал о матери, коротавшей дни среди фарфоровых попугаев в Буэнос-Айресе или поглощавшей эклеры на калье Флорида; о Маргарите, когда она спала в тщательно зашторенной комнате, а он лежал рядом и рассматривал ее нелюбимое лицо; о Кларе и ребенке, о долгом несбыточном будущем на берегу Параны. Ему казалось, что он уже достиг возраста отца, что он провел в тюрьме столько же лет, сколько отец, а бежать удалось не ему, а отцу.

– У вас осталось десять минут, – произнес громкоговоритель. – Выпустите консула немедленно, затем выходите по одному и руки вверх!

Еще не смолкли эти распоряжения, когда в комнату вошел отец Ривас. Акуино сказал:

– Время почти истекло, позволь мне сейчас его убить. Это не дело для священника.

– Может, они все еще берут нас на пушку.

– Когда мы наверняка это выясним, скорее всего, будет слишком поздно. Янки хорошо обучили этих парашютистов в Панаме. Они действуют быстро.

Доктор Пларр сказал:

– Я выйду поговорить с Пересом.

– Нет, нет, Эдуардо. Это самоубийство. Ты слышал, что сказал Перес. Он не посмотрит даже на белый флаг. Верно, Акуино?

Пабло сказал:

– У нас ничего не выгорело. Выпустите консула.

– Если тот человек пройдет через комнату, я его застрелю, – заявил Акуино, – и всякого, кто станет ему помогать... даже тебя, Пабло.

– Тогда они убьют нас всех, – сказала Марта. – Если он умрет, мы все умрем.

– Это им, во всяком случае, надолго запомнится.

– *Machismo!* – сказал доктор Пларр. – Опять ваш проклятый дурацкий *machismo*. Леон, я должен что-то сделать для бедняги, который там лежит. Если я поговорю с Пересом...

– Что ты можешь ему предложить?

– Если он согласится продлить свой срок, вы согласитесь продлить ваш?

– Что это даст?

– Он все же британский консул. Британское правительство...

– Всего лишь почетный консул, Эдуардо. Ты сам не раз нам это объяснял.

– Но ты согласишься, если Перес...

– Да, соглашусь, но не думаю, чтобы Перес... Может, он не даст тебе даже рта раскрыть.

– Я думаю, даст. Мы с ним были друзьями.

На память доктору Пларру пришел речной плес, бескрайний лес до горизонта и Перес, решительно шагающий с одного мокрого бревна на другое навстречу группке людей, где его ждал убийца. Это мои люди, сказал тогда Перес.

– Для полицейского Перес не такой уж плохой человек.

– Я боюсь за тебя, Эдуардо.

– Доктор тоже страдает machismo, – сказал Акуино. – Давай... выходи и разговаривай... но захвати с собой револьвер.

– Я страдаю не machismo. Ты сказал правду, Леон. Я и в самом деле ревную. Ревную к Чарли Фортнуму.

– Если человек ревнует, – сказал Акуино, – он убивает соперника или тот убивает его. Ревность – штука простая.

– Моя ревность другого сорта.

– Какая еще может быть ревность? Ты спишь с чужой женой. А когда он делает то же самое со своей...

– Он ее любит... вот в чем беда.

– У вас осталось пять минут, – объявил громкоговоритель.

– Я ревную, потому что он ее любит. Такое глупое, избитое слово – любовь. Для меня оно никогда не имело смысла. Как и слово бог. Я знаю, как спят с женщиной, я не знаю, как любят. Жалкий пьянчужка Чарли Фортнум победил меня в этой игре.

– Любовницу так легко не уступают, – сказал Акуино. – Их не так-то просто приобрести.

– Клару? – Доктор Пларр засмеялся. – Я расплатился с ней солнечными очками. – Воспоминания продолжали преследовать его. Они были как надоедливые препятствия, как бутылки в игре, которые требовалось обойти с завязанными глазами по дороге к двери. Он пробормотал: – Она что-то у меня спросила перед тем, как я ушел из дома... А я не стал слушать...

– Постой, Эдуардо. Пересу нельзя доверять...

Когда доктор Пларр открыл дверь, его на миг ослепил солнечный свет, а потом мир снова приобрел резкие очертания. Перед ним шагов на двадцать тянулась жидкая грязь. Индеец Мигель валялся, как тук выброшенного тряпья, насквозь промокшего от ночного дождя. Сразу за ним начинались деревья и густая тень.

Вокруг не было никаких признаков жизни. Полиция, как видно, выселила людей из соседних хижин. Шагах в тридцати среди деревьев что-то блеснуло. Возможно, это луч солнца отразился на лезвии штыка, но когда Пларр немного приблизился и взгляделся внимательнее, он увидел, что это просто кусок жестяного бака из-под горячего, который был вделан в стену хижины, спрятанной среди деревьев. Вдалеке залаяла собака.

Доктор Пларр продолжал медленно, нерешительно двигаться вперед. Никто не шевельнулся, никто не заговорил, не раздалось ни единого выстрела. Он поднял руки чуть выше пояса, как фокусник, который хочет показать, что в них ничего нет. И позвал:

– Перес! Полковник Перес!

Он чувствовал себя дурак дураком. В конце концов, опасности не было и в помине. Они преувеличили серьезность положения. Ему было гораздо страшнее в тот раз, когда он прыгал за Пересом с бревна на бревно.

Он не услышал выстрела – пуля ударила его сзади в правую ногу – и рухнул ничком, словно ему подставили подножку при игре в регби; голова его была всего в нескольких шагах от тени, которую отбрасывали деревья. Боли он не почувствовал, и, хотя ненадолго потерял сознание, ему было так спокойно, будто он заснул в жаркий день над книгой.

Когда он снова открыл глаза, тень от деревьев почти не сдвинулась. Его сморил сон. Захотелось заползти под деревья и снова заснуть. Утреннее солнце палило. Он смутно помнил, что с кем-то что-то должен обсудить, но это могло подождать, пока он поспит. Слава богу, подумал он, я один. Он слишком устал, чтобы заниматься любовью, да и погода для этого чересчур жаркая. А он забыл задернуть шторы.

За спиной он услышал чье-то дыхание, но не мог понять, откуда оно взялось. Чей-то голос шепнул:

– Эдуардо...

Сперва он не узнал голоса, но, когда его снова окликнули, Пларр громко спросил:

– Леон?

Непонятно, что тут делает Леон. Пларр хотел повернуться, но нога одеревенела и не дала ему этого сделать.

Голос произнес:

– Кажется, они попали мне в живот.

Доктор Пларр вздрогнул и сразу очнулся. Деревья перед ним были деревьями квартала бедноты. Солнце жгло ему голову, потому что он не успел до них добраться. Он понимал, что только гам был бы в безопасности.

Голос – он уже понял, что это голос Леона, – произнес:

– Я услышал выстрел. И не мог не прийти.

Доктор Пларр снова попробовал повернуться, но у него опять ничего не вышло, и он отказался от этой попытки.

Голос за спиной спросил:

– Ты серьезно ранен?

– Не думаю. А ты?

– Ну, я уже в безопасности.

– В безопасности?

– В полной безопасности. Не смогу убить даже мухи.

– Нам надо отвезти тебя в больницу, – сказал доктор Пларр.

– Ты был прав, Эдуардо, – произнес голос. – Какой из меня убийца?

– Не понимаю, что произошло... Мне надо поговорить с Пересом... А тебе здесь нечего делать, Леон. Ты должен был ждать вместе с остальными.

– Я подумал – а что, если я тебе нужен?

– Зачем? Для чего?

Наступило долгое молчание, пока доктор Плarr не задал довольно нелепый вопрос:

– Ты еще здесь?

В ответ послышался невнятный шепот.

– Не слышу! – сказал доктор Плarr.

Голос произнес что-то похожее на слово «отец». Во всем, что с ними происходило, явно не было никакого смысла.

– Лежи спокойно, – сказал доктор Плarr. – Если увидят, что кто-то из нас шевельнулся, могут выстрелить опять. И лучше не разговаривай.

– Я сожалею... Прости...

– Ego te absolve [отпускаю тебе грехи (лат.)], – прошептал доктор Плarr вдруг всплывшие в памяти слова.

Он хотел рассмеяться, показать Леону, что шутит – мальчиками они часто подшучивали над ничего не значившими формулами, которые заставляли их заучивать священники, – но он слишком устал, и смех застрял у него в горле.

Из тени вышли три парашютиста. В своих маскировочных костюмах они были похожи на ходячие деревья. Автоматы они держали наготове. Двое направились к хижине. Третий подошел к доктору Плarrу, который лежал не шевелясь и затаив дыхание – оно уже прерывалось.

5

На кладбище было много людей, которых Чарли Фортнум раньше и в глаза не видел. Женщина в длинном старомодном черном платье была, очевидно, сеньорой Плarr. Она цепко держала за руку тощего священника, его темно-карие глаза шныряли туда-сюда, налево-направо, словно он боялся упустить важного прихожанина. Чарли Фортнум слышал, как эта дама не раз его представляла: «Мой друг, отец Гальвао из Рио». Две другие дамы на краю могилы демонстративно вытирали слезы. Можно было подумать, что они служат плакальщицами в похоронном бюро. Обе не заговаривали с сеньорой Плarr, как, впрочем, и друг с другом, но этого мог требовать профессиональный этикет. После мессы в соборе они по очереди подошли к Чарли Фортнуму и представились.

– Вы сеньор Фортнум, консул? Мы были такими друзьями с бедным Эдуардо. Это мой муж, сеньор Эскобар.

– Я сеньора Вальехо. Муж не сумел прийти, но я не могла не проводить Эдуардо, поэтому пришла со своим другом, сеньором Дюраном. Мигель, это сеньор Фортнум, британский

консул, которого те негодяи...

При имени Мигель в памяти у Чарли Фортнума сразу же возник индеец, сидевший на корточках у двери хижины и с улыбкой чистивший автомат, а потом – тук промокшего под дождем тряпья, мимо которого парашютисты пронесли его на носилках. Его рука свесилась с носилок и коснулась мокрой материи. Он начал было:

– Позвольте представить вам мою жену...

Но сеньора Вальехо и ее друг уже прошли мимо. Она прижимала развернутый платок к глазам – он выглядел чем-то вроде паранджи – до следующего светского выхода. Клара по крайней мере не изображает горя, подумал Чарли Фортнум. Это хотя бы честно.

Похороны, думал он, похожи на те дипломатические коктейли, на которых он присутствовал в Буэнос-Айресе. Их устраивали по случаю отъезда британского посла. Дело было вскоре после его назначения почетным консулом, и к нему еще проявляли некий интерес, поскольку он возил на пикник среди развалин членов королевской фамилии. Люди хотели знать, о чем говорили высокопоставленные гости. Теперь прием с теми, кого он видел в соборе, происходил на открытом воздухе, на кладбище.

– Меня зовут доктор Сааведра, – произнес кто-то рядом. – Может, вы припомните, мы как-то раз с вами встречались вместе с доктором Пларром...

Чарли Фортнуму захотелось ответить: как же, как же, в доме матушки Санчес. Конечно, помню, вы были с той девушкой. А я – с Марией, с той, кого закололи ножом.

– Это моя жена, – сказал он, и доктор Сааведра учтиво склонился над ее рукой; лицо ее наверняка было ему знакомо хотя бы из-за родинки на лбу.

Интересно, кто из этих людей знает, что Клара была любовницей Пларра? – подумал Фортнум.

– Мне надо идти, – сказал доктор Сааведра. – Меня попросили сказать несколько слов в память о нашем бедном друге.

Он направился к гробу, задержавшись, чтобы пожать руку полковнику Пересу и обменяться с ним несколькими словами. Полковник Перес был в мундире и нес фуражку на согнутой руке. Казалось, он серьезнее всех относится к тому, что происходит. Может, он размышлял о том, как отразится смерть доктора на его карьере. Много, конечно, зависит от позиции британского посольства. Молодой человек по фамилии Кричтон – личность Чарли Фортнуму неизвестная – прилетел из Буэнос-Айреса как представитель посла (первый секретарь был прикован к постели гриппом). Кричтон стоял рядом с Пересом у самой могилы. Общественное положение присутствующих можно было определить по их близости к гробу – гроб как бы заменял собой почетного гостя. Чета Эскобар старалась пробраться к нему поближе, а сеньора Вальехо стояла почти рядом и могла бы дотронуться до него рукой. Чарли Фортнум с костылем под мышкой держался позади светского общества. Ему казалось глупостью, что он вообще здесь находится. Он чувствовал себя самозванцем. Ведь своим присутствием он обязан только тому, что его по ошибке приняли за американского посла.

Тоже позади, но еще дальше Фортнума, стоял доктор Хэмфрис. И у него был вид человека, который сам понимает, что ему здесь не место. Его родной средой был Итальянский клуб, а законным соседом – официант из Неаполя, который боялся его дурного глаза. Заметив Хэмфриса, Чарли Фортнум сделал к нему шаг, но тот поторопился отойти. Чарли Фортнум вспомнил, как в незапамятном прошлом он пожаловался доктору Пларру, что Хэмфрис с ним не раскланивается, и Пларр воскликнул: «Ну, это вам повезло!» То были счастливые дни, а ведь в это время Пларр жил с Кларой и его ребенок рос в ее чреве. Фортнум тогда любил

Клару, и она была с ним кротка и нежна. Все это уже позади. Своим счастьем он, оказывается, был обязан доктору Пларру. Фортнум исподтишка взглянул на Клару. Она смотрела на Сааведру, который произносил речь. Вид у нее был скучающий, словно тот, кого он славословил, был ей незнаком и ничуть не интересен. Бедный Пларр, подумал Чарли Фортнум, и его она обманула.

– Вы были больше чем врачом, исцелявшим наши тела, – говорил доктор Сааведра, адресуя свои слова гробу, обернутому в британский флаг, который по просьбе устроителей похорон одолжил Чарли Фортнум. – Вы были другом каждого из нас, своих больных, даже самых бедных. Все мы знаем, как, не щадя своих сил, вы, движимый любовью и чувством справедливости, безвозмездно лечили жителей квартала бедноты. И разве не трагедия, что тот, кто так самозабвенно трудился на благо обездоленных, пал от руки их так называемых защитников?

Боже мой, подумал Чарли Фортнум, неужели полковник Перес распространяет такую версию?

– Ваша мать родилась в Парагвае – в стране, бывшей некогда нашим доблестным противником, и вы, побуждаемый духом machismo, достойным ваших предков по материнской линии, которые сражались вместе с Лопесом [Лопес, Франсиско Солано – командующий вооруженными силами Парагвая во время войны с Аргентиной, Бразилией и Уругваем (1864-1870)], не думая о том, правое или неправое дело он защищал, пошли на смерть из хижины, где прятались эти мнимые защитники бедняков, в последней попытке спасти их, равно как и вашего друга. Вы пали от руки фанатичного священника, но вышли победителем – друга вы спасли.

Чарли Фортнум взглянул на полковника Переса по ту сторону открытой могилы. Он стоял, опустив обнаженную голову, прижав руки к бокам, сдвинув ноги по стойке «смирно». Он был похож на памятник павшим воинам XIX века, а доктор Сааведра в своем надгробном слове продолжал внушать своим слушателям официальную версию смерти Пларра – уж не договорился ли он о ней с Пересом? Кто теперь станет ее оспаривать? Речь будет дословно опубликована в «Эль литораль», а ее изложение появится даже в «Насьон».

– Если не считать ваших убийц и их пленника, я был последним, Эдуардо, кто видел вас живым. Ваши увлечения были много шире профессиональных интересов, и ваша любовь к литературе обогащала нашу дружбу. В последний раз, когда мы были вместе, не я позвал вас, а вы позвали меня (пациент и врач поменялись ролями) поговорить о создании в нашем городе культурного центра – Англо-аргентинского клуба – и с присущей вам скромностью предложили мне быть его первым президентом. Друг мой, в тот вечер вы говорили о том, как сделать более тесными узы между английским и южноамериканскими народами. Кто же из нас мог предположить, что через считанные дни вы отдадите за это дело свою жизнь? Пытаясь спасти своего соотечественника и этих обманутых людей, вы пожертвовали всем – своей врачебной карьерой, глубоким восприятием искусства, дружескими привязанностями, любовью к приемной родине, которая жила в вашей душе. У вашего гроба я обещаю, что Англо-аргентинский клуб, окропленный кровью отважного человека, будет существовать.

Сеньора Пларр плакала; плакали, но более демонстративно, и сеньора Вальехо, и сеньора Эскобар.

– Я устал, – сказал Чарли Фортнум, – пора домой.

– Хорошо, Чарли, – сказала Клара.

Они медленно побрели к нанятой ими машине.

Кто-то тронул Фортнума за руку. Это был Грубер.

– Сеньор Фортнум... – сказал он, – я так рад, что вы здесь... целый и...

– Почти невредимый, – сказал Чарли Фортнум. Интересно, знает ли Грубер? Ему хотелось поскорее укрыться в машине. – Как ваш магазин? – спросил он. – Дела идут?

– Надо проявить целую грудку фотографий. Снимки хижины, где вас держали. Все рвутся туда, хотят посмотреть. Но, по-моему, они не всегда снимают ту самую хижину. Сеньора Фортнум, понимаю, какое тяжелое время вам пришлось пережить. – Он объяснил Фортнуму: – Сеньора всегда покупает в моем магазине солнечные очки. Если угодно, у меня есть новые образцы из Буэнос-Айреса...

– Да, да. В следующий раз, когда будем в городе... Извините нас, Грубер. Солнце здорово печет, а я чересчур долго стоял на ногах.

Его лодыжка, закованная в гипс, невыносимо зудела. В больнице ему сказали, что доктор Пларр хорошо обработал рану. Не пройдет и нескольких недель, как он снова сядет за руль «Гордости Фортнума». Машину он нашел на старом месте, под купой авокадо; она была немного побита, не хватало одной фары, да и радиатор был погнут. Клара объяснила, что машиной воспользовался кто-то из полицейских.

– Я пожалуйюсь Пересу, – сказал Фортнум, опираясь на капот и с нежностью поглаживая раненую обшивку.

– Нет, нет, не надо, Чарли. У бедняги будут неприятности. Ведь это я позволила ее взять.

В первый день пребывания дома из-за этого не стоило затевать спор.

Домой из больницы его повезли по местам, которые напоминали ему какую-то полузабытую страну – мимо проселочной дороги, которая вела на консервную фабрику Бергмана, мимо проржавевшей железнодорожной ветки заброшенного поместья, которое когда-то принадлежало чеху с труднопроизносимой фамилией. Он пересчитал пруды, мимо которых проезжал, – их должно было быть четыре – и думал о том, как он встретится с Кларой.

Но при встрече он только поцеловал ее в щеку и отказался прилечь, сославшись на то, что и так слишком долго лежал на спине. Ему было противно даже подумать о широкой двуспальной кровати, на которой Клара наверняка не раз лежала с Пларром, пока он объезжал плантацию (остерегаясь слуг, они не стали бы мять постели в комнате для гостей). Он сел на веранде возле бара, пристроив ногу повыше. И хотя он отсутствовал меньше недели, но эта неделя казалась ему чуть не годом тягостной разлуки, таким долгим, что двум людям немудрено было друг от друга отвыкнуть... Он налил себе шкиперскую норму «Лонг Джона». Глядя поверх бокала на Клару, он спросил:

– Они тебе, конечно, сообщили?

– О чем, Чарли?

– Что доктор Пларр умер.

– Да. Сюда приезжал полковник Перес. Он мне сказал.

– Доктор был твоим близким другом.

– Да, Чарли. Тебе удобно так сидеть? Может, принести подушку?

Как жестоко, думал он, что после их любовных утех и такого низкого обмана Пларр не заслужил ни единой слезы. У «Лонг Джона» был необычный вкус – он уже привык к аргентинскому виски. Фортнум стал объяснять Кларе, что в ближайшие недели будет лучше,

если он поспит один в комнате для гостей. Гипс на ноге, сказал он, его беспокоит, а ей надо крепко спать – из-за ребенка. Она сказала – да, конечно, она понимает. Все будет сделано, как он хочет...

А пока он ковылял на костыле с кладбища к нанятой машине, кто-то его окликнул:

– Прошу прощения, мистер Фортнум... – Это был молодой секретарь из посольства Кричтон.
– Позвольте мне днем заехать к вам в поместье. Посол поручил мне... обсудить с вами кое-какие вопросы...

– А вы пообедайте с нами, – сказал Чарли Фортнум. – Мы будем вам очень рады, – добавил он, подумав, что любой человек, даже из посольства, поможет ему избежать одиночества, которое ему пришлось бы делить с Кларой.

– Боюсь... я бы с большим удовольствием... но я уже обещал сеньоре Пларр... и отцу Гальяво. Если позволите, я приехал бы часа в четыре. Мне надо поспеть на вечерний самолет в Буэнос-Айрес.

Вернувшись в поместье, Чарли Фортнум сказал Кларе, что он слишком устал и обедать не хочет. До прихода Кричтона он немного поспит. Клара уложила его поудобнее – она была обучена укладывать мужчин поудобнее не хуже любой медицинской сестры. Он старался не показать, что прикосновение ее рук, когда она взбивала подушку, его раздражает. Он даже поежился, когда она поцеловала его в щеку, – ему хотелось попросить ее больше себя не утруждать. Поцелуй женщины, которая не способна любить даже своего любовника, не стоит ни гроша. И все-таки, спрашивал он себя, чем она виновата? Разве можно научиться любить в публичном доме? У кого – у клиентов? А раз она не виновата, он не должен показывать ей свои чувства. Было бы куда проще, думал он, если бы она действительно любила Пларра. Он сразу представил себе, как ему было бы легко, если бы, вернувшись домой, он увидел, что она убита горем, с какой нежностью он бы ее утешал. Ему пришла в голову фраза из сентиментального романа: «Дорогая, мне нечего тебе прощать». Но пока он себе это воображал, он вспомнил, что она продалась за пару вульгарных солнечных очков от Грубера.

Сквозь жалюзи солнце ложилось полосами на пол комнаты для гостей. На стене висела одна из охотничьих гравюр отца. Охотник поднял убитую лису над сворой взбешенных собак. Чарли с отвращением посмотрел на картину и отвернулся – он ни разу в жизни не убил даже крысы.

Кровать была довольно удобная, но ведь и гроб, застеленный одеялами, был, в конце концов, не таким уж жестким – лучше его кровати в детской, где он спал ребенком. В доме стояла глубокая тишина, ее лишь изредка нарушали шаги возле кухни или скрип стула на веранде. Не было слышно ни радио, передававшего последние известия, ни возбужденных голосов в соседней комнате. Свобода, как он обнаружил, – это такое одиночество... Ему даже захотелось, чтобы дверь открылась и в нее застенчиво вошел священник с бутылкой аргентинского виски. Он чувствовал странное сродство с этим священником.

Похороны священника прошли очень буднично. Его на скорую руку закопали в неосвященной земле, и Чарли Фортнум был этим глубоко возмущен. Если бы он вовремя об этом узнал, он произнес бы у могилы несколько слов вроде доктора Сааведры, хоть и не помнил, чтобы за всю его жизнь ему приходилось произносить речи; однако в пылу возмущения он бы на это отважился. Он бы всем им сказал: «Отец был человек хороший. Я знаю, что он не убивал Пларра». Но кто бы его слушал? Два могильщика и водитель полицейского грузовика? Я все же узнаю, где его зарыли, и положу на могилу букетик цветов, решил он. И с этой мыслью в изнеможении заснул глубоким сном.

Клара разбудила его – приехал Кричтон. Она подала ему костыль, помогла надеть халат, и он вышел на веранду. Опустившись на стул возле бара, он предложил:

– Виски?

– А не рановато ли? – взглянув на часы, спросил Кричтон.

– Для выпивки рано никогда не бывает.

– Ну тогда разве что глоточек. Я тут говорил, что миссис Фортнум, вероятно, пришлось пережить страшные дни.

Не выпив ни глотка, он поставил стакан на столик.

– Ваше здоровье, – сказал Чарли Фортнум.

– И ваше. – Кричтон нехотя снова поднял стакан. Может, он рассчитывал, что так и оставит его нетронутым до положенного часа. – Посол хотел, чтобы я кое о чем с вами переговорил, мистер Фортнум. Мне, разумеется, нет нужды рассказывать, как мы за вас беспокоились.

– Да я и сам немного беспокоился, – заметил Чарли Фортнум.

– Посол просил вас заверить – мы делали все, что в наших силах...

– Да. Да. Конечно.

– Слава богу, все обошлось.

– Не все. Доктор Пларр погиб.

– Да. Я не хотел сказать...

– И священник тоже.

– Ну, он-то получил по заслугам. Он же убил Пларра.

– Ничего подобного, он его не убивал!

– Значит, вы не видели доклада полковника Переса?

– Полковник Перес страшный враль. Пларра застрелили парашютисты.

– Но ведь было же произведено вскрытие, мистер Фортнум! Нашли пули. Одну в ногу. Две в голове. И это не армейские пули.

– А кто проводил следствие – хирург девятой бригады? Вот что передайте от меня послу, Кричтон. Когда Пларр выходил из хижины, я был в соседней комнате. И слышал все, что происходило. Пларр вышел, чтобы переговорить с Пересом – думал спасти всем нам жизнь. Отец Ривас подошел ко мне и сказал, что согласился отсрочить ультиматум. Тут мы услышали выстрел. Тогда он сказал: «Они застрелили Эдуардо». И бросился вон.

– А потом нанес coup de grace, – сказал Кричтон.

– Да нет же, нет! Он оставил револьвер у меня в комнате.

– У своего пленника?

– Я все равно не мог до него дотянуться. В соседней комнате он заспорил с Акуино... и со своей женой. Я слышал, как Акуино сказал: «Сперва убей его». И слышал его ответ.

– Какой?

– Он рассмеялся. Я слышал его смех. Меня это даже удивило – он ведь не был смешливым человеком. Разве что иногда робко хихикнет. Смехом это не назовешь. Он сказал: «Акуино, у священника всегда есть дела поважнее». Не знаю почему, но я начал читать «Отче наш», хоть я и не из тех, кто любит молиться. И только дошел до «царствие твое», как снова раздался выстрел. Нет. Он не убивал Пларра. Он даже дойти до него не успел. Меня ведь пронесли мимо них. Трупы лежали в десяти шагах друг от друга. Будь там Перес, он бы наверняка позаботился, чтобы их передвинули. На такое расстояние, с которого возможен *coup de grace*. Пожалуйста, расскажите об этом послу.

– Я, конечно, расскажу ему вашу версию.

– Это никакая не версия. На счету у парашютистов все три смерти – Пларра, священника и Акуино. Они хорошо поохотились, как у них говорится.

– Они спасли вам жизнь.

– Ну да, они. Или то, что Акуино промазал. Видите ли, у него ведь работала только левая рука. Прежде чем выстрелить, он подошел чуть ли не вплотную к гробу, на котором я лежал. И сказал: «Они застрелили Леона». Он был слишком взволнован, рука у него дрожала, но не думаю, чтобы он промахнулся во второй раз. Хоть и держал револьвер левой рукой.

– Как же Перес не знает всего этого?

– Он меня не спрашивал. Пларр как-то сказал, что Пересу прежде всего надо помнить о своей карьере.

– Я все же рад, что они покончили с Акуино. Он-то уж, во всяком случае, был убийцей... или хотел им стать.

– Он видел, как застрелили его друга. Нечего об этом забывать. Они многое пережили вместе. И он на меня злился. Мы с ним подружились, а потом я пытался бежать. Знаете, он ведь считал себя поэтом. Читал мне свои стихи, а я делал вид, что они мне нравятся, хоть и не находил в них особого смысла. Так или иначе я рад, что парашютисты удовольствовались тремя смертями. Двое остальных – Пабло и Марта – просто бедолаги, которые впутались во все это нечаянно.

– Им повезло больше, чем они заслужили. Нечего было им впутываться.

– Может быть, их толкала своего рода любовь. Люди впутываются в разные истории из-за любви, Кричтон. Рано или поздно.

– Ну, это не оправдание.

– Нет. Вероятно, нет. Во всяком случае, не для дипломатической службы.

Кричтон взглянул на часы. Может, хотел удостовериться, что положенный приличиями час наступил. Он поднял стакан:

– Думаю, что какое-то время вам надо будет отдохнуть.

– Да я и так не очень-то надрываюсь, – сказал Чарли Фортнум.

– Вот именно. – Кричтон отхлебнул виски.

– Только не говорите, что посол опять требует отчета об урожаях матэ.

– Нет, нет. Мы просто хотим, чтобы вы спокойно поправлялись. Дело в том... в конце недели посол вам напишет официально, но ему хотелось, чтобы сперва я с вами переговорил. После всего, что вы пережили, официальные письма выглядели бы... так сказать, слишком официально. Вы же понимаете. Их пишут для подшивки в дело. Первый экземпляр идет в Лондон. Приходится выражаться... осторожно. Ведь кто-нибудь там может заглянуть в досье.

– Но насчет чего послу осторожничать?

– Лондон вот уже больше года нажимает на нас, требует, чтобы мы сократили расходы. Знаете, они даже урезали на десять процентов смету на официальные приемы, и на малейшие издержки приходится предъявлять счета. А эти проклятые члены парламента ездят и ездят – рассчитывают, что мы хотя бы на обед их пригласим. Некоторые даже считают, что им надо устроить прием с коктейлями. Ну а что касается вас, вы, понимаете ли, довольно долго состояли на службе. Будь вы дипломатом, вам бы уже давно полагалось выйти на пенсию. О вас в каком-то смысле просто забыли, пока не произошло это похищение. Вам будет куда безопаснее... находиться подальше от переднего края.

– Понятно. Вот оно что. Это для меня в некотором роде удар, Кричтон.

– Почему? Вам же только оплачивали консульские расходы.

– Я мог каждые два года ввозить новую машину.

– Вот и это тоже... в качестве почетного консула вы на нее, собственно, не имели права.

– Здешняя таможня не видит разницы. И все так делают. Парагвайцы, боливийцы, уругвайцы...

– Не все, Фортнум. Мы в британском посольстве стараемся ничем себя не пятнать.

– Может, потому вы никогда и не поймете Южной Америки.

– Я не хочу быть передатчиком одних только дурных вестей, – сказал Кричтон. – Посол поручил мне сообщить вам кое-что... строго конфиденциально. Обещаете?

– Конечно, кому мне рассказывать? – Даже Пларра больше нет, подумал он.

– Посол собирается представить вас к ордену по списку новогодних награждений.

– К ордену?.. – недоверчиво переспросил Чарли Фортнум.

– К О.Б.И. [ордену Британской империи].

– Что ж, это очень мило с его стороны, Кричтон, – сказал Чарли Фортнум. – Вот уж никогда не думал, что он ко мне так хорошо относится...

– Но вы никому не расскажете, правда? Вы же знаете, теоретически это еще должна утвердить королева.

– Королева? А, понимаю. Надеюсь, что после этого я не задержу нос. Знаете, мне как-то довелось показывать членам королевского дома здешние развалины. Очень милая была пара. Такой же был пикник, как с американским послом, но они не заставляли меня пить кока-колу. Мне эта семья очень нравится. Вот уж кто на своем месте!

– И вы никому пока не расскажете... ну, разумеется, кроме вашей супруги? Ей-то вы можете довериться.

– Думаю, что она этого и не поймет, – сказал Чарли Фортнум.

Ночью ему приснилось, что он идет вместе с доктором Пларром по бесконечно длинной прямой дороге. По обе стороны, как оловянные блюда, лежат lagunas [озера (исп.)], при вечернем свете они все больше и больше сереют. «Гордость Фортнума» вышла из строя, а им нужно добраться в поместье до темноты. Его мучит тревога. Хочется бежать, но он повредил ногу. Он говорит:

– Нехорошо заставлять ждать королеву.

– А что делает королева в поместье? – спрашивает доктор Пларр.

– Собирается вручить мне О.Б.И.

Доктор Пларр смеется.

– Орден безнадежного идиота, – говорит он.

Чарли Фортнум проснулся в тоске, а сон стал сворачиваться быстро, как липкая лента, и в памяти остались только длинная дорога и смех Пларра.

Он лежал на спине на узкой кровати для гостей и чувствовал, что годы давят на него всей своей тяжестью, как одеяло. Он подумал, сколько лет ему еще придется лежать вот так, одному, – это казалось такой пустой тратой времени. Мимо окна мелькнул фонарь. Он знал, что это пошел на работу sarataz; значит, скоро рассвет. Луч скользнул и высветил костыль, который на фоне стены был похож на вырезанную из дерева большую букву; потом свет померк и погас. Он знал, что осветит фонарь дальше: сперва купу авокадо, потом сарай и ирригационные каналы, в сером металлическом свете отовсюду спешат на работу люди.

Он опустил здоровую ногу с кровати и потянулся за костылем, После отъезда Кричтона он сообщил Кларе неприятную весть о своей отставке – и понял, что эта новость не произвела на нее никакого впечатления. В глазах девушки из дома матушки Санчес он всегда будет богачом. Насчет О.Б.И. он ей не сказал. Как он и говорил Кричтону, она бы все равно ничего не поняла, а он опасался, что ее равнодушие сделает это событие менее значительным для него самого. И все же ему хотелось ей рассказать. Хотелось разрушить выроставшую между ними стену молчания. «Королева собирается наградить меня орденом», – слышал он свой голос, а слово «королева», наверное, даже для нее что-то значит. Он не раз рассказывал ей о пикнике среди развалин с отпрысками королевского дома.

Фортнум двинулся на своем костыле, как краб, по диагонали вдоль коридора между гравюрами на спортивные сюжеты; он протянул в темноте руку, чтобы открыть дверь спальни, но двери не нащупал – она была открыта – и вошел в пустую комнату. Тишину не нарушало даже слабое дыхание. Можно было подумать, что он совсем один бродит по каким-то развалинам. Он поводит рукой по подушке и ощутил прохладу и свежесть постели, на которой никто не спал. Тогда он присел на край кровати и подумал: она ушла. Совсем ушла. С кем? Может, с sarataz?.. Или с одним из рабочих? Почему бы и нет? Они ей подходят больше, чем он. С ними она может разговаривать так, как не может с ним. Он столько лет жил один, пока не нашел ее, неужели как-нибудь не проживет и те несколько лет, которые ему еще остались? Обходился же он раньше, убеждал он себя, обойдется и теперь. Может, Хэмфрис снова станет здороваться с ним на улице, когда его имя появится в новогоднем списке награждений. Они снова будут есть гуляш в Итальянском клубе, и он пригласит Хэмфриса к себе в поместье; они усядутся рядом возле бара, впрочем, Хэмфрис, кажется, непьющий. Чарли стало больно при мысли, что Пларр мертв. Своим бегством Клара, казалось, предала не только его, но и покойного доктора. Он даже рассердился на нее из-за Пларра. Право же, она могла бы сохранить хоть ненадолго верность умершему – ну как если бы поносила по нему траур недельку-другую.

Он не слышал, как она вошла, и вздрогнул, когда она заговорила:

– Чарли, что ты тут делаешь?

– Ведь это же моя комната, правда? А где ты была?

– Мне стало страшно одной. Я пошла спать к Марии. – (Мария была служанка.)

– Чего ты боялась? Привидений?

– Боялась за ребенка. Мне приснилось, будто я его задушила.

Значит, она все-таки кого-то любит, подумал он. Это было каким-то лучом света во мраке. Если она на это способна... Если в ней не все сплошной обман...

– В доме у матушки Санчес у меня была подружка, которая задушила своего ребенка.

– Сядь сюда, Клара. – Он взял ее за руку и ласково усадил рядом.

– Я думала, что ты больше не хочешь быть со мной.

Она высказала эту горькую истину как нечто не имеющее особого значения – другая женщина могла бы сказать таким тоном: «Я думала, что больше нравлюсь тебе в красном».

– У меня нет никого, кроме тебя, Клара.

– Зажечь свет?

– Нет. Скоро будет светать. Я только что видел, как пошел на работу sarataz. А как ребенок, Клара?

– По-моему, с ним все хорошо. Но иногда он вдруг затихнет, и мне становится страшно.

Он вспомнил, что после возвращения ни разу не упомянул о ребенке. Ему казалось, что он заново учится языку, на котором не говорил с детства в чужой стране.

– Придется поискать хорошего врача, – произнес он, не подумав.

Она испустила звук, какой издает собака, когда ей наступили на лапу, – был ли то испуг... а может быть, боль?

– Прости... я не хотел... – Было еще слишком темно, и он не видел ее лица. Он поднял руку и дотронулся до него. Она плакала. – Клара...

– Прости меня, Чарли. Я так устала.

– Ты любила его, Клара?

– Нет... нет... я люблю тебя, Чарли.

– Любить совсем не зазорно, Клара. Это бывает. И не так уж важно, кого ты любишь. Любовь берет нас врасплох, – объяснял он ей, а вспомнив то, что говорил молодому Кричтону, добавил: – Во что только люди не впутываются из-за нее. – И чтобы ее успокоить, сделал слабую попытку пошутить: – Иногда по ошибке.

– Он никогда меня не любил, – сказала она. – Для него я была только девушкой от матушки Санчес.

– Ошибаешься.

Он словно выступал в чью-то защиту или пытался уговорить двух молодых людей лучше понимать друг друга.

– Он хотел, чтобы я убила ребенка.

– Это тебе снилось?

– Нет, нет. Он хотел его убить. Правда хотел. Я тогда поняла, что он меня никогда не полюбит.

– Может, он начинал тебя любить, Клара. Кое-кто из нас... мы так тяжелы на подъем... любить не так-то просто... столько совершаешь ошибок. – Он продолжал, только чтобы не молчать: – Отца я ненавидел... И жена не очень-то мне нравилась. А ведь они были не такими уж плохими людьми... Это просто была одна из моих ошибок. Некоторые люди учатся читать быстрее других. И Тед и я были не в ладах с алфавитом. Я-то и сейчас не так уж в нем силен. Когда я подумаю обо всех ошибках, которыми полны мои отчеты в Лондон... – бессвязно бормотал он, не давая замереть в темноте звукам человеческой речи в надежде, что это ее успокоит.

– У меня был брат, которого я любила, Чарли. А потом его больше не стало. С утра он пошел резать тростник, но в поле его никто не видел. Ушел, и все. Иногда в доме у сеньоры Санчес я думала: может, он придет сюда, когда ему понадобится женщина, и найдет меня, и тогда мы уйдем вместе.

Наконец-то между ними появилась какая-то связь, и он изо всех сил старался не порвать эту тонкую нить.

– Как мы назовем ребенка, Клара?

– Если это будет мальчик, хочешь, назовем его Чарли?

– Одного Чарли в семье достаточно. Давай назовем его Эдуардо. Видишь ли, я по-своему Эдуардо любил. Он был так молод, что мог быть моим сыном.

Он несмело положил ей руку на плечо и почувствовал, что все ее тело дрожит от плача. Ему очень хотелось ее утешить, но он не знал как.

– Тед и в самом деле по-своему тебя любил, Клара. Я не хочу сказать ничего дурного...

– Это неправда, Чарли.

– Раз я даже слышал, как он сказал, что ревнует ко мне.

– Я не любила его, Чарли.

Ее ложь не имела теперь никакого значения. Слишком явно ее опровергали слезы. В таких делах и полагается лгать. Он почувствовал огромное облегчение. Словно после бесконечно долгого ожидания в приемной у смерти к нему пришли с доброй вестью, которой он уже и не ждал. Тот, кого он любил, будет жить. Он понял, что никогда еще она не была так близка ему, как сегодня.